

ГРАНИ

4

1948

Год издания III-й.

Выходит 4 раза в год

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

№ 4

1948

«ПОСЕВ»

СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
ЛИТЕРАТУРА	
С. Максимов	
Денис Бушуев (роман, часть I)	3
Н. Моршен	
Три стихотворения	63
В. Завалишин	
Траурный марш (стихи)	65
Г. Андреев	
Новелла о танке	67
Б. Тополев, В. Филиппов	
Стихи	73
А. Неймирок	
Сербские народные былины	74

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

В. Каралин	
Застигнутый посреди дороги (памяти Максимилиана Волошина)	77
Ф. Сиверцев	
Язык и стиль Пушкина	83
Проф. А. Филиппов	
Философия «как будто бы»	88

ИСКУССТВО

К. Сакс	
Законы развития искусства	93
Е. Шугаев	
Музыкальная жизнь Америки	101

НАУКА

В. Горич	
Нефть	106

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Стремлев	
Послевоенные звезды	114
А. Флауме	
О трех учебных книгах	120

ИЗ МИРА ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ

Н. Саввич	
Литературные заметки	124
Хроника	125

Обложка Н. Нико.

Денис Бушуев

Роман в трех частях

Часть I

I

Всю ночь шел дождь. На рассвете же точно языком слизало тучи, и жидкий туман за клубился над Волгой. Солнце поднималось, и белые стены домов розовели. На Молочной горе звонко застучали колеса телег о булыжники мостовой; широко, басисто, с утренней хрипотцой заголосили пароходы. Высоко в небе, возле нелепых бескрестных куполов Ипатьевского монастыря, черными хлопьями закружились галки. Сверкая голыми икрами, быстро зашагали на базар по выщербленным тротуарам неряшливые, нечесанные женщины с корзинками и бидонами в руках; на ходу здоровались, на ходу переругивались окающим волжским говорком. Голодные собаки уже бегали по берегу, рылись в помойках под откосами, обнюхивали ящики с кладью, сложенные на хрустом гравие возле пристаней. Грязные, невыспавшиеся грузчики, наскоро ополоснув в реке лицо и руки, лениво натягивали на плечи ремни «подушек» и, мрачные, вялые, позевывая, спускались по мокрым трапам в трюмы пароходов. Пахло смолой, дымом и прохладной речной свежестью...

Мустафа Ахтыров, приказчик из Татарской слободы, стоял на широком трапе, шедшем с берега на пристань, и наблюдал за погрузкой товаров. Высокая фигура его, кожаный порт-

фель, до блеска начищенные сапоги и брюки-галифе внушали грузчикам уважение — проходя мимо приказчика, они ускоряли шаг, побрякивали и молодецкато встряхивали грузом на спине. Но Мустафа мало обращал на них внимания. Черные глаза на горбоносом лице смотрели тускло и безразлично поверх голов грузчиков куда-то за Волгу, в белесую дымку тумана. Странное чувство, появившееся еще вчера днем, когда он бесцельно бродил по городу, ожидая накладной на товар, не проходило, а наоборот — все больше и больше овладевало им, все больше и больше беспокоило. И он никак не мог понять, что это было за чувство. То нарастая, то пропадая, это странное чувство накатывалось, как волна, тяжело, мучительно, захлестывая и голову и сердце. Если это происходило на улице, Мустафа ускорял шаг, вздрагивал всем телом и вдруг быстро оборачивался. Но взгляд его встречал равнодушные лица прохожих, пыльные тополя и серые заборы провинциального городка.

— Раз-два! вз-зяли!

— Еще разик! Вз-зяли! — весело вздыхали грузчики, вкатывая на трап тяжелую бочку.

Как день постепенно входил в свои права, так и они постепенно загорались работой и входили в привычный, ладный темп. Синие, красные, серые

рубahi их, заплатаанные, разорванные на локтях и плечах, уже взмокли от пота и становились хрупкими и ломкими от тонкой человеческой соли. Голые плоские ступни босых ног твердо и тяжело шаркали по занозистым доскам трапа и мягко, ласково шлепали по гладкой шпаклеваной палубе маленького пароходика «Товарищ». 20 копеек с тонны! 20 копеек за тысячи шагов вниз и вверх по трапу с тяжелым грузом на спине! На карнизе дебаркадера — выцветший от времени плакат: «Досрочно выполним план грузоперевозок!».

— О-ох! О-ох! Еще раз — взяли! — неслось по берегу.

— Мустафа Алимыч! Посторонитесь! Как бы того... ноги вам не отдавить! — крикнул Ахтыров молодой веснушчатый грузчик с колечками волос, прилипших к мокрому лбу.

Ахтыров поднялся по трапу на пристань, прошел на корму и сел там на деревянный толстый кнехт возле кучи канатов и троссов. Парная зеленая вода с радужными кругами нефти тихо плескалась о борт дебаркадера, качала на приплеске щепочки и набухшую сосновую кору. Две трясогузки, взмахивая хвостиками, прыгали по лавкам затонувшей заводи, привязанной к пристани. Белокурый мальчишка, сидевший, свесив ноги, на борту с удочкой в одной руке и с воблой — в другой, покосился на Ахтырова и негромко попросил:

— Ты, дяденька, не больно шуми... вишь, я рыбу ловлю. Рыба — она шум не любит, она все слышит.

— Не-е... я тихо буду сидеть, — улынулся Мустафа и осторожно поставил ногу на кучу цепей, стараясь не звякнуть ими.

Наблюдая за мальчиком и за поплавком, он как-то отвлёкся и странное, беспокоящее чувство снова отхлынуло, уступив место мыслям о брате и о его жене. Последний разговор с Манефой убедил его окончательно, что Манефа Алима не любит, что брат напрасно надеется на то, что когда-нибудь она полюбит его. Ах, как права была их покойная мать, предупреждая Алима не жениться на русской, — татарин должен жениться на татарке. Разве мало хороших девушек-татарок в слободе? Разве

свет клином сошелся на русской? Но, с другой стороны, Мустафа понимал брата: в этой русской было что-то такое притягательно-красивое, что увидел ее раз, трудно было не думать о ней, не желать ее... Два года жизни бок-о-бок с ней, взрнее, возле нее и брата, привели к тому, что Мустафа последнее время стал ловить себя на нехороших мыслях, на том, что он подолгу следит за Манефой, когда она одна, что в большую, искреннюю любовь к брату стало вклиниваться какое-то другое, темное, нехорошее, ревнивое чувство. Это было страшно. Страшно было и то, что Манефа, кажется, перехватила несколько его взглядов и разгадала его мысли. И с тех пор стало ему казаться, что в каждом движении, в каждом взгляде Манефы сквозило одно и то же, презрительно — насмешливое: «Ты меня тоже любишь, а я ни тебя, ни брата твоего не люблю». Это тянулось долго, мучительно долго. Мустафа не мог даже себе признаться в том, что он ее любит. Он старался реже бывать дома и, наконец, под разными предлогами, стал ночевать то в одном месте, то в другом. И это-то его и убедило, что он ее любит. Так дальше продолжаться не могло, надо было что-то предпринимать срочное, сильное, что бы положило разом конец всему. И он решил уехать из Татарской слободы куда-нибудь подальше, в Казань или Астрахань. Но в тот день, когда было принято это решение, одно маленькое обстоятельство дало совершенно другой оборот событиям. Обедали вдвоем: он и Манефа, Алим задержался в поле. Не глядя на Манефу он сказал, что встретил приятеля в городе и тот ему предложил выгодную работу в Астрахани. Через неделю он, Мустафа, вероятно, уедет: Она положила ложку на стол и тихо сказала: «Это неправда. Никакого приятеля ты не встречал и нигде ты не уедешь». «Нет, я уеду» — повторил он. «А я не хочу, чтобы ты уехал. Слышишь?» — твердо сказала она и, встав, вышла из кухни, на ходу бросив: «Мне страшно... одной». Он долго смотрел на неплотно прикрытую дверь, прислушиваясь к шагам и шелесту платья в горнице. «Маня!» — позвал он. Она не ответила, и он понял, что ему надо остаться, он понял, что нужен, что с этого мо-

мента он навсегда и крепко связан с Манефой какими-то неуловимыми, тонкими и жгучими нитями.

Внезапно знакомое, острое, беспокоящее чувство новой горячей волны захлестнуло его. Он вздрогнул, дернул локтем, как-бы инстинктивно защищаясь от кого-то, нога скользнула по куче цепей и гулко стукнула о палубу. Мустафа резко повернулся.

Все так же сновали по трапу грузчики, но быстрее, ловче, все ускоряя и ускоряя ритм работы. Все так же кружились черными хлопьями галки над бескрестными куполами собора, и только на берегу, на самом приплеске появилось новое лицо. Это была Любка, гуляющая девушка с Молочной горы, утеха грузчиков и матросов. Она шла по хрустящему гравию в стоптанных парусиновых ботинках, в драной черной юбке и, высоко вскидывая острые колени, хрипло пела:

— ...Ах, вот сижу я в одиночке,

В тюрьме встречаю я зарю.

И с рук батистовым платочком

Еще не стерла кровь твою...

Молодой грузчик, тот самый, что крикнул Мустафе «посторонитесь!», зацепил проволочным крюком Любку за плечо и, под дружный хохот, притянул ее к себе.

— Любаша! Радость ты моя! Иди ко мне, я тя погрею...

Появление Любки почему-то неприятно подействовало на Мустафу, точно она чем-то подтверждала основательность его беспокойства. Он схватил портфель и шумно поднялся.

— Дяденька... я же просил не стучать, — захныкал мальчик.

— А ну тебя к дьяволу! — обругал его Мустафа и торопливо зашагал на пароход.

А за спиной его хохотали грузчики, потешаясь над Любкой с Молочной горы.

II

Цветы одинаково красят и дворец и хижину. Они сливаются с любой остановкой, с любой расцветкой комнаты. Когда Манефа внесла в горницу огромный букет жасмина и поставила его в простую глиняную крынку на стол, то показалось, что в комнате стало светлее и чище. Несколькими розово-белых лепестков упа-

ло на скатерть и Манефа не убрала их, оставила на месте. Она подошла к окну и настежь распахнула рамы.

За садом, круто спускавшемся к берегу, катилась Волга. Окрашенная мягким красновато-желтым закатом, она была тиха и спокойна. Противоположный «горный» берег с березовой рощей, крутыми глинистыми обрывами, с красивым, утопающим в зелени и сверкающим красными железными крышами, селом Отважным, точно повторялся в воде, сливаясь со своим отображением в одну стройную, симметричную, узорчатую ленту. Курлыкая, пролетали редкие чайки, шумели грачи на берегах и ровно и громко шлепал плицами пассажирский пароход.

Манефа облокотилась на подоконник. Серые глаза с какой-то трогательной нежностью смотрели на Волгу. Ах, как она любила свою реку! Всегда любила: и тихую, и ветреную, и бурную, и в солнце, и в дождь... Слушая в детстве рассказы отца о Туркестане, она спросила один раз: «А Волга там шире, чем у нас?». И когда услышала в ответ, что Волга там не протекает, она была так удивлена, что невольно воскликнула: «А как же там люди-то живут? Как же они без Волги-то живут?» Это было в детстве. Теперь же, когда ей было без малого двадцать лет, из которых два года тяжелой супружеской жизни с нелюбимым человеком притупили многое в ней, любовь к Волге не только не ослабела, а наоборот, стала проникновеннее, глубже и теплее. То, что не давала жизнь, восполняла великая река.

Замуж вышла она нелепо, и виной этому был ее пылкий и противоречивый характер. Семнадцати лет она влюбилась в сына волжского капитана Сенечку Груздева, молодого паренька из села Отважного, человека доброго, мягкого и слабовольного. Говорят, что любовь иногда рождается не там, где ее больше всего ожидают, то-есть в сходстве душ и характеров, а там, где нужно дополнение одного характера другим. Может быть, именно потому, что Сенечка являлся полной противоположностью Манефы, девушки сильной, твердой и далеко не доброй, — она и полюбила его. Овдовевшая к этому времени тетка Таисия — мать Манефы — была не

прочь сбить дочь с рук, и ничего не имела против ее брака с Сенечкой, но капитан Груздев поднялся на дыбы и ни за что не хотел дать согласия на женитьбу сына, ссылаясь на то, что Сенечке «надо еще малость подучиться». Сенечка же боялся идти против воли отца и мучался в догадках как ему поступить. В это время за Манефой стал усиленно ухаживать Алим Ахтыров, председатель только что созданного колхоза в Татарской слободе. Он подстерегал Манефу где только мог и не давал ступить шагу, надоедая своей любовью.

Однажды, измученная нерешительностью своего возлюбленного, она приказала Сенечке ответить ей определенно: будут они мужем и женой или нет? и дала срок для ответа — неделю, угрожая, что в случае отказа она выйдет замуж за Алима Ахтырова. Бедный Сенечка попробовал еще раз поговорить с отцом, но капитан, вместо ответа, предложил ему немедленно собраться в дорогу — ехать в Рыбинск и держать экзамен в речной техникум на судоводительское отделение. Когда Сенечка, заикаясь и путаясь в словах, передал Манефе окончательное решение отца, она, сдерживая гнев, довольно спокойно сказала, делая последнюю попытку пробудить в своем возлюбленном мужичищу: «Ну что ж, Сеня, поженимся без отцовской воли... Сенечка покраснел, опустил глаза и забормотал что-то насчет того, что можно было бы еще повременить. Тогда Манефа пришла в бешенство и крикнула: «Тряпка ты! Размазня ты, а не человек... Я же тебе сказала, что выйду за Алима!» «Так ты же его не любишь!» — чуть не плача, запротестовал Сенечка. «Ну и что ж, что не люблю, а все равно выйду, тебе на зло!»

Возможно, что эта угроза осталась бы только угрозой, если бы Манефа успела остыть до встречи с Алимом, но случилось так, что, возвращаясь со свидания с Сенечкой, она встретила на улице Алима и, под горячую руку, брякнула ему, что согласна стать его женой. Обезумевший от счастья, Алим помчался к тетке Таисии и торжественно объявил ей решение дочери. Настала очередь придти в бешенство матери. Она прогнала Алима и, топая на дочь

ногами, заголосила: «За татарина не разрешу замуж идти! Хоть ты лопни! Бога побойся! Я староверка и Бога чту! Это ты, безбожница, забыла про него!...» Но бес противоречия уже крепко засел в сердце Манефы, и протест матери только еще больше подогрел ее и упрочил взбалмошное решение. Свадьбу она назначила скорополительную — через десять дней, все еще втайне надеясь, что Сенечка пренебрежет отцом и появится в решительную минуту, как спаситель. Пошумев дня три, тетка Таисия вдруг притихла и совершилось нечто странное: она перестала перечить дочери и дала свое согласие на брак с Алимом. Впрочем, необъяснимого в этом ничего и не было, ибо религиозность тетки Таисии как-то легко уживалась с лицемерием и расчетливостью — отличительными чертами ее злобного и неуравновешенного характера, и, сообразив, что из брака дочери с председателем колхоза можно, при известной обстановке, извлечь пользу, она стала усердно готовиться к предстоящей свадьбе. Сенечка же как в воду канул.

При таком положении дел, отступать уже было поздно, свадьба состоялась, и Манефа переехала из Отважного в Татарскую слободу, в дом мужа. Вскоре пришла и расплата за буйный нрав: жизнь с нелюбимым человеком превратилась для Манефы в муку. Зато тетка Таисия души не чаяла в зяте и не знала, чем угодить ему. Алим же угодил ей сразу, на другой день после свадьбы, подарив прекрасную вологодскую корову. Осенью, сырым туманным утром, умер Сенечка, схватив воспаление легких. Алиму стало спокойнее жить...

— Маня!

Это был его голос.

Она не обернулась. Яркие, как сурик, губы крупного рта чуть дрогнули. Полная зарелая рука поднялась и откинула прядь курчавых темных волос, упавших на лоб.

— Чего тебе?

— Чаю бы пора испить... Поставь самовар.

Он стоял за ее спиной, и она слышала его сильное прерывистое дыхание. Она знала, что он волнуется, как волнуется всегда, когда начинает с ней говорить.

— Я очень устал сегодня... За весь день не присел ни разу.

— Ты-то что: ты не сеешь и не пахнешь, только командуешь. А мужики наверно еще шибче устали, — не удержалась Манефа.

Он помолчал и тихо попросил:

— Оставь, Маня... Чего ты меня колешь?

Он постоял, вздохнул и тяжело пошел в кухню, скрипя половицами. Манефе вдруг сделалось жалко мужа. Она резко оторвала от подоконника полное крепкое тело и повернулась.

— Ты куда?

— Пойду... сам поставлю...

Он стоял в дверях, расставив ноги в кожаных сапогах и поглаживая короткими пухлыми пальцами бритую желтоватую голову. Черные сморозинные глаза смотрели на Манефу робко, просяще.

Манефа прошла мимо него в кухню, поставила на маленькую скамеечку возле русской печи самовар и стала насыпать угли.

— Наколи, Алим, лучину... — сказала она мягко, примирительно.

Алим сверкнул в улыбке белыми зубами, быстро взял с шестка косарь, достал из-под печки сухое березовое полено, уселся на полу и принялся колоть лучину. Тонкие щепочки под сильными руками ленточками падали на крашеные масляной краской доски пола. Как чуткий человек, он уловил в голосе жены теплые нотки и, искоса поглядывая на нее, старался определить, на долго ли хватит ее расположения.

— Знаешь, — сказал он деланно весело, — я сегодня встретил деда Северьяна из Отважного, у него есть дрова. Я заказал ему две сажени — завтра привезет.

— Почему же он просит?

— Двадцать три рубля с сажени.

— Дороговато.

— Шут с ним. За лето высохнут, к осени как порох будут... Тяжелая жизнь, — добавил он неожиданно для самого себя и тут же понял, что добавление это не к месту и вовсе было ненужно. И он решил объяснить:

— Комсорг рассказывал сегодня, что под Нерехтой, в каком-то селе, председателя колхоза сожгли со всей семьей... Так и сгорели все в доме. Ночью. Кулачье наверно.

— Коля наганами будете в колхозы людей загонять, так и всех вас пожгут, — предупредила Манефа и подумала, что Алим не зря ей это рассказал, что вот-де какая наша работа опасная, а ты меня не жалеешь, не любишь...

— Ничего, всех не пожгут и не перережут. Дай-ка, Маня, спички.

Алим понял, что сделал ошибку и переменял разговор.

— Мустафу скоро завоём сделаем. Маковкин ворует сильно, жалуются колхозники.

— Это ты мне к чему рассказываешь? — насторожилась Манефа.

— Да что ты все — «к чему», «к чему»? — улыбнулся Алим. — Захотелось, и рассказываю. Иль тебе и про Мустафу слушать не интересно?

— Оставь ты его. Мустафа славный, хороший человек.

— А я что — говорю, что он плохой?

Манефа опустила в самовар зажженную лучину, пристроила трубу и стала собирать на стол.

— Чего он не идет? Пора бы уж, вечер, — сказала она.

— Придет. Никуда не денется.

Алим положил косарь, сел на табуретку и не спускал глаз с Манефы, двигавшейся от горки с посудой к столу. Не выдержав, встал, подошел к ней сзади, обнял.

— Маня...

— Пусти, Алим!

— Опять гонишь?

Манефа нахмурилась.

— Пусти, Алим. Не время обниматься.

— У тебя всегда не время... Когда же время-то будет? Когда же время-то для меня придет? Я тебе муж — или кто?... — дрогнувшим голосом горячо проговорил он.

— Может придет, а может и вовсе не придет, — усмехнувшись, сказала она, чувствуя, как поднимается знакомая беспричинная ненависть к мужу.

— Не придет? Говоришь — не придет? — тихо пробормотал он, заводя ее руки за спину и стараясь поцеловать в шею.

Она рванулась.

— Пусти, Алим!

Он впился пухлыми губами в ее шею и еще крепче сжал руки.

— Пусти, дьявол! Я тебя ненавижу!! — не помня себя, крикнула Манефа и вырвалась из его рук. Он схватил было ее за плечи, но она опять увернулась. С треском разорвалась кофточка, потянулись на пол пуговицы. Покрасневшие глаза Алима сверкнули тяжелой злобой, он нагнулся, поднял косарь и взмахнул им над головой жены. Она тихо вскрикнула, присела и зажмурила глаза.

Но косарь не успел опуститься на голову Манефы. Кто-то стрелой метнулся с порога и схватил Алима за руку, повиснув на ней. Это был Мустафа.

— Ты с ума сошел... — прерывисто проговорил он, вырвав косарь и швырнув его в угол к рукомойнику.

Алим схватил брата за ворот зеленой гимнастерки.

— Чего тебе надо, Мустафа?

— Не тронь ее!...

— Ты — кто? Кто ты такой? — загремел Алим и, встряхнув руками, ударил брата головой о кирпичную печь. Он был ниже Мустафы и, сверкая глазами, смотрел не него снизу вверх. Горячая татарская кровь забила ключом в жилах обоих братьев. Мустафа замахнулся увесистым кулаком, чтоб сокрушить брата, но вдруг тихо опустил руку, обмяк весь как-то, оттолкнул Алима и подошел к Манефе.

Она сидела на полу, обняв колени руками. Черные короткие волосы, растрепавшись, закрывали лицо. Мустафа тронул ее за плечо. Она быстро вскочила на ноги, огляделась. Прищуренные серые глаза смотрели без всякого испуга, чуть насмешливо. Правой рукой она старалась прикрыть обнаженную смуглую грудь — кофточка была разорвана до живота. Она совсем не испытывала испуга, его не было даже и тогда, когда косарь взвился над ее головой. Она ощущала лишь удивление. Таким она видела Алима первый раз в жизни, и первый раз за два года супружества Алим занес на нее руку. И в то же время она сознавала свою вину и понимала Алима. Как ни сыро дерево, но если под ним раскладывать каждый день костер, то оно, в конце концов, загорится. Она не могла не видеть, что с каждым днем Алим, прежде мягкий и тихий, все больше

и больше превращался в нервного, злобного и неудовлетворенного человека. Огонек, который она же медленно и нестойчиво разжигала, вспыхнул ярким пламенем, чуть не стоившим ей жизни. И удивление сменилось ясным и четким осознанием своей вины. Но не в том смысле, что она виновата, а в том, что она не могла поступать иначе, не любя мужа. Война велась с первого дня свадьбы, но носила скрытый характер, теперь же Алим объявил ее, но заставила его объявить она. А раз так, раз война объявлена им, то пусть он, как явный зачинщик, и понесет всю тяжесть войны и будет за все ответчиком. И, ох, как дорого обойдется ему необдуманное, торопливое объявление этой войны!

— Что ж вы не добились друг друга? — тихо спросила Манефа и вышла в горницу.

Мустафа провел ладонью по затылку — на руке заалела кровь.

— Как ты меня крепко саданул... — сказал он брату и примирительно улыбнулся.

Алим вздохнул и отвернулся к окну.

III

Полдень. Над Татарской слободой по голубому блюду неба расплескались мыльные хлопья облаков. Увялая в буре суглинке, лениво бредет по берегу Волги стадо коров. Танцуют волны зноя; вьются, тихо жужжат оводы. Бесконечно медленно плывет по стеклянной зеленоватой воде длинный плот; слышно, как негромко переругиваются на нем люди.

Алим Ахтыров неторопливо опрокидывает в рот рюмку водки, корчит гримасу, — не то удовольствия, не то отвращения, — щелкает пальцами и закусывает селедкой. Жарко. Нестерпимо жарко. И от палящего нещадно солнца, и от выпитой водки. Широкое, гладко выбритое лицо Ахтырова покраснелось и покрылось мелкими капельками пота. Ворот защитной гимнастерки растегнут, хромовые сапоги сняты и аккуратно поставлены на траву возле бочки с тепловатой и грязной водой. Напротив Ахтырова сидит, согнувшись, в глубокомысленном созерцании прозрачной влаги в рюмке, Гриша Баный. Он очень худ и тощ, голова его

напоминает желтую дыню со странным нежно-красным хвостиком внизу — бородкой. Оба сидят уже два часа под широколистым кленом в саду Ахтырова, и оба выпили уже по восьмой. Гриша Банный с удовольствием бы уснул, но мешают мухи и сознание, что неудобно спать, когда хозяин дома еще бодрствует...

Гриша Банный и Алим ровесники. Более того — они родились в один день.

— Поздравляю вас, Алим Алимич, с сорокалетием, так сказать, жизненной деятельности... — в девятый раз поздравляет приятеля Гриша Банный и поднимает большую рюмку.

— Пей на здоровье, Гриша — рассеянно отвечает Алим, — и тебя, друг, с сорокалетием... Молодость прошла, друг Гриша, прошла.

— Оптический обман-с...

— Чего?

— Н-нет, это я так... на свои туманные мысли...

Помолчали. Над садом пролетела стайка диких уток. Гриша сладко сощурился на бочку с водой, скривил бескровные губы маленького рта и вдруг во-все горло хриплым тенорком зашел:

О, Боже, Боже, согреши-ила

Дочь благородного-о отца-а-а...

— Тише, Гриша, тише... — поморщился Алим. — Скажут, у председателя колхоза с утра пьянство... Помолчи.

Гриша покрутил головой и замолк.

— М-мухи, черт бы их драл... — вяло заметил он через некоторое время.

Алим погладил ладонью круглый, побритый затылок и тихо, неожиданно сообщил:

— Одиночество чувствую, Гриша.. Одиночество.

— Почему? — удивился Гриша, приподнимая нежно-красную бородку. — А жена? Манефа?

Алим не ответил, кусая белыми зубами травинку.

— Оч-чаровательная жена у вас, Алим Алимич... Не жена, а весенний рассвет, лунный блик на черном фоне современной жизни, оптический обман-с. Обладать такой женщиной — да ведь это неземное счастье! А вот я, при моей весьма легкомысленной и пустяшной жизни, всегда как-то на своем пути встречал

женщин с весьма сомнительными достоинствами...

Он откинулся на спинку тонконогого венского стула, достал из грязной помятой пачки дешевую папироску и продолжал:

— При наличии нормальной нравственно-моральной жизни... гм. такая женщина может безусловно составить счастье мужу. Философ-самородок Отроков говорил насчет супружеской жизни так... гм... как это он говорил?.. — Но позабыв сентенцию философа-самородка, Гриша безнадежно махнул рукой и чуть не съехал со стула. С огромными усилиями он выпрямился и закурил.

Алим наблюдал за ним долгим пристальным взглядом.

— Вот смотрю я на тебя, Гриша, и не пойму: что ты за человек? А ведь знаю тебя давненько... Говоришь ровно бы по-ученому, много знаешь, много видел, а человек так себе: ни Богу свечка, ни чорту кочерга.

— Верно-с, Алим Алимич. Странный я человек, даже сам на себя иногда удивляюсь, до чего я странный. А ведь был я, доложу вам, и в учении... Физику изучал... Но ранняя склонность к разного рода порокам-с помешала мне сделаться, так-сказать, полным человеком. Теперь все уже давно утрачено и есть только пародия, так-сказать, на человека, без фамилии... Фамилия заменена кличкой Банный-с... есть только Гриша Банный.

Он умолк, опустив голову-дыню

— А на войне ты, Гриша, был?

— Был, был и на войне. Но солдат я ничтожный и чрезмерно робкий. Других убивать не могу, но и себя берегу. Хотели меня один раз расстрелять за то, что перед атакой я от ужаса в отхожее место спрятался, но признали слабоумным и ограничилишь одним выговором-с...

— А я, брат, и в мировую и гражданскую в тылу отсиделся.

— Гм... своего рода искусство-с! У меня в Промкоопсбыте, в Кинешме, приказчик был... Так вот, доложу я вам, до чего искусник был цыплят воровать. Ах, мастер! Утянет и все шито-крыто. Но кроме цыплят ничего не брал. Искусство своего рода...

Гриша Банный закашлялся и схи-ми длинными пальцами тронул горло.

Белесые навывкате глаза увлажнились и прозрачные ноздри тонкого носа несколько раз ёкнули, как печенка у усталого коня.

— Слабость иногда чувствую, Алим Алимыч, слабость во всем организме, — пожаловался он.

— Пить тебе совсем нельзя, Гриша, — строго сказал Алим и, подперев щеку рукой, тихо замурлыкал какую-то песенку по-татарски, но оборвал ее на полуслове и снова повернулся к собеседнику:

— А вот скажи ты мне, Гриша, где ты это с науками познакомился?

Гриша быстро выпрямился и уклончиво ответил:

— Одну науку постиг в одном месте, другую — в другом; в разных местах. С физикой, например, в двадцатом, году...

— А ну расскажи о физике что ли... — грустно попросил Алим, — мне сейчас все равно, что слушать. О физике, так о физике.

— Был я одно время, доложу я вам, Алим Алимыч, заведующим баней, воинской понятно, — охотно начал рассказывать Гриша. — Кстати, кличка моя — Банный — произошла не оттого, что я был в должности воинского банщика, как некоторые ошибочно думают, а потому, что проживаю я в течение многих лет возле колосовской бани, как вам известно; это я так, между прочим сообщаю... Теперь возвращаюсь к теме о физике. Ну-с, в бане той красноармейцев мыли. С позволения вашего, вшей и всяких там других паразитов специальным паром уничтожали. Ну, тоска, знаете, смертная: вши да пар. А я возьму, да и начни физику изучать... Учебник достал, Поморцева М. М. «Некоторые занимательные физические опыты». И впервые познакомился с удивительными законами оптики и вообще физики... Протом и пособия достал: за осьмушку махорки выменял у красноармейца увеличительное стекло, называется — лупа... Ну-с, солдатики моются, значит, а я возьму экземпляр натуральной вши-с (тут же у них в белье и достану) и сквозь лупу смотрю на их лапки и хвостики. Главное, меня интересовало: чем же они так больно кусают...

Но заметив, что Алим его совсем не слушает, Гриша умолк, почесал переносицу острым, как клюв совы, ногтем и смиренно сообщил:

— Я сегодня всю ночь труды товарища Карла Маркса прорабатывал... Оптический обман-с, доложу я вам.

— Что такое? — нахмурился Алим.

— Нет... Это я так... На свои туманные мысли.

С клена упала в бочку с водой желтая гусеница. Барахтаясь, она старалась подплыть к краю и вползти на доску.

— Вот так и я, — усмехнулся Алим.

В конце тропинки, сбегавшей по саду к Волге, показалась высокая фигура Мустафы. Он легко толкнул калитку, вошел и, покачивая широкими плечами, стал подыматься в гору. Братья не виделись со вчерашнего вечера. Мустафа подошел к столу, улыбнулся щербатым ртом и коротко бросил:

— Здорово, честная компания.

Алим кивнул ему головой, Гриша же встал, пошатнулся и изобразил что-то вроде поклона.

— Водочку пьем? — осведомился Мустафа и присел на обрубок бревна.

— Ну и жарича! Продыхнуть некуда.

— Не угодно ли рюмочку, Мустафа Алимыч! — предложил Гриша.

— Тут и без водки околеешь. Хотя — одну, пожалуй, протащу.

Алим молчал. Мустафа искоса наблюдал за ним. Он хорошо знал брата, знал, что Алим горяч, зол, но и отходчив. И он пытался угадать: отошел уже Алим или нет. Лично ему, Мустафе, вчерашняя сцена уже казалась каким-то кошмарным сном, дикой вспышкой, недостойной ни его, ни брата. И он с горечью заметил, что Алим еще дуетса, еще прячет глаза от него...

— А я в лабазе был. Опять ящик с печеньем пропал. Кладовщик — на грузчиков, грузчики — на кладовщика... чорт их разберет, — огорченно проговорил Мустафа.

— Ни кладовщик, ни грузчики не виноваты. Маковкин, наверно... сам зав и утянул, — глухо сказал Алим.

Мустафа наклонил голову, пытаясь заглянуть в глаза Алим, но снова не поймал взгляд брата.

— Я тоже так думаю... Наверно он. Знаешь, я даже в лицо это ему

сказал. Эх, как он поднялся! Схватил...

Мустафа вдруг умолк. Он хотел было рассказать, как Маковкин схватил в бешенстве железный шкворень и бросился на него, на Мустафу, и как кладовщик отнял у Маковкина шкворень и помирил их. Он хотел было все это рассказать, но сцена в лабазе так напоминала вчерашнюю их, братьев, ссору, что он не решился на это, и только сейчас, когда уже почти рассказал ее, понял, как нелепо похожи они.

— Схватил... Что схватил? — спросил Алим и первый раз взглянул на брата. Взгляд его был угрюм и непонятен.

— Ничего... так, ерунда... — замаялся Мустафа и вдруг спросил: — Манефа дома?

Алим вздрогнул, вытер потное лицо яркой бархатной феской и тихо ответил:

— Нет... Ходит где-то...

Мустафа взял положенную Алимом на стол феску и нахлобучил ее себе на голову.

— Положи феску... — попросил брат.

Мустафа облокотился на стол и мягко сказал:

— Алим, чего ты злишься? Ну, поругались и хватит. Брось, Алим. Ведь мы братья с тобой. Ну, я вот уеду скоро... А ты подумай, что бы вчера получилось, если бы я вовремя не вошел... Ты только подумай, Алим... А ты сердись.

Алим посмотрел на мирно уснувшего Гришу и, усмехнувшись, ответил:

— А ничего бы не получилось... особенного.

Мустафа быстро повернулся и молча пошел в дом. Через минуту он возвратился с байковым одеялом в руках.

— Ты куда? — спросил Алим.

— В малинник, спать... А жара спадет — пойду на пристань груз принимать, — ответил Мустафа, прошепел под гору в конец сада и скрылся в кустах малины.

Гриша Банный, приоткрыв один глаз, долго следил за его фигурой и, снова зажмуриваясь, издал сладкий звук, похожий на зевоту. Алим толкнул его под столом ногой.

— Гриша! Спишь?

— Н-нет... Что вы-с... — встрепенулся Гриша. — Так, в сладких мечтаниях пребываю-с... Об утраченной молодости, главным образом...

Алим бодро тряхнул головой, точно отбросив какую-то мысль, и выпил рюмку водки.

— Гриша, верно, что ты незаконно-рожденный сын князя Сумарокова, что имение держал под Костромой? — весело осведомился он.

— Слухи-с, наглые слухи-с, имеющие целью умалить мое пролетарское достоинство, — возразил Гриша. — Папаша мой был, с позволения сказать, беспутной фигурой на Милыонной улице в Нижнем-Новгороде... крючник. Двадцать пудов один из трюма выносил.

— Слушай, Гриша, — наклонясь и понижая голос, уже серьезно спросил Ахтыров, — а женат ты был?

— Н-нет... не был... Так, в незаконных связях, были случаи... Страдал через это непомерно... Особенно телесными повреждениями... Мужья бывают, доложу я вам, чрезвычайно сильны и злы, как цепные псы-с

Ахтыров с силой ударяет по столу кулаком. Вдребезги разбивает тарелку. Гриша Банный вскакивает, выгнув спину нотным ключом, описывает небольшой круг за кустами малины. Робко возвращается и боком подходит к столу.

Глаза Ахтырова наливаются кровью, вздуваются синие жилы на толстой шее.

— А ты скажи мне, Гриша: что делать, если жена тебя не любит, а ты ее... как... как мальчишка любишь, жить без нее не можешь... Часу прожить без нее не можешь, как рыба без воды... Что тогда делать, Гриша? Скажи — что?

Он задыхается и вопросительно смотрит на Банного, вращая покрасневшими белками.

— Не любит меня Манефа, не любит... И никогда не любила... А с первого дня свадьбы — ненавидит.. Вот уж два года, как ненавидит лютой ненавистью... За что, Гриша? За что? А?

Гриша Банный осторожно садится на кончик стула, моргает белыми ресницами.

— Н-да... это дело сложное, — тихо говорит он. — Нужна привязан-

ность... Нежность надо к жене больше проявлять...

— Ах, все это не то! — досадливо машет рукой Алим и спокойнее добавляет: — не в этом дело... Мало что-ль ей моей нежности... Хоть пруд пруди этой нежностью...

Гриша приободряется, — на память ему приходит маленькая историйка и он немедленно приступает к ее изложению:

— Да-с... с женами много беспокойств. Самое главное, надо учуять, когда она к другому, так-сказать, предмету потянется... Не пропустить именно этот момент, а то пойдут беды великие и великие неприятности, влекущие за собой иногда и публичное посрамление. Например, в двадцатом году мне пришлось наблюдать такую комбинацию: один полковой командир, удирая от поручика, который застал его, с позволения сказать, в постели с родной женой, — залез в бочку из-под дегтя... А был он, доложу я вам, в совершенно отвлеченном виде, то-есть, в одних кальсонах... Ну-с, сами понимаете: деготь черный, кальсоны белые...

Ахтыров вдруг дико рвет ворот защитной гимнастерки, — с треском летят в стороны пуговицы, — падает головой на стол и плачет тяжелым мужским плачем. Гриша Банный на этот раз не проявляет никакого испуга. Он пощипывает редкую бородку и несколько минут сидит неподвижно, наблюдая, как вздрагивают от рыданий плечи Алима; в белесых глазах Гриши вспыхивает светлый голубой огонек, он тихо встает и, бесшумно ступая по траве босыми костистыми ногами, идет к калитке сада...

IV

Мустафа долго не мог уснуть. Лежа на спине, он видел глубокое синее небо в темной раме маличника. Несмотря на жару, оно казалось холодным и чужим. Перекликались в кустах птицы, шумели на берегу купающиеся дети. Мустафа слышал, как скрипнула калитка за Гришей Банным, слышал его робкие тихие шаги, потом слышал, как хлопнула дверь в доме и кто-то торопливо прошел вдоль забора снаружи сада. Минут десять спустя, в сад вошел дед Северьян, высокий широкоплечий

старик; он привез дрова и искал Алима. Мустафа не любил старика и на его вопрос о брате довольно грубо крикнул, что не знает, где Алим и что пусть его ищет сам старик. Дед Северьян ушел. Мустафа остро и гнетуще почувствовал одиночество. Наступившая тишина не успокаивала, а давила, точно в круг над ним, образованный ветками малины, с холодного неба медленно спускался невидимый и тяжелый пресс.

— Да что за чорт! — вслух выпругался Мустафа и повернулся на бок. Волна знакомого странного беспокойства снова, как прилив, подкатывала к сердцу. Он заметил, что от нервного напряжения у него мелко задрожали кончики пальцев левой руки. Он сунул ее под грудь и прижал к земле всем телом. Почему-то вдруг ярко и четко вспомнилась Манефа в день ее свадьбы с Алимом. Она сидела в белом платье в конце стола, много смеялась, шутила с гостями, с ним — Мустафой, — и сразу, как ночь, мрачнела, когда ее руку трогал Алим. Эти внезапные переходы были так непонятны и нелепы, что гости потупляли глаза в тарелки, шушукались... Как невеста, она неприлично много пила и неприличной показала гостям ее выходка под конец свадьбы. Она высоко подняла над головой чайный стакан и громко крикнула: «Выпьемте, гостечки дорогие, за девушак староверских, что с татарами начали родниться». Тетка Таисия брови нахмурида, шукнула на дочь: «Говори, да не заговаривайся, невестушка. А то из-за стола да за косыньки. Не посмотрю, что мужняя жена. Думай, что городишь. Аль не по любви идешь?» Ухмыльнулась Манефа: «По любви, мамаша, по любви-заношушке, да по моей бурлацкой волюшке». Опять потупились гости, переглянулись. «По любви — не по любви, а раз вышла — мужу уважение надо представлять» — прошамкала бабка Аграфена. Алим молчал, сверкая смороченными глазами. И никто не мог понять: видит он горчинку в свадебном пиру, или от счастья ослеп, или не желает видеть ничего, кроме невесты. Мустафа все тогда видел и жаль ему было брата. Теперь же он понимал Алима, понимал, что ради такой женщины на все

можно было идти: и на унижение, и на горе.

Вспомнилась ему и другая картина. Это было в Отважном. Мустафа — одиннадцатилетний загорелый мальчик. Он стоит, расставив ноги и плачет. Дед Северьян держит его за плечо и легонько треплет за ухо. Мустафа плачет не от боли, а от испуга и обиды. Дед Северьян приговаривает: «Не лезь в чужой сад... не лезь. Люди трудом живут, в поте лица плоды взращивают, а ты — воровать! Будешь еще?» На пригорке в отдалении стоит Алим. Он в синей рубашке и холщевых штанах, порванных на колене. «Отпусти его, дедушка» — просит Алим, — «он не шибко виноват, это я его подбил...» Дед Северьян отпускает Мустафу и грозит пальцем Алиму: «И тебя когда-нибудь вздую... Только попадись...» А косарь-то косарь-то как он отнял у Алима.

— Да что за чорт! — повторил опять Мустафа и плотнее завернулся в одеяло. Под одеялом было душно и темно. Горячей щекой плотно прижался к земле. Неровно, с перебоями стучало сердце. Внезапно, где-то под землей, он услышал осторожные, но твердые шаги, и беспокойство такой силой обрушилось на него, что остановилось дыхание и омертвел, обессилел каждый мускул в теле. Он понял, что должен сейчас же, немедленно откинуть одеяло и встать...

— Не надо... — хотел крикнуть он, но яркий, ослепительный свет ударил его по глазам и смаял сознание.

V

Незадолго до Троицы, дед Северьян отвез в Татарскую слободу и продал там две сажени дров, по полешку и по бревнышку наловленные за весну. Ловить казенные дрова из Волги запрещалось законом, а тем паче — продавать, — все это вместе называлось «расхищением государственной собственности». Но закон-законом, а жизнь-жизнью, и дед Северьян сделал из этого промысла главную статью своего дохода. Сначала он ловил дрова для того, чтобы не покупать, потом стал ловить для того, чтобы продавать, а позже, этак лет десять назад, почувствовав в этом занятии некий спортивный интерес, стал сочетать приятное с полезным.

Выезжал раненько, чем свет. Тихо поскрипывая уключинами в густом тумане, поднимался вверх по реке до Песчаной горы, — возле села неудобно: люди могут приметить, — и начинал бороздить Волгу вдоль и поперек. Кряхтя, чалил попавшиеся бревнышки за корму старенькой лодки, носившей назамысловатое название «Путешественник» (буквы «т» не было) и, когда солнце начинало подыматься над Заволжьем, а туман редеть, дед ехал назад в Отважное, старательно прятал добычу в кустах прибрежного тальника, ставил лодку на место, притягивал ее цепью к огромной коряге, запирал, клал ключ в карман старого кителя, крестился и неторопливо шел в гору.

Несмотря на свои 79 лет, дед Северьян был силен и здоров. Росту был огромного, косая сажень в плечах, носил пепельную «лопатой» бороду и никогда не кланялся встречным первым. Не пил и не курил. В молодости, сказывали, и курил, и пил запоем. В молодости же, на гулянье в Татарской слободе, железной тростью выбили ему в драке четыре зуба и расщелили губу. На глубоком шраме волосы не росли, поэтому левый ус был длиннее правого и казалось, что одна половина лица больше другой.

Жену схоронил дед Северьян давно, года через четыре после свадьбы, пятьдесят лет с лишним назад. Из двух сыновей остался в живых только Ананий. Младший же, Михаил, утонул еще мальчиком, сбитый буксиром с баржи. Со старшим, Ананием-бакенщиком, жили по соседству, в миру и ладу. Ананию Северьянычу было 58 лет; маленький, тщедушный, с седенькой редкой бородкой, он выглядел старше отца.

Почти каждое утро отец и сын встречались на берегу. Отец ехал на дровяной промысел, сын — тушить бакена и вежи. Каждый садился в свою лодку. Расправляя веревочную путцу, сын тоненьким голоском осведомлялся:

— На охоту, стало-быть с конца на конец, папаша, едете?

Дед Северьян хмурился, откачивая деревянным ковшом воду из лодки.

— Я, Ананий, не твои дрова ловлю, а казенные, потому это дело тебя не

касается. А ты вот что: ты бы попозднее зажигал бакена, да пораньше тушил, керосину бы больше для хозяйства оставалось. Мне, вот, нечем лампу вчера разжечь было...

— А вам, папаша, стало-быть с конца на конец, чего по ночам-то делать? Не канцелярию вести, не на счетах считать... как оно, это самое, стемнеет, так и спать ложитесь... Я вам на той неделе пол-бидончика отпустил, неужто все пожгли?

— Да что тебе, чорту седому, казенный керосин что-ли жалко? — гремит дед Северьян и сердито сталкивает лодку.

— Казенный-то он казенный, да во всем, стало-быть с конца на конец, отчетность иметь надо... — уклончиво бормочет Ананий Северьяныч и опускает весла в воду. — Счастливой охоты, папаша!

— Езжай, чортов сын, езжай... — беззлобно смеется дед Северьян и отец с сыном разъезжаются.

Темный человек был старик. Кто он и откуда — никто толком не знал. Рассказывали, что совсем юным видели его с ляжкой на плече — ходил в бурлаках. В село пришел парнем с капиталом, женился, открыл трактир, купил пароход, каменный дом двухэтажный построил. Но — запил. Во хмелю буен был, драться любил, и однажды едва не забили его до смерти. Выжил. Запил пуще прежнего и в скором времени пропил все до нитки: и пароход, и трактир, и дом... Поселился вместе с детьми, — жены уже не было, — в маленьком деревянном домишке на краю села, на самом берегу Волги. Отрезвел быстро — пить бросил, в церковь стал ходить, но на ноги встать уже больше не мог. Перебивался так, кой чем: рыбу ловил зимой, крючком на пристанях работал летом, плотничал...

Много пересудов ходило по селу про деда Северьяна. Непонятно было, как это человек из бурлака вдруг в богача превратился, а из богача легко и просто, в несколько лет — в нищего. Самым упорным слухом был слух о том, что согрешил дед в молодости, задушил какую-то богатую старуху в лодке, — перевозил ее в Самаре через Волгу, — а потом забрала его, совесть и — запил смертным поем. Но это были слухи, а, в

общем, никто ничего толком не знал. Русская душа потемки, разобраться в ней нелегко.

После революции семнадцатого года потаскали его немного по допросам, как бывшего собственника, но дело то было очень давнее, неуклюжее какое-то, недолговременное, и оставили его, под конец, в покое. Жил дед тихо, смиренно, никому зла не причинял. Знали односельчане, что дровишки он поворовывает, да как-то язык ни у кого не поворачивался донести на старика и, к тому же, не один он этим грехом грешен был.

*

Проданные две сажени дров дали Северьяну Михайловичу 46 рублей. Поздним вечером, прислушиваясь к завыванию крепкого низового ветра и шуму волн, дед сидел перед маленькой семилинейной лампой с разбитым стеклом и, открыв березовую шкатулочку, пересчитывал свой капитал. Всего было 1075 рублей 30 копеек.

Уютно стрекотал сверчок где-то под потолком, шуршали на русской печи тараканы. Пересчитав последний раз деньги, дед Северьян спрятал шкатулочку в горку, запер горку на ключ и, бесшумно ступая валенками по крашеному желтой масляной краской полу, вышел на крыльцо.

Вечер был темный, прохладный. Шумели листвою древние развесистые березы. Внизу, за плетнем, редела Волга, мигали огоньки бакенов. Где-то далеко, далеко, за коленом реки, протяжно и тоскливо свистел бужирный пароход.

Постоял немного дед Северьян, посмотрел на небо, по которому стремительно неслись облака, точно огромные комья черных тряпок, зевнул, прислушался к шуму на реке.

— Стонет матушка, стонет родимая... Жалуется... — вслух проговорил старик и пошел в дом.

Помолившись Богу и заперев дверь на заветку, он сел на широкую кровать, покрытую ватным одеялом, снял валенки и только было пошел дунуть на лампу, как кто-то резко и громко постучал в маленькое окно.

— Несет кого-то нелегкая... — недовольно буркнул старик и, откинув крючок, толкнул раму.

Под окном стоял смуглый подросток лет 15—16. По-русски грубовато-красивый, немного курносый, немного широкоскулый, с карими глазами, смотревшими мягко и вдумчиво, белокурый, в синей выцветшей рубашке и в серых домотканых штанах, босой, он стоял, запрокинув голову и держась рукой за ствол тонкой березки.

— Ты что, Денис? — осведомился дед Северьян.

— Папаша прислал... Там из сельсовета пришли и один городской с ними... И милиционер... Все папашу допрашивали... Теперь за тобой послали... Иди скорее! — быстро проговорил Денис, сверкая полосками зубов и щурясь на свет.

Дед Северьян выпрямился, изувеченная верхняя губа чуть дернулась, ощерилась, узловатая рука медленно приподнялась — заложил большой палец за крученный шнур пояса. В голубых по-старчески глазах сверкнули искорки настороженности.

— Об чем допрашивали отца?

— Не знаю... Нас-то всех выгнали с кухни в горницу... Дверь притворили, ничего не слышно...

Старик поднял другую руку и второй палец сунул за пояс; постоял, подумал.

— Ну, ладно... ступай, Денис... Скажи — приду... Да притворь-ка раму покрепче с той стороны...

Опять тоскливо засвистел пароход. Металась Волга, выплевывая желтую пену на прибрежный гравий, лизала песчаные косы, раскачивала бдинокие и жалкие в такую ночь бакена. Это была не красавица-река, а измученная, истерзанная русская душа, бешеная в своем бессилии.

VI

Тесный, покрытый темной драпкой, дом Анания Северьяныча Бушуева стоял выше домика деда и уже входил в «порядок», то-есть, в улицу, шедшую по горе, параллельно Волге. Дом этот выстроил Бушуев еще до революции, в ту пору, когда плавал лопманом на пароход «Государь» общества «Самолет». В 1924 году посадил он на камень теплоход «Октябрь», сумел как-то отвертеться от суда, был признан по глазам негодным к службе на Волге, и ушел на берег бакенщиком.

Семью держал в строгости, но любил. К жене Анисье Ульяновне, относился несколько свысока, но ценил в ней доброе сердце и привязанность к мужу; обижал редко, — разве уж когда бывал сильно не в духе. Запивал два раза в год: осенью и весной. Запой длился две недели, после чего Ананий Северьяныч шел в баню, парился с веником несколько часов кряду, до полного изнеможения; выгонял, как он говорил, «смутяна-диавола», надевал чистое белье и шел в церковь. В церкви он бывал тоже два раза в год — по числу запоев. Иногда бывал и три раза, если случался нежданный — негаданный зимний запой. В отличие от батюшки, который был драчлив и буен в молодости, Ананий Северьяныч во хмелю никогда не шумел и не скандалил; пел печальные песни, жаловался на горькую долю, благодарил Ульяновну за то, что она родила ему двух сыновей, плакал и просил у всех прощения, неизвестно за что.

Сын Кирилл, двадцатипятилетний детина, был сумрачен и угрюм. Недалеким умом, он не закончил даже четырехклассную школу — исключили за неуспеваемость. Работал матросом, масленщиком на маленьком буксирном пароходе, но выше масленщика не пошел. Отслужив четыре года на военной службе во флоте, Кирилл вернулся домой, слонялся без дела и собирался жениться. Сын Денис только что кончил сельскую школу-семилетку и предполагал осенью поступить в речной техникум.

Допрос, учиненный Ананию Северьянычу, насмерть перепугал его. Он трясся всем телом, божился, что знает ничего не знает, отвечал сбивчиво и путанно. Одно утешало его, что разговор шел не о нем, а об отце и обвинялся, собственно говоря, отец.

Дед Северьян, застегивая на ходу старый засаленный китель, не торопясь, поднимался по тропинке к лому сына. Ветер трепал пепельную бороду, из-под надвинутого на лохматые брови старенького картуза он смотрел острым взглядом на освещенные окна дома. Обогнув палисадник, взшел на крыльцо, — скрипнули ступеньки под тяжестью громадного тела, — прошел длинные сени и, сняв картуз, толкнул обитую войлоком тяжелую дверь в кухню.

В просторной кухне было светло, горела под полотком, чуть покачиваясь, керосиновая лампа «молния». За большим столом сидело трое: председатель сельсовета Онучкин, следователь из города — прыщеватый молодой человек в больших очках и, несколько поодаль, сгорбившись, положив руки на колени — Ананий Северьяныч. Прислонившись к косяку двери в горницу, стоял молодой человек в несущатый милиционер.

Едва только дед Северьян переступил порог, следователь быстрым движением откинул назад длинные салюнные волосы и негромко произнес:

— Ага, старик... Вот тебя-то мы и дожидаемся... Садись. Здравствуй.

Дед Северьян молча перевел взгляд на образа, перед которыми теплилась неугасимая синяя лампадка — очаг вечных забот и тревог богобоязненной старообрядки Ульяновны, — размашисто перекрестился и сел на табуретку возле шестка, держа картуз в руках.

— Здравствуйте. Зачем позвали? По какому случаю?...

Следователь подвинул к себе бумаги, посмотрел на них, постучал химическим карандашом по ногтям с черными краешками и, блеснув очками, коротко бросил:

— В слободу сегодня ездил?

— Ездил.

— У кого был?

— А вам кого надо? — усмехнувшись, спросил дед.

— Ты мне, старик, вопросов не задавай. Я тебя спрашиваю, а не ты меня. У кого, говорю, был? С кем виделся?

— А со многими виделся. Перво на перво — с Аксюшкой-дурочкой, белье полоскала на лаве... это когда я только к берегу пристал...

— Так. Еще кого?

— А потом вроде как и никого...

— Как никого? — вскипел следователь. — А дрова кому продал?

Дед Северьян скосил глаза на сына. Ананий Северьяныч сгорбился еще ниже, бескровные губы дрогнули.

— Вы, папаша, это самое... стало-быть с конца на конец... Не подумайте чего...

— Молчи. Тебя не спрашивают, — оборвал его следователь. — Так кому, говорю, дрова продал?

— Ахтырову. — громко ответил дед.

— Нет. Брату ихнему, Алим Алимыхчу.

— Мустафе Алимыхчу?

— А Мустафу Алимыхча видел?

— Видел.

— Где?

Дед Северьян покрутил в руках картуз, наморщил брови.

— В саду видел. Спал он в малиннике. А по какому такому случаю я должен вам ответы представлять?

— Ты перед следственной комиссией, Северьян Михайлович, — сказал председатель сельсовета Онучкин, свертывая цыгарку, — потому надо отвечать, коли спрашивают.

Следователь сделал какие-то заметки в бумагах и снова приступил к допросу.

— Значит, Мустафу Алимыхча ты видел в саду?

— Видел. Разбудил я его. И Алим по дельцу видел. Как же...

Следователь досадливо отмахнулся.

— Да что мне Алим! Ты про Мустафу расскажи. Значит, Мустафу ты видел по дельцу? По какому же это дельцу?

Дед приподнял изувеченную губу, ощерился:

— Это ты непонятливый, а не я. Сто раз тебе повторять надо, что видел я Мустафу, а по делу с Алимом разговаривал.

— Ты не кричи, — тихо посоветовал следователь, — а то я крикну... В каких ты отношениях был с Мустафой?

— Я с ним по-сейчас как бы в дружбе. Ну, в дружбе не в дружбе, а так... встречаемся, здоровкаемся...

Следователь строго и внимательно посмотрел на деда.

— А ты что, старик, не знаешь в чем дело?

— А чего?

Следователь не спускал глаз с лица допрашиваемого.

— Зарубил кто-то топором сегодня в полдень Мустафу Алимыхча в этом самом малиннике...

Старик не двинулся с места. Дернул губой. Перекрестился.

— Кто ж это его?

— А вот то-то и оно, что «кто ж это его»...

Замолчи. С рукомойника в углу капала вода, звонко шлепаясь в ведро с помоями.

— Расскажь-ка, Северьян Михайлович, — снова начал следователь, — все дело по порядку. Вот, значит, ты приехал, пристал к берегу... Дальше.

Дед кашлянул.

— Ну, значит, приехал я, за собой плотик маненький привел, дровишки, значит... Которые мелкие были — в лодку положил. Дурочка-Аксюшка белье полоскала, на камушке Гриша Банный сидел, над ей потешался.

— Кто это Гриша Банный?

— А у нас под горой живет;azole бани Колосовых, домишечка вроде курятника к бане этак приткнут... Не знаешь?

— Ладно. Дальше. Чего ок в Татарскую слободу попал?

— А он в дружбе пребывает с Алимом Алимьчем. Любит его татарин. Да его все любят, божий он человек...

— Ладно. Дальше.

— Гриша, говорю, посиди тут, посмотри, чтоб робятишки ковшик из лодки не уворовали, а я, говорю, к Алиму Алимьчу схожу. Согласился он. А чего не согласиться-то? все одно — с дурочкой зубья скалит. Подымаюсь в гору. Прихожу к Ахтыровым. Вход-то у них через сад идет... Отворяю калитку, иду. Смотрю: стол под кленом... на столе закуски, вино недопитое... и никого нет. Я в дом — заперт. Стою на тропинке. Что ж, думаю, делать? не назад же дрова везти. И вспомнил я тут, что братья частенько в хорошую погоду в малине спят... Иду туда. Смотрю — лежит который-то из них. Мустафа Алимьч. «Ты чего?» — спрашивает. «А вот», говорю, «дрова привез, что Алим Алимьч заказывал». «Так ты», отвечает, «и толкуй с ним». «Так его нет». «А ты поищи» — и опять вернулся в одеяло. Постоял я постоял, и пошел искать старшого брата. Только я выхожу на улицу, смотрю — идет, черный такой, нахмуренный, руки-то в карманы засунуты, винцом от него пахнет. «Ты, что — ко мне заходишь?» спрашивает. «К тебе. Дрова привез, что просили». «Почем хочешь?» Называю цену...

— Почем же ты ему продал? — перебил деда любопытный председатель сельсовета.

— Да недорого... по 23 рубля с сажени.

— А Васька Булатов нам нынче продал, — вдруг вмешался молчаливый все время молоденький милиционер, — так тот по двадцатке только взял.

Но следователя дрова не интересовали, и он поторопился вернуться к прежней теме:

— Ладно. Не в этом дело. Ну, дальше рассказывай. Значит — сторговались?

— Да торговли никакой и не было: я назвал цену, он сразу согласился. Пошли на берег дрова смотреть...

— А в дом не заходили?

— Нет... Тут сразу и на Волгу пошли. Посмотрел он дрова, расплатился. Подтащили мы их на приплек, чтоб волной не снесло, на этом дело и покончили.

— А потом?

— А потом он вместе с Гришей в гору пошел, домой, стало-быть...

— А ты?

— Я?

— Да, ты?

— Сел в лодку и поехал назад...

Следователь снял очки и потер глаза: видно было, что он намотался за день. Записал показания, подумал.

— Говорят, Северьян Михайлович, ты с покойником личные счета имеешь?

— Не припомню что-то.

— А ты попробуй... припомни. Я не тороплю.

Захрипели тяжелые стенные часы. Открылись резные дверки, и ярко-красная кукушка стала кланяться, опаздывая, не попадая в такт ударам. Все подняли головы, и до последнего, двенадцатого удара, не спускали глаз с часов. Кукушка застыла, и резные дверки захлопнулись.

— Н-да... — протянул следователь, — забавные часы. Только красоты нет, соотношения боя, так сказать...

— Были раньше... отношения, как же — были, — поторопился объяснить Ананий Северьяныч, усиленно почесывая спину, — да Дениска-сын, стало-быть с конца на конец, попортил.

Следователь сделал строгое лицо и повернулся снова к деду Северьяну.

— Вспомнил?

— Нет.

— Ну, так я тебе напомним: пять лет тому назад порубил ты ему завозню по неизвестным причинам. Завозня затонула, и кладь подмокла. Говорят, что это ты сделал.

— Я никакой завозни не рубил. Понапрасну он тогда на меня... — хмуро ответил дед Северьян, — к тому же, встречались мы потом... и все по-прежнему... вроде как бы помирились.

— Скажи, старик, — перебил его следователь, — а не ходил ты еще раз в сад, после, как ушел Алим с Гришей?

— Нет, не ходил.

Следователь встал, потянулся, зевнул.

— На... подпиши вот эту бумагу, что нигде не уедешь из села.

— Я неграмотный.

— Тогда поставь крестик... Вот здесь. Видишь?

Дед Северьян встал во весь свой огромный рост, стукнулся головой о лампу, погладил ушибленное место и неуклюже, корявыми толстыми пальцами взял карандаш.

— Где?

— Вот здесь.

Запахивая пиджаки и стуча кожаными сапогами, гости направились к двери. Следователь выходил последним. Перешагнул порог и вдруг остановился. Повернулся, смерил взглядом деда Северьяна с головы до ног.

— А, все-таки, старик, дельце это не без тебя обошлось... Вот только концов еще у меня нет. Найду — плохо тебе будет, старик.

И вышел, хлопнув дверью.

VII

Татарская слобода стояла на левом берегу Волги, чуть пониже села Отважного. Отважинцы занимались, главным образом, работой на водном транспорте и отхожим промыслом, татары же — исключительно земледелием. Из Казани, при Екатерине II, бежали сюда несколько татарских семей и построились на месте нынешней слободы. Слобода быстро росла и ко времени коллективизации насчитывала 105 дворов. После коллективизации число дворов несколько уменьшилось, и к моменту назначения Алима Ахтырова на пост председателя колхоза было 85 дворов.

Алим Ахтыров был сильный и

властный человек. Преданный делу, искренне желая помочь народу, он работал с утра до ночи. Был справедливым, но требователен. У него было много друзей и врагов. Брат же его, покойный Мустафа, служил приказчиком в слободском кооперативе и никаких особенных счетов ни с кем не имел. Зная его за доброго, в общем, малого, все были поражены его страшной смертью.

Дело сильно запуталось. Молодой следователь Макаров сбился совершенно с толку. Ни допрос Алима, ни его жены, ни Гриши Банного, ни деда Северьяна — ничего, в сущности, не дали.

Первым обнаружил убийство мальчик Степка, забравшийся в сад к Ахтыровым проведать, не поспела ли клубника. Раздвинув кусты, он заметил лежащего в тени на траве человека, укрытого легким одеялом. Одеяло, очевидно, служило спящему защитой от мух. Приглядевшись, мальчик увидел, что голова у человека как-то неестественно подогнута и, словно сургуч, красная. Так же подозрительно показалась ему и красная трава вокруг головы. Подойдя ближе, он понял, что это кровь и, заплакав с испуга, бросился в дом Ахтыровых. В сенях он столкнулся с Алимом, — во всем доме находился только Алим. Манефа ушла на полдни доить корову. Гриша же Банный, после покупки Алимом дров у Северьяна Михайловича, прямо с берега пошел в пивную и просидел там до 5 часов вечера, распивая с сапожником Яликом жигулевское пиво. Алим, по словам мальчика Степки, как сумасшедший, бросился к месту преступления, едва только мальчик успел сказать ему несколько слов.

Удар был нанесен, очевидно, острием топора, сильно, со всего размаха, в висок, через край одеяла и голубую феску, сдвинутую на левое ухо. Смерть наступила мгновенно. Кровь смешалась с вытекшим желтовато-белым мозгом. Топор, должно-быть, убийца унес с собой, и найти орудие смерти не удалось. Проверили кой у кого наличие топоров — все оказались на месте и без всяких признаков крови.

— Чорт знает что! — вслух ругался следователь Макаров, идя на

другой день с допроса Гриши Банного, — в чем же тут заковырка? Кто же это его кокнул?

На подозрении у следователя были пока-что трое: Алим Ахтыров, Манефа и дед Северьян. В первую минуту он, почему-то, подумал, что Мустафу убили по сговору Алим и Манефа. Но этот первый вариант как-то сам по себе быстро отпал в начале следствия — уж очень нелепо было это предположение, ибо в отношениях мужа и жены он уловил что-то такое, что исключало какой-либо сговор. Тогда он стал ощупывать их по-одиночке. Алим был сражен смертью брата. Он ходил, как лунатик, и твердил каждому встречному, что если убийца найдется, то он задушит его своими руками. Иногда, в бессильной ярости, он сжимал кулаки и блестел слезами в черных глазах. Манефа, придя с полдней в день убийства и узнав от собравшейся толпы возле ахтыровского дома страшную новость, молча села на траву, закрыла лицо руками и через полчаса ее, окаменевшую, ничего не сознающую, Алим отвел в дом. Закрывшись на крючок, она долгое время никого не хотела видеть, и хотя заметно было, что ей трудно собраться с мыслями, она четко и ясно давала показания на следствии.

На поведение Алима и Манефы следователь не особенно обращал внимания, ибо тут могла быть и игра в деланое горе, но свидетельские показания ставили его в тупик: все в один голос заявляли, что Мустафа был любим и Алимом и Манефой, и что жил он с ними в большой дружбе.

Поняв, что ни у Алима, ни у Манефы не было никаких причин убивать Мустафу, Макаров решил копнуть тайну с другой стороны, более легкой: кто находился в доме в момент убийства? Оказалось: Алим, и на несколько минут в сад заходил дед Северьян. Допустив, что Алим в деле не замешан, следователь обратил внимание на деда Северьяна. У старика нашлись старые, хоть и слабые, счета с покойным Мустафой, а значит — и причины к преступлению. Доказательств же не находилось никаких.

В общем, дело было темное и путанное.

Пробившись, как рыба об лед,

целую неделю, следователь стал было охладевать, но новый маленький факт дал совершенно обратный ход делу, приоткрыл, как ему казалось, занавес над тайной. И он с новым пылом принялся за расследование.

Сапожник Ялик показал, что Гриша Банный, посидев с ним очень недолго, ушел куда-то и пропадал около часа. Вернулся он чрезвычайно взволнованный, на вопросы Ялика отвечал невпопад, на лбу у него сверкала свежая ссадина...

И Макаров решил допросить еще раз Гришу Банного.

VIII

На Троицу, с утра, вся семья Бушуевых рядилась в самое лучшее. Денис надел штаны из «чортовой кожи» и клетчатую рубашку «ковбойку». Длинный и худой Кирилл облачился во флотскую форму, оставшуюся у него после демобилизации; широченные брюки-клеш болтались на его худых ногах, как паруса. От всей его нескладной фигуры, от приглаженных водой с сахаром черных волос и от маленького курносого носа, — веяло довольством и удалью.

— Смотри, Дениска, ежели что... ежели драча какая... карнахинские задираться будут, так чтоб всем вместе... так и ребятам своим скажи, — учил он меньшого брата, поминутно смахивая слезу с левого, чуть косящего, глаза.

Традиции умирали. Новые праздники: с каждым годом все больше и больше вытесняли старые. Уже не все дома украшали ветки березок и не бросали девки венки из ромашек в Волгу. Но, все-таки, неохотно и туго русский человек расставался с дорогами его сердцу и памяти веками установившимися обычаями. Старики праздновали Троицу потому, что это — Троица, великий праздник, молодежь — потому, что представлялся случай повеселиться, поухаживать за девушками. Как бы то ни было, но гулянье в Отважном на этот год выдалось большое и шумное.

Визжали по всему селу гармошки, хмельные парни, окруженные тучей подпрыгивающих от удовольствия мальчишек, ходили толпами по улице и горланили песни. Девушки, взявшись под-ручки, в три-четыре ряда, прогуливались, не торопясь, пели негромко, как бы слушая самих себя.

Были и парочки. Были и обязательные кружки танцующих возле гармониста, присевшего где-нибудь на бревнышках или на лавочке, были и чудачки, потешавшие всех (неизменно на русской гулянке), были и пьяные драки, жестокие, кровавые, с применением кольев и тростей. Вспомнились обиды за весь год, и со страшной, дикой и бессмысленной злобой, люди сводили счеты в этот день...

Словом — праздник, как праздник.

Часу в четвертом дня, в самый разгар гулянья, задиристый Кирилл Бушуев шептался с Мишкой Потаповым и Мотиком Чалкиным о том, что надо бы карнахинских парней проучить — уж больно у многих отважинских они поотбивали девушек. Мысль эта пришла Кириллу в голову не только потому, что он был сильно навеселе, а главное потому, что Настя Потапова, девушка, за которой Кирилл ухаживал и собирался жениться на ней, вдруг в этот день отказала ему в компании и, посмеиваясь, прогуливалась с карнахинским пареньком Генькой. Генька же, с видом крайне равнодушным, перебирал пютовки гармошки и, казалось, очень мало обращал внимания на Настю, шедшую рядом с ним. Воздух накалялся.

Денис сидел с товарищами на лавочке возле колосовского дома, сочинял частушки, которые тут же, налету, подхватывались слушателями и разносились по всему селу. Манефа Ахтырова, приехавшая погостить по случаю праздника из Татарской слободы к матери в Отважное, смотрела из раскрытого окна на веселящуюся молодежь, положив полные красивые руки на подоконник. Яркие, как сурик, губы пухлого рта крепко сжаты, в серых прищуренных глазах — тоска и сумрачная русская хитреца.

Денису нравилась эта двадцатилетняя женщина. Он считал ее самой красивой женщиной на селе. Но и побаивался ее. Иногда он подолгу наблюдал, как она полощет на лаве белье, как поднимается с тяжелой корзинкой на гору, твердо и уверенно ступая босыми ногами по скользкой тропинке. Ему часто хотелось подойти к ней и помочь нести корзину, украдкой прикоснуться к загорелой и гладкой руке повыше локтя, но

серые глаза смотрели на него так холодно, так безразлично, что у него пропадало сразу всякое желание подойти хоть на шаг ближе к ней.

Совсем по другому относился он к манефиной сестре — тринадцатилетней Финочке. Эта тоненькая девочка с пушистыми косичками вокруг головы и с большими, такими же как у сестры, серыми, но добрыми и веселыми, глазами, вызывала в нем радостное чувство и прилив какого-то особенного вдохновения. Когда он был у нее на виду, ему хотелось, чтобы она видела, как он ловко может плавать, грести, нырять на ходу с парохода, сочинять частушки и прибаутки. Он часами мог сидеть с ней и помогать готовить уроки и от души был рад, когда она была довольна и весела.

Финочка выглядывала из-за плеча Манефы, и Денису приятно было сознавать, что он — центр внимания, и что за всеми его словами и движениями следят веселые глазки Финочки. Девочка заливалась смехом и подзадабривала Дениса.

— Еще что-нибудь, Денис..., ну, еще сочини.

— Оставь ты его, Фаина, а то он тут до вечера чудить будет, — поморщилась Манефа.

— А ты, если не хочешь слушать, так отойди от окна, — посоветовала младшая сестра, — вот, Денис, сочини что-нибудь про Манефу!

Денис, больно задетый пренебрежением Манефы к его искусству, подумал, тряхнул белокурой головой и нараспев проговорил:

Вдоль дорожки, сколько видно —

Все несжаты полосы.

Ой, когда-нибудь, Манефу

Отдерут за волосы...

Слушатели так и покатились со смеху. Финочка прыснула было, но тут же зажала рот рукой, увидев изменившееся в одну секунду лицо сестры. Манефа медленно привстала, в глазах ее сверкнули искорки злобы.

— Смотри, Дениска, как бы я тебя в Волге не утопила с камнем на шее... — тихо, с угрозой проговорила она и, вдруг, схватив горшок с гортензией, стоявший на подоконнике, с силой швырнула его в сочинителя.

Денис ловко наклонился, горшок ударился о ствол старого тополя и

вдребезги разбился. Хохот поднялся еще больший.

— Чорт бушуевский... — сквозь зубы бросила Манефа и захлопнула окно.

В доме послышался плаксивый голос тетки Таисии Колосовой, матери сестер:

— Вот лошадь неумная! Гляди-ко, что наделала — цветок на волю выкинула! Ой, ведьма! Ой, ведьма!...

Денис стоял бледный, растерянный, тяжело дыша. Как это получилось? Зачем последние слова частушки слетели у него с языка? Ведь он не хотел так сильно обидеть Манефу. Совсем не хотел. Он хотел только подразнить ее немножечко, а не делать ей больно. Ах, как нехорошо получилось. Но додумать до конца происшествие ему не удалось: кто-то крикнул, что к Отважному пристаёт пароход, и с гиканьем вся ватага мальчиков понеслась на берег.

Волга была тихая, гладкая, словно политая маслом. Звонко шлепая по воде плицами, к пристани подходил маленький пароходик «Товарищ». Мальчики пробрались по шатким сходням на пристань и уселись на корме возле скрученных в бухту канатов. Отсюда им хорошо был виден и пароход и пассажиры.

Приятель Дениса, черномазый и низкорослый Васяка Годун, толкнул друга локтем:

— Смотри, Денька, москвичи опять приехали на дачу.

— Где?

— А вона на борту... в кормовом пролете возле сияний стоят. Все как есть. И папаша в шляпе, и девки ихние...

Денис сразу же узнал знакомые лица. Архитектор Белецкий, тучный румяный мужчина, гладко побритый, в светлом костюме и серой шляпе, стоял возле самого борта. Поблескивая в улыбке золотым зубом, он что-то быстро говорил матросу, наклонившемуся, чтобы взять два больших кожаных чемодана, стоявших у ног Анны Сергеевны — жены Белецкого, маленькой, аккуратно и просто одетой женщины. Две черненьких девушки, в одинаковых легких платьях, оперлись на поручни и восторженно смотрели на берег.

Хрустнули кранцы, пароход пристал к дебаркадеру.

— Посторонись! — предупредил загорелый матрос, пробегая с чалкой по обносам парохода.

Белецкий заметил Дениса и приветливо крикнул:

— Здравствуй, Денис!

— Здравствуйте, Николай Иванович!

С приездом! — обрадованно ответил Денис. Он искренне и горячо привязался к Белецкому года два тому назад, и приезд на дачу Белецких для него всегда был настоящим праздником. Кроме удовольствия видеть самого архитектора, он предвкушал и другое: прекрасные книги, которые тот всегда привозил с собой.

— Как ваше бурлацкое степенство поживает? — шутил Белецкий, — школу, наконец, изволили кончить?

— Кончил...

— А вырос-то как! Совсем молодой человек, — сказала приятным московским говорком Анна Сергеевна.

— Мама! Сходить уже начали! Пойдете же! — торопила старшая дочь.

Белецкий махнул Денису рукой и смешался с толпой выходивших пассажиров. Денис подстерег семью архитектора на сходнях, помог им донести вещи до дачи, попрощался, обещав зайти на другой день, и, не торопясь, пошел навстречу песням и шуму, летевшим с «большой» улицы. Он шел и чувствовал какое-то беспокойство. Откуда оно? Ах, да! Это все тот горький осадок после истории с Манефой. Даже встреча с Белецкими не отвлекла его от этого неприятного воспоминания.

Он сел возле какого-то дома на бревнышки, поглядывая на разноцветную гудящую толпу. Неподалеку от него сидели Гриша Банный и учитель немецкого языка Квиринг, и, как на зло, он опять услышал имя Манефы, которое упоминал по какому-то поводу Гриша Банный. Денис подвинулся к ним поближе и прислушался.

— Нет-с, Митрофан Вильгельмович, — вкрадчиво и мягко говорил Гриша Банный, — не по моим слабым способностям понять подобную женщину. Сфийкс, доложу я вам, русский сфинкс!

— Ну, если уж вы, русские, в своем народе разобраться не можете, если простая русская женщина для вас сфинкс, то как же могут понять

иностранцы русских? Никогда, или, может быть, очень долго они не разберутся ни в вашей природе, ни в вашей душе. Одно ясно, что вы, русские, сыграете какую-то огромную и ответственную роль в истории мира. Я не знаю когда, в каком году и в каком веке это будет, но это будет, дорогой Григорий Григорьевич. Поверьте мне.

— Охотно верю-с, ибо я самого высокого мнения о своем народе, — согласился Гриша Банный.

— Я обрусевший немец, — продолжал Квириг, — я безвыездно живу в России с девятьсот пятого года, даже имя приобрел себе русское. Я наблюдаю вас давно. И я понял кое-что, но далеко не все. Вот, скажем, ваши праздники. Вы как-то странно веселитесь: пьянство, драки. Ведь я не запомню ни одного праздника в Отважном, чтобы кого-нибудь не убили, или, в лучшем случае — не покалечили. Сегодня тоже кого-нибудь убьют.

— Вероятно, убьют... — подтвердил Гриша.

— Отчего это?

— Я полагаю, сил много в нашем народе... а девать эти силы некуда.

— В вас много еще дикарства, вы еще дикие...

— Дикие-с... — опять охотно согласился Гриша.

— Но вы страшно потенциальны. Ваши возможности и силы еще не вскрылись, они лежат еще под метровыми снегами. А снега у вас много. Что ни эпоха, то снег. И давит он вас этот снег, и не дает он вам поднять голову... Но когда-нибудь растает!

— Растает, — кивнул головой Гриша, — снег, он, знаете, всегда тает — простой закон физики. Особенно он, знаете, огня и света боится. Чуть огоньку — и тает, тает... так на глазах и тает. Иногда, знаете, от густяков тает. Вот вы, Митрофан Вильгельмович, никогда не пробовали посадить обыкновенную кошку на лед в погребе и продержат ее там некоторое экспериментальное время?

— Нет, знаете, не пробовал... — улыбнулся Квириг и пожалел о растратченном красноречии.

— Забавно и поучительно, доложу я вам. Если вам не скучно меня слушать, то разрешите, дорогой Митрофан Вильгельмович, я вам расскажу

об этой ситуации несколько подробнее...

Заинтересованный было в начале этим разговором, Денис теперь понял, что, после предложения Гриши рассказать об опыте с кошкой и льдом, разговор о Манефе больше никогда не возобновится; он встал и пошел к школе.

Возле большого двухэтажного здания школы, окруженный толпой зрителей, плясал под захлебывающуюся гармошку низкорослый и кривоногий Мотик Чалкин. Вздыхаятучи пыли, он приседал, выбрасывая поочередно ноги, щелкал ладонями по подошвам сапог, кружился и задевал раскинутыми руками носы зрителей. Карнахинец Генька, с гармошкой подмышкой и цыгаркой в зубах, стоял в первом ряду и обнимал Настю Потапову за талию. Он часто сплевывал через зубы и приговаривал:

— Здорово! Крепко режет! Ай-да парень — карусель!

Расталкивая толпу, подошел к нему сзади Кирилл Бушуев и вдруг наотмашь ударил Геньку по лицу. От страшного удара Генька повалился на дорогу, выронил гармошку и сжал руками голову. Сквозь пальцы ручьем хлынула темная кровь из разбитого свинцовым кастетом уха.

— Ребята! Карнахинских бьют!! — заорал кто-то изо всей мочи.

Маленький паренек в синей косоворотке подскочил к Кириллу и ткнул его кулаком в переносицу. Кирилл устоял, но второй удар, нанесенный ему сбоку здоровенным веснушчатым детиной, сбил его с ног. Паренек в синей косоворотке пнул Кирилла в живот каблуком, но тут же повалился сам под ударом доски, которую на-ходу подхватил немедленно ввязавшийся в драку Мишка Потапов.

— Чичас я им, гадам, покажу! — обещал кривоногий Мотик Чалкин, выламывая из плетня здоровенный, больше его самого, кол.

Толпа шарашнулась в сторону. С визгом и криками побежали девушки, но отбежали недалеко, стали, сбились в кучки и с нескрываемым любопытством наблюдали драку.

Бой разгорался. И та и другая сторона быстро получала подкрепление. Клубок дерущихся все разрастался. Из месива тел неслись крики:

— Кирюшка! Свинчаткой его по башке! Свинчаткой...

— Бей отважинскую сволочь!

— Вот, где мы с тобой, гад, встретились! На! Н-на!...

— Бурлацкое отродье! Не на тех нарвались! Это вам не с татарвой!...

— Мишка! Назад смотри! Назад! Колом ударят!

— Эх, так твою растак! На!... Съешь!

— Н-на!... Н-на!... Н-на!...

Увидев подбежавшего Дениса, Кирилл заорал истошным голосом:

— Денис! Не видишь, брата родного бьют!

Денис поднял кусок кирпича, зажал его в руке и бросился на паренька в синей косоворотке, но налетел носом на крепкий кулак и мгновенно покатился на траву, закрыв глаза от дикой боли. Здоровенный карнахинец схватил Мотика Чалкина и, как котенка, бросил его через плетень в школьный огород. Мотик плюхнулся лицом в рыхлую грядку, но тут же вскочил и с залепленными землей глазами полез назад через плетень.

— Ччас я тебя, рыжий чорт, на тот свет отправлю! — орал он на всю улицу. — Заказывай надгробную колесницу!

Но колесница рыжему вряд ли бы пригодилась. Уж если кому надо было заказывать подобный род транспорта, то, пожалуй, самому Мотику Чалкину. Через секунду тот же рыжий детина волочил по земле Мотика за ноги, стараясь выбирать места покаместнее. Голова Мотика подпрыгивала, как мячик. Описав с жертвой небольшой круг, метров в двадцать диаметром, рыжий детина покачал Мотика в воздухе и снова забросил в огород. Больше уже изобретатель надгробной колесницы не поднимался до самого конца сражения.

Прибежавший на шум Гриша Банный стоял за спиной какой-то древней старушки, сокрушенно качавшей головой, стучал от страха зубами и тихо удивлялся:

— Уж не оптический ли обман? Смертоубийство происходит на улице среди бела дня... Гладиаторы! Смертоносные гладиаторы! Взятие Зимнего Дворца!

Силы были неравные; карнахинцы дрогнули и побежали к Волге, к лодкам. Отважинцы преследовали их.

забрасывая камнями и кирпичами. Денис бежал впереди погони и норовил угодить камнем в своего врага — паренька в синей косоворотке. Один раз это ему удалось: камень попал в спину преследуемого, но последствия были ужасны.

Он упал и остался лежать недвижим. Денис подбежал к нему и хотел было для полного уничтожения дать врагу крепкого пинка, но перенек вдруг схватил его за ногу, швырнул на-земь, и заколотил каблуками по голове Дениса с такой быстротой, точно отплясывал камаринскую. Денис уже не думал о том, чтобы подняться, он старался только как-нибудь руками защитить голову от сыпавшегося на него града ударов. Насладившись мщением, паренек присоединился к своему арьергарду, оставив на окровавленной траве свою раздавленную и уничтоженную жертву.

Карнахинцы попрыгали в лодки и, работая веслами изо всех сил, поплыли восвояси. Отважинцы долго и победно шумели на берегу, обещая дать баню врагам на Ильин день с вооруженным вторжением в само село Карнахино.

IX

Денис, с непомерно распухшим носом, с многочисленными синяками и ссадинами, с перевязанной рукой, лежал в горнице на кушетке. Еле разлепляя опухшие синие веки, он видел двигающуюся по комнате с причитающими и оханьями Ульяновну и слышал стоны брата, лежавшего на кровати в кухне. Ананий Северьяныч бегал от сына к сыну, усиленно чесал спину и торжествовал:

— Так вам, стало-быть с конца на конец, и надо, стервецы! Надо б еще поздоровше отколотить вас, чтоб в другой раз не лезли в драчу... Ишь герои нашлись! Р-разинцы!... Да вам, сукиным детям, головы поотрывать надо!

Потом подносил к лицам сыновей изорванную в клочья одежду и визжал:

— Это что такое? А?! Денег-то оно, это самое, стоит аль нет? Как по вашему, зимогоры, стоит? А? Говори! Отвечай!... Молчите? То-то. Разве это одежда? Псу она теперь под хвост и то не годится... Пол бы вытереть, да пол жалко.

Швырял остатки былой роскоши в

угол и уже тихо, но злобно предсказывал:

— Погодите, еще когда-нибудь забьют вас до смерти... Забьют, и очинно скоро, при таком вашем сучьем поведении...

— Да оставь ты их, Христа ради, — просила добрая Ульяновна, — на них и так сил нет смотреть от жалости... Того и гляди Богу душу отдадут.

— И пуцай, и пуцай отдадут... — тряс бородкой Ананий Северьяныч, — не заплачем!

— Грех тебе, старик, говорить такие слова.

— Ничего не грех! — упрямылся Бушуев и вдруг с новой силой начал кричать:

— А им не грех отцовское добро растратывать?! Совесть у них, стало-быть с конца на конец, у подлецов, есть али нет?!

— Я костюм с флота привез... — робко оправдывается Кирилл.

— С флота?! — подхватывает старик и бежит из горницы в кухню, — с флота, говоришь? А в чем ходишь по будням? В моем ходишь? Что ты делаешь? Чем деньги зарабатываешь? У-у, дармоед! Хоть бы на работу куда поступил, чорт долговязый... Женись и отделийся — вот мое последнее слово!

— Мамаша! — негромко зовет Денис. — Перемени тряпочку на лбу... опять горячая стала.

Ананий Северьяныч спешит в горницу.

— Тряпочку захотел? А вожжей не хочешь? Я те дам тряпочку! Сопляк, шашнакдцать лет, а туда же — в драчу лезет...

— Оставь ты его, оставь! — просит Ульяновна, забирая тряпку с головы Дениса.

— Да я в твои годы не знал, как и кулаком, стало быть с конца на конец, махнуть.

— Молчи уж! — вдруг переходит в контрнаступление жена. — А на Петров день, помнишь, как тебя отделили в Спасском? Забыл, небось...

Ананий Северьяныч, не ожидавший удара с фланга, стушевывается и растерянно бурчит:

— Так это когда ж было? Все ты путаешь, старая дура... Я уж того, женатый чать был...

— Парнем ты ходил, а не женатый был, вот что... Годов, чай, осьмнадцать было, не боле...

— А ну вас к лешему! — машет рукой Ананий Северьяныч и бежит в сени, но тут же возвращается, просовывает в дверь голову и замечает:

— Путаешь ты, дура, путаешь... Двадцать первый мне тогда шел...

К вечеру пришел дед Северьян. Постоял возле Кирилла, помолчал, прошел в горницу и тяжело сел в ногах у Дениса. Голубые глаза блестя смехом.

— Лежишь, бурлак?

— Лежу.

— Крепко отходили?

— Ага...

Дед погладил пепельную бороду, сунул ус в рот, пожевал.

— Ты головой умеешь бить?

— Нет... — вздохнул Денис и подумал о том, какой он несчастный, даже дед и тот пришел его мучать. Подумал и отвернулся к стене.

— А ты научись, дуралей. Когда одолевают в драче и под рукой ничего тяжелого нет, тогда это лучший манер — головой.

— Да я упал, а он тут на меня и навалился! — не выдержал Денис, снова поворачиваясь к деду.

— А падать, бурлак, не надо... Это хуже всего. На ногах надо крепко стоять... Болит рожа?

— Болит... болит, дедушка, — вздохнул Денис, услышав знакомые теплые нотки в голосе и словах старика.

— Ничего, подживет... А девки, брат, на тебя теперь не заглядятся. Девки, они красоту не такую любят.

— Ах, оставь меня, дедушка! — обиделся Денис.

— Ну, лежи, лежи... — примирительно сказал дед Северьян, вставая. — А рожу ты, бурлак, береги... Она у тебя, рожа-то, от Бога. А что Богом дадено — беречь надо...

Скрипя половицами, он тяжело зашагал в кухню.

— Мамаша! — позвал Денис.

— Чего тебе?

— Мамаша, дай-ка мне на минутку зеркало...

X

Архитектор Белецкий каждое лето отдыхал со своей семьей в Отважном на собственной даче. Зимой Белецкие почти никогда не приезжали в Отважное, и в качестве сторожа оставался на даче учитель Митрофан Вильгельмович Квиринг. На лето он снова переезжал в свою маленькую и уют-

ную комнатку в здании школы.

Белецкие любили Волгу, а для дочерей, Жени и Вари, переезд в Отважное из наскучившей за зиму Москвы был настоящим праздником.

Небольшая деревянная дача с открытой верандой стояла на обрыве, на самом берегу Волги, утопая в кустах жасмина и сирени. Ее яркая красная крыша была далеко видна с реки.

Спустя неделю после приезда, Белецкий и Анна Сергеевна сидели на веранде, пили чай, наслаждались теплым вечером, красным закатом и земляникой. Огромное раскаленное солнце падало в Заволжье, прямо на острые пики темной полоски елового леса, окрашивая в фиолетово-красный цвет небо и реку. На высоких березах шумели грачи, готовясь ко сну. По улице, вздымая клубы горячей пыли, брело стадо коров, и пастух Архипыч волочил за собой длиннющий пеньковый кнут.

— Домой, родименькие, домой... Погуляли, погрелись на солнышке, а теперь домой... — подгонял он стадо.

Белецкий блаженно допил последнюю чашку чая, откинулся в плетеном кресле и закурил папиросу.

— Боже, Аня, как хорошо! Как хорошо! Знаешь, давай нынче и сентябрь здесь проживем.

— Ах, оставь, пожалуйста, глупости, — улыбнулась Анна Сергеевна, — ведь это только одни слова, а вот, погоди, наступит август и ты запроешься в Москву. Знаю я...

— Уверю тебя, что в этом году я хочу подольше здесь пробыть.

— А я уверю тебя, что это одни слова. Сначала будешь ныть, что погода испортилась и рыба перестала ловиться, потом вспомнишь о проекте «Дворца пионеров», конца которому, кажется, никогда не будет... и так далее, и так далее.

— Ну нет! К чорту все дворцы на свете! Будем отдыхать и наслаждаться Волгой. Кстати, Аня, возьми опять прислугу, а то из твоего отдыха ничего не выйдет: эти бесконечные приготовления чаев, обедов, уборки комнат...

— Нет, в этом году я никого не собираюсь нанимать.

— Почему?

— Потому что — стыдно. Две взрослые дочери и вдруг — прислугу им еще. Ну, я понимаю — в Москве,

там другое дело, там у них школа занятия музыкой, а здесь бесконечный праздник. Пусть поучатся и женскому делу.

— Ну, это, впрочем, твое дело. Как знаешь... Денис! — закричал вдруг Белецкий, увидев мелькнувшую за низеньким забором белокурую голову, — а ну-ка иди сюда, братец, я тебе сейчас пропишу...

Денис хотел было дать стрекача, но сообразил, что теперь уже поздно, открыл калитку, и боком, нерешительно подошел к веранде.

— Проходи, проходи... Садись и рассказывай, — приказал Белецкий, — почему ты до сих пор к нам не появлялся? Постой-ка! Повернись! Гм... Что это у тебя, братец, за египетские иероглифы на физиономии?

Денис покраснел, не зная что ответить.

— Так...

— Как это — «так»? Это не ответ. Подрался, что-ли?

— Ага.

— С кем же?

— А на троицу, возле школы... с карнахискими:

— Ах, так и ты в сем Аустерлицком сражении участвовал? — засмеялся Белецкий, сверкая золотым зубом. Улыбнулась и Анна Сергеевна. — Слышал я про это, слышал. Кому еще попало?

— Многим.

— Хочешь чаю, Денис? — предложила Анна Сергеевна.

— Нет, спасибо.

— Почему же?

— Мне идти надо за паклей для дедушки.

— Успеешь. Выпей чашку... На, держи.

Денис осторожно вылил чай в блюдце, долго дул на ароматную темную жидкость и двумя руками поднес блюдце ко рту.

— Читаешь? — спросил Белецкий.

— Читаю.

— Стихи пишешь?

— Пишу... иногда.

— Пиши больше, Денис.

Белецкий любил Дениса и считал его способным человеком. Однажды, на рыбной ловле, он услышал от Дениса стихи собственного сочинения, которые очень заинтересовали его. Стихи были еще слабые, ученические, но Белецкий, любивший и понимавший литературу, уловил в них «неч-

то», что заставило его присмотреться к Денису внимательнее и даже изречь, что «в бурлачонке есть искра Божия». С этого дня он надавал Денису кучу книг и строго следил за тем, чтобы все они были прочитаны.

Солнце совсем скрылось за лесом, и от реки потянуло свежим ветерком. Полоснули потемневшее небо стремительные чирки. Над водой заплавал белесый туман. Вприпрыжку, заливаясь смехом и размахивая полотенцами, прибежали с Волги Женя и Варя. Поздоровались с Денисом, наскоро чмокнули губами лбы родителей, продрогшие сели за стол и, обжигаясь, принялись пить горячий чай.

— Накупались до полу-смерти! — качала головой Анна Сергеевна. — Ну, разве так можно? Губы синие, носы синие, вместо рук — какие-то гусиные лапы...

— И ничего мы, мамочка, не замерзли... просто так, — отвечала младшая дочь Варя, стуча зубами по краю чашки. Худенькая, веснушчатая, с прямыми длинными ресницами вокруг влажных, по-детски, синих глаз, она казалась моложе своих четырнадцати лет.

Старшая, Женя, была совсем взрослой девушкой с огромной черной косой и полной красивой грудью. Она в этом году кончила десятый класс и собиралась поступить в Московский университет на биохимический факультет.

— Вот простудитесь, тогда возись с вами, — ворчала мать.

— Да, новость! — вспомнила вдруг Женя. — Мустафу Ахтырова зарубили недавно топором. Нам Финочка Колосова сказала...

— Что это Мустафа Ахтыров? — морщась лоб, спросил Белецкий.

— А помнишь, папочка, мы ездили с тобой в прошлом году в Татарскую слободу и заходили в кооператив купить ниток для мамы. Так вот этот приказчик, черный такой... в феске. Помнишь? — залпом выпала Варя, боясь, что не она первая, а Женя напомнит родителям, кто такой Мустафа Ахтыров.

— А-а-а... помню. Как же, очень хорошо помню... Кто же его убил и за что?

— Неизвестно. Следствие еще не закончено, — ответила Женя, обливая ложку с вареньем.

Денис заерзал на стуле, встал, комкая в руках серую кепку. Ему неприятно было слышать разговор об убийстве.

— Спасибо. Мне идти надо.

— Что так скоро? — удивленно спросил Белецкий. — Нет, ты еще посиди маленько. Я хочу у тебя кое-что спросить. Какие ты, например, книжки за зиму прочитал?

Денис сразу оживился, и даже снова сел.

— Много.

— Перечисли.

— Так... значит, «Домби и сын», потом — «Я люблю».

— Стой! — оборвал его Белецкий. — А кто автор «Домби и сына»?

Денис задумался.

— Нет, не помню, — решил он, наконец.

— А я знаю! — подхватила Варя. — Это Чарльз Диккенс.

— Правильно! — одобрил отец. — Дальше! Какую вторую ты назвал? Только когда говоришь название книги, то всегда говори и фамилию автора... Так как там?

— «Я люблю». Кажется, этого... как его... Авдеенко.

Белецкий поджал губы.

— Не знаю. Не читал. Вы, девочки, читали?

— Я читала, — кивнула головой Женя, — странная вещь. Как будто бы и ничего написана, и язык хороший, и образы запоминаются, но чего-то не хватает.

— Он, что — современник? — спросил Белецкий.

— Да, конечно. Бывший беспризорник, между прочим.

Денис жадно прислушивался к разговору дочери с отцом. Кое-что ему было непонятно, но спросить он постеснялся. Что такое, например, «образы»? И решил, что спросит у Белецкого наедине.

— Хорошо, дальше. Что еще ты читал?

Денис стал перечислять длинный ряд книг, прочитанных им за зиму. Тут были: Майн-Рид, Гюго, Букин, Катаев, Шолохов, Киплинг, Есенин, Маяковский...

— Скажи, Денис, а кто тебе больше понравился, Есенин или Маяковский?

— Есенин.

— Почему?

— У Есенина все красиво... понятно, а Маяковский... он совсем не-

понятный, рубит как-то... а что к чему — не разберешь.

— Ну, ты еще не дорос, очевидно, до Маяковского. Маяковский — большой, очень большой поэт. Запомни это. Вот ты подрастешь, научишься понимать его и тогда согласишься со мной.

— А мне, папа, он тоже не нравится, — заметила Женя.

— Значит, и ты ничего не понимаешь.

— А мне он просто чужд и неприятен, — вставила Анна Сергеевна.

— Неприятен? — оживился Белецкий, поворачиваясь к жене. — Чем же он неприятен?

— Ты сам великолепно знаешь, чем. Ну, хотя бы вот этой строчкой: «делайте жизнь с Феликса Дзержинского...» Нашел тоже пример с кого делать жизнь. Назвал бы, скажем, Ломоносова, Менделеева, Эдиссона, Пржевальского, а то... заплечного мастера.

— Все это довольно сильно и убедительно, — согласился Белецкий, — пример, конечно, убийственный. Но, видишь ли, Аня, в чем дело. Позволь я тебе изложу свою точку зрения на Маяковского. Ты затронула самую боковую сторону творчества поэта — идейную; о ней мы и будем говорить, она-то и есть самое уязвимое место, ибо спорить о Маяковском, как о поэте-мастере, я думаю, нам нечего. Можно признавать или не признавать формальную сторону его творчества, но отрицать, что он мастер — нельзя. Прежде всего, позволь задать тебе один вопрос: что послужило по-твоему мотивом к самоубийству?

— Неудачная любовь! — ответила за мать Женя.

— Очевидно, так, — подтвердила Анна Сергеевна.

— Да? — улыбнулся Белецкий. — «Любовная лодка?» Нет, дорогие мои, не это. То-есть, конечно, с одной стороны и это, но мне кажется, что есть и другая причина, более сложная и глубокая. Маяковский был, прежде всего, человек искренний и прямой...

— Что? — удивилась Анна Сергеевна.

— Да, Аня, искренний. Очень ис-

кренний. И в этом-то вся суть дела. Ведь в каждой строчке, в каждом его слове сквозит искренняя большая вера в глубокий смысл того, что происходит в нашей стране.

— Ах, ты имеешь это в виду. Не спорю, — согласилась Анна Сергеевна.

— И вот представь: постепенно эта вера начинает угасать. Поэт побывал за границей, сравнил кой-что. Он ждет, а воз ни с места. Только слова, слова и слова... И самое страшное состоит в том, что он — один из самых активных ораторов. И происходит чудовищное прозрение. Оказывается, что мельница, на которую он годами лил воду, сомнет не только его, но и миллионы других, тех, кого он так пылко звал за собой в своих произведениях... Теперь скажи, этого кризиса мало, чтобы в один прекрасный день покончить с собой?

Все молчали. Молчал и Денис, увлеченный горячей речью архитектора.

Он далеко не все понял из сказанного Белецким, но где-то в душе бес-сознательно уловил смысл его слов, и ему стало жаль погибшего поэта. И еще уловил он, что разговор шел не только о Маяковском, а о чем-то гораздо большем и важном!..

Сумерки сгущались. Печально курлыкнув, пролетела одинокая чайка. По Волге тихо плыла лодка, отчетливо слышались в тишине всплески весел. Это ехал Ананий Северьяныч зажигать бакена. Белецкий долго следил за ним, попыхивая папироской.

— Не отец ли едет?

— Отец, — ответил Денис.

— А как твои комсомольские дела? Денис вздохнул.

— Выгнали меня из комсомола.

— За что? — в одно слово спросили все члены семьи.

— А вот за драку... на Троицу.

Белецкий улыбнулся.

— Это, брат, плохо. Это тебе может сильно помешать в дальнейшем пробивать дорогу в жизнь. Постарайся искупить свою вину и поступи снова...

— Не одного меня выгнали, а и Мотика Чалкина и Мишку Сутырина.

Ваське Годуну предупреждение сделали.

— А почему же вас без предупреждения выпнали?

— Нам еще весной секретарь ячеек предупреждение сделал.

— За что же?

— Мотику и Мишке за то, что из погребца Онучкина ведро со сметаной сперли...

— Не «сперли», а «украли» — поправил Белецкий.

— Ну, украли.

— И без «ну», пожалуйста. А ты за что выговор получил?

— А за это... как ее... за другую драку.

Все дружно рассмеялись.

— Опять за драку? — нахмурился Белецкий.

— В школе еще. Перед зачетами. Так, чепуха. С одним татаринком подрался. Вот через это мне предупреждение и сделали.

— Не «через это», а «за это», — солидно поправила Варя, подражая отцу.

Денис мельком взглянул на нее и замолчал. Белецкий встал, прошел в комнату и через минуту вернулся, держа в руках толстого роскошного Шиллера. Протянул книгу Денису.

— Читал?

— Нет.

— Тогда бери. Это я для тебя привез. Только чур не замарай, не порви.

— Нет, что вы!

Денис наскоро попрощался, нахлобучил на растрепанные волосы кепку, и, держа книгу, словно икону, бросился бегом к калитке сада.

— Ой, парень, ой, парень... — покачал головой Белецкий.

— А красивый будет молодец, — предсказала Женя.

— Ну, конечно, что-что, а это ты заметишь, — пошутила мать.

— Мама, я спать хочу... я так устала. И читать не буду, прямо в постель... — сообщила Варя и громко зевнула.

Над Татарской слободой взошла желтая луна и заполоскалась в посветлевшей Волге. Вспыхивали огоньки бакепов. На приплеске уютно кри-

чали кулички. Запахло свежестью и клейкими листочками тополей.

Наступала ночь.

XI

Как ни любил Денис общество Белецких, но больше всего любил быть вместе с дедом Северьяном. У Белецких, несмотря на теплоту и ласку, которой старалась окружить его семья архитектора, он чувствовал себя стесненно, неуклюже, может быть, именно от того, что его старались окружить лаской, с дедом же Северьяном было легко, интересно и, главное, свободно, хоть старик и не особенно то баловал внука, а временами обходился и сурово.

Когда Денису было шесть лет, дед стал учить его плавать, по-своему, круто. Он брал внука на лодку, отъезжал сажени три от берега и швырял его, как котенка, в воду. Денис таращил от испуга глаза и беспомощно тыкал во все стороны руками и ногами, но как только он начинал пускать пузыри и идти на дно, дед подхватывал его на воздух, давал некоторое время отдышаться и снова швырял. Мука эта продолжалась недолго: через два дня Денис улепетывал от старика по воде к берегу, поднимая снопы брызг. Дед тихо ехал за ним и ухмылялся. А через два года маленький белоголовый мальчик забирался на корму парохода, и когда пароход отходил от пристани, мальчик на ходу прыгал вниз головой в воду к удивлению и ужасу пассажиров.

Зимой дед любил брать с собой внука в баню. Парился дед долго, часа по два, и жестоко. Лил на каменку воду, нагонял горячего пару столько, что в бане делалось темно, залезал на полки и хлестал себя березовым веником до тех пор, пока на венике не только листьев, а и веточек не оставалось, и красный, как рак, но довольный, выходил голый на снег, чтоб немного «охладиться». Денис, подражая деду, захотел тоже выйти голым на снег. Дед сейчас же согласился на просьбу внука, но предложил ему предварительно проделать то же, что проделывал и он, то-есть, залезть на полки и попариться. Денис залез на скольз-

кий мокрый полук и чуть не задохнулся, глотая горячий, как огонь, пар. Дед же взял веник и долго хлестал им внука. «Теперь ступай» — сказал он, когда тело мальчика покраснело. Денис спрыгнул с полка и пулей вылетел на снег, ибо почти терял сознание от жары.

К его удивлению, снег казался теплым и мягким, как вата, и было совсем не холодно. Он стоял и смотрел, как быстро таял под его ногами снег. Дед же, выйдя за ним, взял его подмышки и два раза окунул в сугроб к великому удовольствию Дениса. С тех пор Денис всегда зимой, моясь в бане, выбегал на снег и, приходя домой, замечал, что тело после этого делалось упругим и легким.

Когда он однажды рассказал Белецким о том, как он парится зимой в бане, то Анна Сергеевна пришла в ужас и негодование. Девочки смеялись, а сам архитектор строго заявил ему, что когда-нибудь он заболеет после этого и умрет. Денис передал его слова деду. Дед весело сказал: «В тебе, Дениска, кровь-то, чать, моя, бурлацкая, а не ихняя, рыба. Оно, конечно, городской какой после этого и окачурится, а мы — нет... Мы не только телеса, а и дух пропарить любим».

Проходя как-то мимо погребца Анания Северьяныча, дед заметил Дениса под кустом бузины с книгой в руках. Дед подошел, кашлянул.

— Все читаешь?

— Читаю.

— Про что ж там пишут?

— Это Шиллер — ответил Денис, не поднимая головы от книги.

Дед кивнул головой и заложил пальцы за крученый шнур. Подумал и опять кашлянул.

— Гм... Про что, говорю, к примеру, пишут?

— А про всякое... Есть и про разбойников.

— Про разбойников. А про наше житье-бытье ничего там... не подмечено?

— Эта книга немецкая, дедушка.

— А-а... так-так... немецкая, значит. Ну им, конечно, до нас делов нет. Им что? Своя сторонущка, значит, ближе, — заключил дед Северьян и

тяжело опустился на траву возле Дениса. — А разбойников у нас и своих на Руси хватает. И ночных, и дневных. Там какие большие водятся: ночные или дневные? Вот у нас на Волге в старину был такой разбойник, Стенькой Разиным прозывался. Сорви-голова. Из казаков был. В Жигулях один водолив давно — я еще парнем был — показывал мне место возле села Моркваши, и будто на том самом месте Стенька клад большой зарыл.

Денис закрыл книгу, посмотрел на деда и серьезно спросил:

— А вы не покопали там?

— Да нет, так только... поговорили. Уставшие были, целый день лямку тянули. Поговорили, кашки поели, да и спать легли.

— А что, дедушка, жизнь теперешняя хуже или лучше прежней?

Дед Северьян ответил не сразу.

— Для кого, значит, хуже, а для кого — лучше. Для князьев, да для помещиков — хуже, а для нас... для нас, брат... тоже хуже. Потому, вишь ты, свободы человеку маловато теперь-то, податься некуда.

— Как нет свободы? — удивился Денис. — Вот теперь-то и есть настоящая свобода. Раньше все на богачей работали, а теперь на себя.

— На себя ли, Дениска, на себя ли? Вот, к примеру, возьмем меня. Ходил в бурлаках. Правда, тяжеленько было: от Астрахани до Рыбинского нук пройди пешечком, да с лямкой на плече — небо в овчинку покажется. На хозяина работали — что правда, то правда. Хозяин, Илья Ефимыч Калачев, царствие ему небесное, ничего был человек, тихий такой, незлобливый, голосок тоненький. Не крикнет, а как бы просит: «Вы бы, робятушки, хоть до Камышина б сегодня довели, а там и заночуем, робятушки». Так говорил... А приказчик у его, тот сразу по роже — тресы! Тот говорил мало, больше — руками. Только не долго он был. Как-то подвыпили бурлачки, привязали ему камушек на шею, да в Волгу его возле Жигулей и бросили, приказчика-то этого... Н-да, тянули, работали. Да не в этом, брат

Дениска, жись была. Жись была от того, что кажный бурлачок мыслишку в голове держал. А мыслишка была такая: как бы самому хозяином стать, да приказчика нанять, да дом хороший купить. Дескать, лет десять-пятнадцать в бурлаках похожу, деньжонок скоплю и сам богатым буду...

— Да зачем же богатым-то быть? — перебил его Денис. — Кто-то на тебя работать будет, а ты, ручки сложа, сидеть будешь.

— Как зачем богатым быть? — удивился в свою очередь дед Северьян. — Чтоб жись, значит, лучше была, чтоб достаток, значит, в доме был, а не бедность. И богатый, сложа ручки, не сидит, брат; у него работы ой-е-ей! И туда надо, и сюда надо.

— Ты, ведь, тоже богатым был? — спросил Денис, вспомнив рассказы матери и отца про деда.

Дед Северьян ухмыльнулся.

— Богатым не богатым, а буксирный пароходик был у меня, «Эльбой» назывался. И трактир свой держал...

— Как же ты разбогател? Деньги скопил в бурлаках?

Дед немного нахмурился и неохотно ответил:

— Нет... я другой дорогой... Барынька одна меня пригрела...

— Как пригрела?

— Ну, так — пригрела и пригрела... — сердито ответил дед... — полюбила, значит.

— И деньги дала?

— И деньги дала.

— А ты и взял?

— А ну ты к лещему! — совсем рассердился дед, махнул рукой и отвернулся.

Денис поерзал по траве и хитро прищурился.

— Ну, положим, это ты так разбогател. А были бурлаки, что не так... сразу, а вот, как ты рассказывал — деньги копили.

— А как же! — оживился дед, поворачиваясь. — Еще сколько было! Семен Денисыч Тарелкин — мельницы имел, Кашины — братья, Комаров... Да мало ли их эдаких было. А другие через них тоже богатели. Люди хорошие были, ну и помогали другим.

— Как через них богатели?

— А вот хоть-бы через Комарова, Ивана Кузьмича, Рыжов в люди вышел. Рыжов-то лет двадцать у него в приказчиках ходил. Сидят они раз в трактире в Саратове: сам Комаров, Рыжов, да два купца из Нижнего. Комаров, значит, с купцами дельце хсроее провернул, задаток большой получил. Все подпившие сидели. Комаров, значит, приказчику своему и говорит: «Ну, Мишка, долго ты еще в приказчиках ходить будешь? Пора бы уже свое дело начинать». «Да, как начинать-то, Иван Кузьмич, — говорит Рыжов — деньжонок еще маловато». «Сколько ж есть у тебя капиталу?» — спрашивает Комаров. «Да тыщенки три, не боле». «А на примете есть что?» «Есть, — отвечает Рыжов, — да не под силушку. Пароходик один винтовой присмотрел, «Енисей». Продавать его собирается Сидоркин». «Сколько ж просит?» — спрашивает опять Комаров. «Много. Пятнадцать тысяч». Комаров подумал, губами пошевелил, потом вдруг говорит: «Ну, вот что, Мишка: даю я тебе двенадцать тысяч, а три у тебя есть. Покупай пароход и — с Богом, начинай работать, начинай дело свое», и — бах ему на стол двенадцать тысяч. Рыжов побледнел, руки затряслись. «А как же, — говорит, — Иван Кузьмич... а как же, ежели я прогорю?» «Ничего, не прогоришь. Парень ты с головой. А ежели прогоришь — значит так Богу угодно, значит пропадут мои деньги, взыскивать не буду. Ну, а ежели на ноги встанешь — потом отдашь. Лет, хоть, через пять, через десять...»

— Ну, что ж он — прогорел? — спросил заинтересованный Денис.

— Ни-ни. Парень ловкий был. Дело колесом завертелось. Через три года долг своему благодетелю вернул, и пошел, и пошел... Четыре буксирных парохода завел! Пассажирскую линию держал от Нижнего до Рыбинского. Сам в Нижнем жил, домище отгрохал такой, что всем на удивление: А Комаров-то тем временем разорился, вдрызг разорился. Сначала караван — четыре баржи с нефтью сгорели. Потом с солью баржу потопил. И пошел

на низ. В долги залез. И — с молотка пустили его. Одно плохо: пришел он к Рыжову, к своему-то бывшему приказчику, стоит в передней, одет плохо, приема дожидается. Прислуга пошла доложить. Приходит и говорит, что Рыжов дескать, принять его сейчас не может, что занятый он черезчур, что, дескать, — завтра. На завтра опять не принял. Походил с недельку Комаров к нему, да и бросил. Так и не принял его Рыжов, так и не помог своему бывшему благодетелю. А Комаров вскорости помер. Вот, какие дела бывали, Дениска... — скорбно заключил дед Северьян.

Денис долго сидел молча и вдруг спросил:

— А как же ты разорился?

— Я?

— Да.

— Пропил все... — коротко ответил дед.

Денис посмотрел на него с сожалением. Не потому, что ему жалко было дедовского богатства, а потому, что дед так нелепо расстался с ним.

— Так бывает... — ответил дед, вставая... — бывает, Дениска, у нашего брата это. Вожжа под хвост попадет и конец.

— Нет, не хочу я быть богатым, — заключил Денис, тряхнув головой, — стыдно как-то быть богатым.

— А кем же ты хочешь быть?

— Не знаю... Лоцманом бы хорошо... Или вот книги... книги я люблю.

— Книжки, Денис, — книжками, а от Волги, брат, отрываться не надо. Это — кровь наша и плоть наша, — сурово сказал дед Северьян, — лоцманского в тебе больше. Стезю свою человек соблюдать должен.

С крыльца сбежал Ананий Северьяныч, остановился, почесал спину.

— Дениска! Ты долго тут прохлаждаться будешь? А кто за смолой поедет в слободу? Смолить лодку-то будем, аль нет? Забирай весла и поезжай сжим моментом...

— Ох, я и забыл! — спохватился Денис и пошел в дом отнести книгу.

Ананий Северьяныч посмотрел ему вслед и покосился на деда.

— Вы, папаша, стало-быть с конца на конец, сами в раздумьи ходите и внука к безделью приучаете.

— Не указуй мне, Ананий, не указуй... — тихо попросил дед Северьян и отвернулся от сына.

Ананий Северьяныч постоял, подумал, достал из-под рундука ящик с инструментом и заковылял к погребу починять крышу.

XII

Гриша Банный, пропадавший где-то со второго дня праздника, снова вернулся в Отважное. Узнав об этом, следователь Макаров решил немедленно допросить его еще раз. Он проверил показания сапожника Ялика: действительно, из пивной Гриша отлучался как-раз в часы убийства и, таким образом, его алиби оставалось темным пятном в деле. Макаров редко вызывал подсудимых к себе, он любил посещать их на дому, чтобы входить непосредственно в круг их обстановки, интересов и знакомств.

Моросил дождь. Поскальзываясь на мокрой глине тропинки, шедшей с горы к колосовской бане, Макаров судорожно хватался за портфель, боясь, что уронит его в грязь. Старая, прогнившая и покрытая зеленым мхом бревенчатая баня тонула в кустах густой бузины. Из досок крыши, почерневших и проломленных в нескольких местах, торчала осока. В пятидесяти шагах от бани тихо шелестела прибрежным гравием сумрачная Волга. По мутному оконцу бежали черные мокрицы. На покосившейся некрашенной двери висел тяжелый замок — баню топили только по субботам.

Словно уродливый гриб, прилип к ее восточной стене куток, в котором жил Гриша Банный. Куток этот был сооружен из самого разнообразного материала: из досок, бревнышек, кирпичей, камней, кровельного железа...

Макаров толкнул шаткую дверцу и попал прямо в каморку, потрясенный ударившим в нос запахом прели, сырости и тухлой рыбы.

Гриша сидел на полу, окруженный фиолетовыми трупиками рыб и огромным косарем отрубал им головы... Тараканы, тихо наблюдавшие со стен сию немудреную экзекуцию, при

входе Макарова шарахнулись в свои убежища, сталкивая второпях друг друга на пол. Гриша, держа за хвост леща средней величины, занес было косарь, чтобы свершить очередную казнь, но, заметив носки хромовых сапог, появившихся в поле его зрения, вскочил, испуганно вращая белесыми глазами.

— Чем это вы занимаетесь? — спросил следователь, садясь на единственную колченовую табуретку и все еще никак не придя в себя от охватившего его головокружения, немедленно после того, как он переступил порог кутка.

— А вот рыбку... к общему знаменателю привожу-с... лишая ее, так-сказать, органов мышления, непригодных в настоящий момент к употреблению в пищу, ибо головки их разложением одержимы-с... Чем могу служить?

Следователь, обращаясь почти ко всем на «ты», Грише почему-то говорил «вы». Как-то язык у него не поворачивался сказать Грише «ты».

— Есть у меня к вам еще несколько дополнительных вопросиков, касающихся убийства Мустафы Ахтырова. Садитесь. Что вы стоите?

Гриша выронил косарь и медленно опустился на край досчатой койки, покрытой рваным одеялом. Кончики тонких пальцев мелко задрожали.

— Чем могу-с... пролепетал он.

— Да ничего особенного, — спокойно сказал следователь, косясь на гришины пальцы, — вот есть тут непонятный моментик... Значит, с берега вы пошли прямо в слободскую пивную. Так?

— Да... в пивную, того-с...

— Жигулевского пива выпить? — ободряюще улыбнулся следователь.

— Жигулевского пива-с...

— Так. И все время, до пяти часов вечера, вы сидели в пивной?

— Как я уже имел удовольствие вам докладывать на нашей первой мирной беседе... до вечера, то-есть, до пяти часов, я именно там пребывал-с.

— И никуда не уходили?

Гриша смутился, густо покраснел и через силу выдавил:

— Никуда-с.

— Никуда? — возмутился Макаров.

— Пожалуй — никуда.

— Лжете! И лжете неумело, потому что краснеете. Вот я вам сейчас прочту показания вашего собутыльника, сапожника Якова Меджитова.

Следователь порылся в портфеле, достал показания Ялика и начал читать:

— ...посидев немного и выпив кружку пива, Григорий Банный вдруг вскочил, куда-то ушел и вернулся только через час...

— Оптический обман... — бледный, как новина, прошептал Гриша.

— «...он был какой-то не в себе; на лбу у него была свежая ссадина...» Правильны эти показания или нет? Как по вашему?

— Да... правильны... — чуть слышно проговорил Гриша.

Следователь даже вспотел от удовольствия: все становилось ясным.

— Где вы были?

Гриша молчал.

— Я вас спрашиваю, где вы были?

— К Аксинье Тимофеевне ходил...

— снова краснея ответил Гриша.

— К какой это Аксинье Тимофеевне? — бешено крикнул следователь, предчувствуя катастрофу.

— Ее люди по глупости своей, свойственной вообще двуногим, называют Аксюшкой-дурочкой... И напрасно, ибо она далеко не глупый человек-с.

— А что вы у нее делали? — багровея, закричал еще пуще Макаров.

— То-есть, как это... что? — скромно потупив глаза на леща, смутился Гриша.

— Да! Что? Что вы там делали, я вас спрашиваю?

— По интимным делам-с...

— По каким таким интимным делам?

— Предложеннице я ей делал, с вашего позволения, весьма интимного свойства. Замысел этот, доложу я вам, созрел у меня еще на Пасхе... И первое наступление в этом направлении я повел весной, в лодке, когда мы ехали вдвоем с Аксиньей Тимофеев-

ной через Волгу, и даже попытался, к моему стыду, тут же, в лодке, провести сие намерение в жизнь путем небольшого усилия с моей стороны-с... Но был жестоко побит кормовым веслом и до самого прибытия в село находился в бессознательном состоянии, лежа на дне лодки, как раздавленный ногою путника червяк-с... Однако, сия первая неудача не остановила меня в моем намерении. В тот печальный день, когда зарубили Мустафу Алимьча, я имел очень приятный разговор с Аксиньей Тимофеевной на берегу. Рассказав ей несколько веселых анекдотов из области физики, знания в которой почерпнуты мною из книги Поморцева М. М. еще в тысяча девятьсот двадцатом году, вызвав, таким образом, улыбку на лице Аксиньи Тимофеевны, я осведомился: не могу ли я прийти к ней в гости. Она ничего не ответила, только легко ударила меня мокрым бельем по лицу-с... Я перевел это движение как душевное кокетство и как знак согласия с ее стороны. Вот почему, выпив кружку пива, я немедленно покинул сапожника Ялика, отправился к Аксинье Тимофеевне и целый час провел не на земле, доложу я вам, а на небе-с... Аксинья Тимофеевна были очень добры и многое позволили мне, о чем из скромности умолчу... Но счастье, доложу я вам, как и все на земле, недолговечно: с полдней пришла их старушка, то-есть, мамаша, и, пробравшись как тать, на сеновал, где мы с Аксиньей Тимофеевной возлежали на ароматном сене, сия старушка попыталась накинуть на меня петлю, заранее изготовленную из вожей и, таким образом, лишить меня возможности двигаться. В случае удачной подобной операции, о дальнейших намерениях старушки не могу сообщить, ибо она мне их не поведала. Но судя по отдельным обещаниям в виде злобных выкриков, как-то: «удавлю поганого соблазнителя честных девушек в хлеву, на глазах у коров...», судя по этому обещанию, ее намерения не предвещали ничего хорошего для меня-с... Движимый исклю-

чительно острым в таких случаях инстинктом самосохранения, я сравнительно ловко ускользнул от брошенной на меня большой петли, удивительно напоминавшей ковбойскую петлю, коей ловят диких мустангов, и прыгнул в длинный и узкий ящик, по которому, как вам известно, спускают сено в хлев. При падении ушиб, замечу я вам, колено и лоб... В глазах произошло светопредставление, как при разрядке Лейденской банки-с... Открыв дверцу, я молниеносно и легко, как белоснежная чайка, выпорхнул в хлев и вступил обеими ногами в нечто коровье, о чем умолчу. Из хлева я пробрался на двор, со двора — на улицу и очень быстро побежал по-за домами назад в пивную, подгоняемый, как кнутом, воспоминаниями о петле для мустангов. В высшей степени огорченный сим печальным недоразумением, происшедшем, доложу я вам, главным образом по вине старушки и ее странного поведения, я пришел в вышепоименованную пивную в состоянии крайней меланхолии, которая, как я теперь понимаю, и показалась подозрительной моему другу сапожнику Ялику-с... И долго еще после этого мучили меня черная меланхолия и кошмарные видения по ночам: мне снились каждую ночь прерии и скачущие ковбои, лица коих удивительно напоминали искаженное гневом лицо старушки-с... Кстати о сновидениях: не приходилось ли вам в жизни наблюдать такую комбинацию: если обыкновенному козлу сказать на ухо перед сном какую-нибудь двусмысленную вольность, то ночью, около двенадцати часов, упомянутый козел громко закричит и в его бляении вы сможете отчетливо услышать именно нецензурную часть вашей двусмыслицы... Вот попробуйте, как-нибудь на досуге, устроить над вашим домашним козлом подобный эксперимент и вы будете вознаграждены чудесными открытиями из области козлиной психологии...

Следовательно безнадежно махнул рукой, крепко выругался и, схватив

портфель, выбежал, как ошпаренный, из кутка.

Гриша Банный пожал худыми плечами, тихо притворил дверь и отрубил косарем голову лещу средней величины.

— Оптический обман, а не человек-с...

XIII

Настя Потапова дала согласие Кириллу Бушуеву выйти за него замуж. Свадьба состоялась в середине июля, после Петрова дня. Единственная церковь, сохранившаяся в округе, находилась в селе Спасском, в пяти километрах от Отважного, но венчаться, несмотря на уговоры родителей, молодые наотрез отказались, — боялись, что засмеют товарищи и подруги. Брак был заключен гражданским порядком в сельсовете. Но встречали их из сельсовета все-таки с иконой, которую держал отец Насти, Илья Ильич, глубоко и искренне верующий в Бога старик.

День выдался солнечный, но не жаркий, с ветерком. Свадьбу справляли в доме Потаповых. Поначалу думали справлять у Бушуевых, но, подсчитав гостей, которых набралось около тридцати человек, решили, что в бушуевском доме места на всех не хватит. Денег наскребли достаточно. Дали и Бушуевы, дали и Потаповы. Дал пятьсот рублей и дед Северьян.

Из сельсовета молодые ехали на тарантасе, запряженном парой жеребцов и взятом напрокат у председателя колхоза соседней деревни. За кучера был сам дружка — закадычный друг жениха Мотик Чалкин. Он лихо подъехал к потаповскому дому, врезался на полном скаку в пеструю, разряженную толпу гостей, ожидавших молодых, круто осадил, прыжком соскочил с козел, небрежно поправил на левом плече вышитое белое полотенце и развязно подал руку невесте.

— Принимай молодых! — закричал он. — Народ р-разойдись!.. Дай законносочетавшимся в дом пройтись!.. Денис, убери грабли с дороги! Кой дурак их тут поставил?

— Не больно законный брак-от, не больно законный! — качала головой тетка Таисия, стоявшая в толпе гостей. — Без Божьего благословения законного брака быть не может.

Молодые прошли в дом. Высокий и сутулый Илья Ильич благословил их, блеснул слезой, посетовал, что нет жены, которая посмотрела бы на свадьбу дочери, порадовалась бы вместе с ним, — схоронил он жену три года назад. Гости стали рассказывать за накрытые столы. Под иконы, в передний угол просторной, но теперь казавшейся тесной горницы, в конце первого стола (всего было два) посадили молодых.

Кирилл блестел шелковой голубой рубахой и подсахаренными волосами. Он был вдвое выше своей невесты, маленькой, белобрысенькой, бледненькой и плохо понимавшей свою роль девушки. Она все время молчала, тупо и невесело поглядывала на оживленных гостей, и с нетерпением видимо, ожидала окончания нерадующей ее церемонии.

Но дело только начиналось.

— Ну-к, что ж, поздравим, стало быть с конца на конец, молодых! — крикнул Ананий Северьяныч.

Держа в руке маленький стаканчик, он подошел к сыну, крепко расцеловал его, вытер рукавом рот и поцеловал невесту. От охватившего его радостного чувства он хотел было почесать спину и закинул уже руку через плечо, но быстро отдернул ее назад — неудобным показалось чесаться на свадьбе. За ним потянулись целоваться с молодыми Илья Ильич, Ульяновна, родня, гости...

Выпили все дружно, с побрякиваниями, со смаком. Ананий Северьяныч за всю свадьбу только и выпил этот первый маленький стаканчик, больше, несмотря на уговоры гостей, не пил, — знал, что нельзя, иначе запьет мучительным и долгим запоем, а запивать летом не хотел. Зато Илья Ильич напился быстро и основательно.

— Ананий! — кричал он в ухо Бушуеву. — Теперь родня мы с тобой... Кто знал, а?

Кирилл облизывал губы и глупо ухмылялся.

Дед Северьян сидел возле двери на конце стола рядом с Денисом, не пил, но усиленно подливал водку в стакан внука.

— А ну, бурлак, посмотрю я, какой ты крепости на винцо. Есть ли в тебе бушуевская закваска.

— Дедушка, сам-то ты не пьешь... А меня учишь...

— Я старик, а ты молодой.

Пил Денис так много первый раз в жизни и с великим удовольствием. Щеки его заливал румянец, карие глаза блестели. В голове шумело. На сердце было радостно и легко, гости казались хорошими, близкими, радужными. Он хотел что-нибудь сочинить, частушку какую-нибудь и пропеть ее вслух, но голова плохо соображала, и придумать он ничего не мог, как ни бился.

Мишка Потапов поминутно подходил к сестре, дышал ей в лицо водочным перегаром и целовал в губы.

— Отгуляла сестрица... Теперь — мужняя жена!

Хватал гармошку, неистово растягивал красные меха и жарил «барыню». Мотик Чалкин, выбрасывая кривые ноги, плясал в присядку и напевал:

Ой, барыня, барыня,
Расскажи, сударыня,
Как в двадцатом барыня
Утикла сударыня?...

— Мотик! Ты тут революцию не разводи! — прикрикнул на него Ананий Северьяныч. — Пой, стало быть с конца на конец, что душе приятно.

Мишка Потапов оборвал «барыню», сделал несколько переборов, и басом, покрывая шум голосов и звон стакана-стеж окон:

... Эх, вниз по В-о-олге реке,
С Нижня-Но-о-вгорода-а

И подхватили дружно гости, и полилась, за душу хватающая, песня, широко и могуче, как внешний поток, выливаясь на улицу из раскрытых чащеж окон:

... Снаряжен стру-у-ужок
Как стрела-а лети-ит

Пели все: и молодые, и старые, и мужчины и женщины: пели, переживая песню, закрывая глаза и раздувая боздри.

... Как на том на стружке,
На снаря-а-аженом,
Удалы-ых гребцов
Сорок два-а сидят...

Под окнами, цепляясь за палисадник, слушали мальчишки. Взрослые останавливались, коротко бросали:

— Хорошо поют.

— Поют черти... Не смотри, что пьяные.

Дед Северьян подливал внуку то водку, то пиво, то смородиновую настойку.

— А ну-ка, бурлак,хвати вот этого...

— Д-давай, дедушка!... Мне в-все нипочем... — лепетал заплетающимся языком Денис. — Мне в-все равно... Я в-все могу пить... Почему это у тебя борода шире стала? А Кирюшка пополам колетса и опять с-складывается... П-почему это? А? дедушка?

— А это Кирюшка перед женитьбой воздуху набирается.

— А з-зачем он воздуху набирается?

— Чтoб силы прибавилось.

— А зачем, чтoб силы прибавилось?

Дед улыбнулся изуродованной губой и предложил:

— А ну-ка, Дениска, встань да пройди по одной половице.

— П-пройтись?

— Попробуй.

Денис с невероятными усилиями встал, но голова так закружилась, так завертелось все вокруг: и комната, и столы, и гости, что он судорожно схватился за плечо деда, чувствуя в то же время страшные спазмы в животе. Дед Северьян схватил его в охапку и быстро вынес на крыльцо. В ту же секунду изо рта и носа Дениса хлынуло что-то жидкое, противное, захватывающее дыхание. Придерживая голову внука за копну белокурых волос, дед Северьян старался перегнуть его тело через перила, чтобы не запачкать крыльцо. Выбравшая вслед за ними Ульяновна выбросилась на старика:

— Ой, дурень! Ой, старый леший! Гляди-ко-сь, что сотворил с мальчонкой... Креста на тебе нет, Северьян Михалыч!

— Ничего, Ульяновна... Поболее маненько, да опять здоровый будет, а вот вино закается пить надолго.

— Дедушка... помру я... обязательно помру... — стонал Денис.

— Не помрешь, даст Бог, — утешал его дед, — вот немного полегаешь, опять пойдем водочку пить...

Денис рванулся всем телом из рук старика.

— Не пойду!

— Пойдешь.

— Не пойду! Лучше убей меня здесь...

— Да не мучь ты его, Христа ради! — умоляла сердобольная Ульяновна, — отведи в избу, да спать положи.

— Зачем спать? Погулять еще надо, — советовал дед.

— Ой, дедушка... ой, миленький. отведи ты меня домой... — молил Денис.

Дед Северьян по-молодому весело блеснул глазами, обнял внука за плечи и повел домой к великому утешению матери. По дороге он тихо спрашивал у Дениса:

— Будешь еще пить?

— Нет.

— То-то... Вино бурлак, наша русская смерть. Может, брат, вся моя жись другой бы стежкой пошла, если бы не эта погибель...

Денис крепко прижался к старику, ему было тепло и уютно. Вечерело. На небе зажигались первые бледные звезды.

Свадьба затянулась далеко за полночь. Обошлось все по-хорошему: без скандалов и драк. Ночевали молодые в потаповском доме, в чулане, куда была поставлена двухспальная кровать с высокой пирамидой из белоснежных подушек.

Ахтыровых на свадьбе не было, — не рискнули пригласить, боясь свести их с дедом Северьяном за хмельным столом. А раньше дружба была крепкая.

XIV

Семейная жизнь Алима не налаживалась. Казалось бы, что после смерти Мустафы общее горе должно было сблизить мужа и жену хоть на некоторое время. Но вышло наоборот: Манефа стала еще больше ненавидеть мужа. Все в нем внушало ей брезгливость и отвращение: и побритая голова, и хромовые сапоги, и манера ходить, садиться, есть... Алим страдал, — страдал тяжело, болезненно. Манефа пробовала иногда пересилить неприязненное чувство к мужу, старалась не видеть в нем того, что ее

раздражало, старалась, хотя бы внешне, быть внимательной к нему, но это длилось недолго, до первой вспышки сердца, когда прорывалось настоящее, искреннее, злобное, неудовлетворенное — и все снова пило к чорту. Не делю-две Манефа видеть не могла мужа. Чуткий Алим в этот период вражды избегал попадаться жене на глаза, не настаивал на своем супружеском праве, терпеливо, сцепив зубы, дожидался своего часа, чтобы со всей страстью измученного человека жадно съесть те крохи иллюзорного счастья, которые иногда бросала ему жена.

Алим знал, что началом конца будет день, когда Манефа изменит ему. Об этом он старался не думать, был не в силах объять всего ужаса, который представлялся ему в этом случае. Но Манефа ему не изменяла. Твердо, с детства, не без участия старообрядки-матери, она знала, что измена мужу непростительна и страшна: это — путь, по которому женщина никогда не придет к счастью. В минуты диких спен с мужем она иногда обещала:

— Подожди, брошу тебя и уйду к другому!

Говорила она это только затем, чтобы большей уколоть Алима. «Другого» не было и уходить было не к кому.

— Тогда убью! — предупреждалон.

— И это хорошо: сразу отмучаемся, и ты и я.

Алим подходил к жене, губы его дрожали, в черных глазах — боль и бесконечная нежность.

— Маня, милая, пойми: люблю я тебя, люблю... Жить хочу с тобой... Как мы можем жить! Как хорошо мы можем жить!... Ну, не гони ты меня... не гони, Маня... Что я тебе сделал? За что ты меня ненавидишь? Маня, милая...

Манефа пускала в ход самый сильный козырь, самую острую и жгучую стрелу:

— Я дитя хочу.

Это была неправда. От Алима она даже и ребенка не хотела иметь.

— Так давай возьмем... на воспитание... — раздувая ноздри и тяжело дыша, предлагал Алим.

— Не хочу чужого... Мне свой нужен... Мой! Слышишь: мой, родной, кровный, а не чужой подзаборник!

— Маня...

— Уйди!

— Маня...

— Уйди, говорю... У-у, дьявол бесплодный! — и, сверкнув глазами, она быстро уходила в кухню, набросив крючок на дверь.

Алим сжимал бритую голову короткими пухлыми пальцами и, подкошенный горем и бессильной яростью, валялся на постель, закусывая белыми зубами угол подушки...

Жизнь превращалась в ад.

XV

Наступил покос. Земли у отважнцев только и было, что заливные луга пониже села. Да, собственно говоря, в земле они и не нуждались, ибо ни они, ни их деды, ни их прадеды земледелием не занимались. Корма требовалось не много — держали только коров, по одной на семью, да некоторые — овец, и заливные луга давали нужный запас сена с лихвой на целый год.

Заря едва занималась, когда отважинцы почти всем вышли на покос. Вышел и архитектор Белецкий, находивший в косьбе огромное удовольствие и никогда не пропускавший случая махнуть вместе с народом косой.

Поеживаясь от утренней свежести, Денис шел рядом с Белецким и подтрунивал над Годуном:

— А ты, Васька, зря идешь. Ведь два раза махнешь косой и дух вон. Знаю я тебя.

— А сам-то ты в прошлом году и до кладбища не дошел, разов пять приседал. Эх, как тебя люди-то обогнали! Стыдобушка! — переходил в контр-атаку Васька.

— Искусство-с своего рода... — вмешивался в разговор уныло шагавший сзади Гриша Банный. — Я к примеру, косец плохой. Размаху нужно нет у меня, а ежели размахнусь, то в случае необходимости остановиться не могу... Так, в двадцатом году, вследствие этой моей странности, я перекосил пополам с небольшую индюшку, подвернувшуюся под руку, за что и был основательно наказан.

На лугах косцы быстро разобрались и встали по местам. Белецкий с наслаждением вдыхал холодный, как мята, утренний воздух и весело поглядывал по сторонам. Кругом стояла высокая, сочная трава вперемежку с яркими цветами. Пахло ромашкой и диким луком. Луга окаймлял с трех сторон лесок из осин, березок и ольхи. С четвертой стороны луг спу-

скался к Волге. На краю леска виднелось кладбище, там росли высокие старые березы, в тени которых белели кресты и надмогильные камни.

Косьба началась. Первым пошел дед Северьян. Почти не сгибаясь, он широкими взмахами, большой косой, специально сделанной по его росту, резал мокрую, сочную траву и ровным рядом укладывал ее. Выждав когда дед Северьян отошел шагов пять-шесть, сразу же за ним пошел Илья Ильич Потапов, за Потаповым — приставщик Ямкин, потом — Ананий Северьяныч, и так, один за другим, косцы двинулись через луг.

Звенели косы. Летели шутки, перебранки и смех. Иногда в общий гул врывался звук бруска, шаркающего по железу — кто-то подтачивал косу.

Денис шел за Манефой. После Троицы они встречались еще несколько раз и всегда при встрече Денису было как-то не по себе, — он чувствовал себя виноватым. Манефа же молча проходила мимо, не глядя на него. На страдную пору она приехала в Отважную помочь матери управиться с косьбой. Денису было неприятно, что косить им пришлось рядом. Вначале Манефа не обращала на него никакого внимания, только изредка оглядывалась, чтобы проверить ровность бровки скошенной травы и тогда заодно бросала равнодушный взгляд на соседа. Но чем ближе подходили к лесу, чем горячее становилась работа, тем все веселее и резворчивее делалась и она. Началось с того, что вдруг она повернулась и задорно бросила:

— Эх, Дениска, отстаешь ты. Это тебе не частушки сочинять на добрых людей... Здесь силу покажи.

И Денис понял, что она простила его. Манефа косила легко и красиво, чуть покачивая круглыми плечами, ровно дыша и полуоткрыв губы. В прищуренных глазах блеснули искорки удовольствия.

— Отстаешь, Денис?

— Нет.

Денис в самом деле не отставал. Поймав нужный ритм, он работал легко, следя только затем, чтобы не ударить косу о камни. При спуске с небольшой горки он удвоил темп и быстро догнал Манефу.

— Смотри, чертенок... здоровый какой! — тихо и восхищенно сказала Манефа, окинув взглядом гибкую фигуру Дениса.

За Денисом шел Годун, за Годуном — Белецкий, за Белецким — спотыкающийся Гриша Банный. Он часто останавливался, с недоумением оглядывал косу и качал дынеобразной головой.

— Тупая-с... непомерно тупая-с...

— А вы ее, Григорий Григорьевич, подточите! — советовал Белецкий.

Гриша уныло шаркал брусом по косе, поплевав на руки, снова принимался за работу, но через несколько минут останавливался и жаловался:

— Харч плохой. Откуда же сил взять?

— Так вы тогда передохните, — предлагал, не останавливаясь, разгоряченный и вспотевший архитектор.

— Пожалуй-с...

Солнце подымалось все выше и выше. Работать становилось трудней. Окапывая бугорок, Манефа не рассчитала змаха и шаркнула себя острой косой по голой ноге выше щиколотки.

— Ой! — испуганно вскрикнула она, опускаясь на землю.

Денис бросил косу и подбежал к ней.

— Ты чего?

— Ногу... Посмотри, Денис, глубоко?

Денис присел на корточки, посмотрел: рана была большая, ручьем хлестала темная кровь. Манефа сорвала с головы белый платок, трянула по привычке головой, приводя в порядок короткие черные волосы, и протянула платок Денису.

— На, перевяжи...

Она повалилась на спину и закрыла ладонью глаза. Перевязывая полную загорелую ногу, Денис старался не смотреть на круглое с ямочками колено, высунувшееся из-под клетчатой юбки — оно резало глаза и волновало непонятным горячим чувством.

Подошли люди.

— Одна, стало-быть с конца на конец, откосилась... — почесывая спину, спокойно сказал Ананий Северьяныч.

— Идти сможете? — спросил Белецкий.

— Попробую.

Она встала, чуть пошатнувшись, припав на больную ногу, и, улыбнувшись через силу, коротко ответила:

— Смогу.

— Гриша, друг! Проводи-ка ты ее в село, все одно толк от тебя небольшой, — посоветовал Ананий Северьяныч.

— Небольшой-с, Ананий Северьяныч, небольшой, — быстро согласился Гриша, — провожу с моим великим удовольствием. Обязанность каждого сознательного человека помогать другому в несчастьи... Вот если б все государственные деятели преследовали сию благородную цель, то человечество очень бы скоро пришло к всеобщему ликованию...

— Ну, ступайте, ступайте с Богом, — прервал его Ананий Северьяныч, — да идите только до дороги, а там маленько посидите. Спасские мужики за кирпичем на завод поедут, так попросите их подвезти...

Денису очень хотелось пойти с ними, но попросить отца он не решился. Опираясь рукой на худое плечо Гриши, Манефа тихо побрела к лесу, прихрамывая и опустив голову, — видно было, что рана сильно болела и каждый шаг приносил муки.

Часам к десяти, когда солнце стояло уже высоко и спала совсем роса, косцы стали собираться на обед. Из леса прибежали девочки с корзинками, наполненными пахучей лесной малиной. Прибежала вместе с подругами и Финочка Колосова. Денис и Васька решили сделать налет на частную собственность девочек и выработали для этого специальный план, состоявший в том, чтобы заманить неподозревающих ничего собственниц на берег Волги, подальше от глаз косцов, которые могли помешать налету.

— Девчата! — объявил таинственно Васька, — вы видели утопленника, что к лугам прибило?

— Нет! — хором ответили девочки.

— Пойдемте смотреть! — предложил он.

И вся ватага, предводительствуемая Васькой Годуном, с визгом понеслась на берег. Едва только они оказались за горой в кустах орешника, как Васька первый запустил руку в корзинку Маши Ямкиной. Денис, подражая ему, сунул руку в корзинку четырнадцатилетней Сони и крепко сжал пальцами, захватывая в горсть, мягкие сочные ягоды. Обман был тут же обнаружен, и девочки с пискom бросились в отступление.

— Денис! Дурак! Как тебе не стыдно! — возмущенно крикнула Финочка, останавливаясь и загораживая собою заплакавшую Соню.

— Кто дурак? — вскипел сразу, побушевецки, Денис

— Ты, — бледнея, крикнула ему в лицо Финочка.

— Я?! На, вот, тебе! — и Денис пунул ногой финочкину корзинку.

Поломанная корзинка выпала из ее руки и полетела в кусты, красным дождем рассыпались по траве ягоды. Финочка растерянно посмотрела на озорника, заморгала ресницами и, сев на землю, горько заплакала. Заплакала не потому, что ей было жалко ягод, а потому, что обидел ее человек, в долготу которого она долго и твердо верила. Денис стоял перед ней, насупившись и неуклюже расставив ноги.

— Так тебе и надо .. так и надо, — повторял он, не понимая в то же время, почему, собственно говоря, ей «так и надо».

Спрятав лицо в колени, Финочка всхлипывала, вздрагивая худенькими плечиками. Кроме нее и Дениса никого вокруг не было. Тихо перекалились в кустах орешника синицы и мягко шелестели вечно подвижными листьями лиловые осины. Где-то на реке слышался однообразный всплеск весел.

— Зачем ты это сделал, Денис? А?

Денис вдруг остро и больно почувствовал всю нелепость своего поступка, наигранное равнодушие мигом слетело, он опустился на траву рядом с Финочкой и тронул рукой пушистые косы, уложенные в колечко на ее голове. Услышав его прикосновение, она приподняла лицо, блеснула слезинками на длинных ресницах и еле заметно, уголком пухлых губок, улыбнулась.

— Не будешь больше?

— Не буду... Прости меня, Финочка. Ладно? — попросил Денис дрогнувшим голосом, стараясь удерживать навернувшиеся у самого на глаза слезы.

— Ладно... — согласилась девочка, — а корзинку разбил?

Но Денису казалось, что он еще очень мало сделал для того, чтобы его можно было простить, — прощать еще было не за что, требовалось сказать еще что-то, сильное, искреннее, теплое, — и он сказал совсем просто и неожиданно:

— Я тебя очень люблю, Финочка... Очень.

— И я тебя люблю, — опуская глаза, призналась в свою очередь девочка.

Денис подвинулся ближе к ней и

крепко поцеловал в пухлые губки. Девочка вздохнула, посмотрела искоса на Дениса и, стемнительно обвинив его шею тоненькой ручкой, прижалась щекой к его плечу. Не зная, что делать дальше и как выйти из неловкого положения, они, смущенные, помолчали, поцеловались еще раз, и оба разом, уже веселые и счастливые, вскочили на ноги, быстро подобрали рассыпанную малину и бегом пустились в гору, сверкая босыми ногами.

Так впервые познал Денис Бушуев горечь зла и радость добра, и долго, всю жизнь, он часто в минуты раздумья видел перед собой вздрагивающие от рыданий хрупкие плечики и счастливые, сияющие любовью, глаза прощающей его Финочки.

XVI

Еще находясь под сильным впечатлением истории с Финочкой, Денис, спустя несколько дней, лежал в одних трусиках на большом камне и сочинял стихи о любви. Было легко. Было удивительно легко и на душе и легким казалось тело. Он и Финочка знали прекрасную тайну, только двое, и никто в мире не знал больше ее; Денис с сожалением и чувством превосходства поглядывал на других людей...

Важная ворона косолапо ходила по низкой досчатой лаве, пила, забрасывая голову, теплую волжскую воду, косилась на Дениса и на стаи темных мальков, плавающих вокруг лавы.

Денис горел вдохновением. Щеки его пылали, руки мелко тряслись. Писал он быстро, легко, ерзая от удовольствия голым животом по камню.

Карандаш, попадая в ямки, протыкал бумагу. Денис отыскивал место поровнее и снова продолжал строчить. Никогда еще он не писал так складно и гладко. Он думал только о том, что хотел сказать, а слова приходили сами по себе и светились перед ним огненными буквами, он их видел... Если раньше он часто спотыкался на рифме, искал ее, то теперь она мгновенно прилетала, да не одна, а сразу несколько: две, три, десять... Это было совершенно новое для него ощущение. Казалось, что он открыл какие-то большие красивые ворота и вошел в цветущий сад, где все сверкало на ослепительном солнце, и кто-то играл на чудеснейших мелодичных инструментах, звуки которых плавно и мягко сливались с его строчками в одно

целое, неразрывное... Это были весна его тела и весна его духа, пришедшие одновременно, гармонически, и слившиеся воедино в весну его жизни... Человек начинал свой деятельный, скорбный, земной путь.

Солнце жгло ему спину, плечи, руки; внезапно он почувствовал сильное головокружение и перед глазами заплывали разноцветные искры. Денис свесил голову с камня и окунул ее в воду. Сразу стало легче. Он хотел продолжать работу, но прежнего вдохновенного состояния уже не было, точно он смыл его водой. Тогда он сунул исписанные листки под одежду, лежащую тут же на камне, и прыгнул в реку, взметнув снопы серебристых брызг.

С горы сошел Белецкий с бамбуковыми удочками на плече, в серых брюках, засученных до колен. Шляпа лихо была сдвинута на затылок, сквозь белую легкую сетку чернели на груди смоляные волосы. Впереди отца, припрыгивая, с ведерком в руке бежала Варя.

— Как вода, Денис? Теплая? — весело крикнул Белецкий.

— Кипяток! Лезьте и вы за компанию! — предложил Денис, подплывая снова к камню.

— Папа! Можно и мне? — попросила Варя.

— Ну, полезай. Только поскорее. Мигом. Пока я удочки разбираю.

Девочка быстро сбросила через голову платье, осталась в голубеньком купальном костюме и храбро зашла в воду.

— Денис, можете вы меня научить нырять с камня? — морща носик от яркого солнца и повязывая голову косынкой, спросила она.

— А почему же — нет? Дело простое: раз два и готово! Идите сюда.

— Смотри, Варька, треснешься головой о корягу — предупредил отец.

— Я-то?

— Да, ты-то...

— Да тут коряг нет. — сообщил Денис, — тут очень глубоко.

Варя забралась к Денису на камень, они сели рядом, и Денис начал разъяснять.

— Лететь надо так: не очень круто и не очень отлого. Если очень круто, то тогда можно треснуться о дно, а если очень отлого, то живот отшибешь. Я один раз так-то прыгнул с приста-

ни, так целых два дня ходил, как рак ошпаренный...

— Денис! — перебил его Белецкий, надевая червя на крючок, — а ты Шиллера прочитал?

— Еще не все, Николай Иванович... Тут мне две других книжки подвернулись, так я их сначала прочитал... Потом еще свадьба да покос помешали... После свадьбы я два дня болел.

— Что так?

— П-простудился... Так, вы поняли, Варя, как надо лететь? Теперь смотрите.

Он встал во весь рост, сдвинул ногой в сторону кучу своей одежды, чтобы попросторней было, вытянулся, легко оттолкнулся и плавно полетел в воду. Варя бросился в глаза белый листик бумаги, высунувшийся из-под денисовой одежды, и, подстрекаемая любопытством, она немедленно взяла его, забыв про учителя плавания.

— «О моей любви к тебе»... — вслух прочитала она заглавие стихотворения. — Папа! Денис стихи про любовь пишет!

— Что такое?

— Честное слово!...

Вынырнувший из воды Денис заметил, к своему ужасу, стихи в руках Вари и сердито закричал:

— Варя! Положите на место!

Но девочка, заливаясь смехом, продолжала громко читать, не обращая внимания на автора.

— Положите, я вам говорю, на место! Это не честно!

— Варя! — строго крикнул отец. — Немедленно положи стихи. Что за мерзость!

Девочка сразу сделалась серьезной, сунула бумагу под одежду и, с обиженной физиономией, сползла на живот с камня.

Ах, как жарко пекло солнце! Как упоительно сверкало бирюзовое небо, как белоснежны были чайки, плавно носившиеся над тихой рекой. Но ни Денис, ни Варя не замечали и не чувствовали больше этой радости земли и неба. Они злобно, искоса поглядывали друг на друга. Денис вылез на берег и молча стал одеваться. Как глупо и нелепо нарушили его светлую тайну, как будто бросили тяжелый камень в тихое лесное озеро, доселе никогда не видевшее возле себя людей. Это был первый камень, брошенный в весну его жизни.

— Денис, кому же стихи предназначаются? — язвительно спросила Варя.

Денис хотел ответить что-то дерзкое, грубое, но вдруг он ясно себе представил Финочку, с ее добрыми глазами, улышал ее голос, и вся его злость сразу прошла. Ах, ведь никто ничего в сущности не понимает в том, что в его душе происходит. Ведь тайна-то открыта в ничтожной ее части, а весь золотой клад этой тайны спрятан глубоко в нем, и клад этот невидим и неосязаем для посторонних. Так кто же может отнять его? И Денис тихо и беззлобно рассмеялся.

— Кому предназначаются? — почти весело переспросил он. — Никому. Так... для себя... Мне.

— Во всяком случае, я думаю, что не тебе, Варвара, — приподнимая удочку, предположил Белецкий, заключая этими словами союз с Денисом. — Вылезай-ка, Варя.

Девочка, надув губки, вышла из воды и набросила на тело платье. Вся ее фигура выражала полное пренебрежение к поэту и независимость. Мысленно она признавалась себе, что очень бы хотела получить стихи даже и от Дениса, но гордость не позволяла ей сделать хоть один шаг в этом направлении. Она презрительно бросила;

— Вот еще... очень мне нужно от всякого... мужика стихи получать.

Белецкий бросил удочки и вскочил на ноги.

— Варвара! — загремел он и грозно подошел к дочери. — А ну-ка, повтори что ты сказала!

Девочка не шелохнулась, опустила голову.

Молчание.

— Повтори, я говорю!

Длинные ресницы дрогнули, рука затеребила на груди пуговицу. Ни звука.

— Откуда это у тебя, я не понимаю? — понижая голос, удивился Белецкий. — Разве от меня ты что-нибудь подобное слышала? Или от мамы? И потом — это упрямство. Уж если ты сделала бестактность, то, по крайней мере, извинись, если ты порядочный человек. А ну-ка, сию секунду извинись!

Девочка продолжала молчать.

— Извинись, Варя... — совсем тихо попросил Белецкий, чувствуя, что дочь его победила и что он делает

ошибку, переходя на просящий, почти заискивающий тон.

На девочку же, к его радости, это подействовало, ее столбняк прошел, она подняла голову, повернулась к Денису, раскрыла было рот, чтобы извиниться, но Дениса уже не было. Там, где он стоял, качались только потревоженные кусты тальника.

— Денис! Зачем ты ушел? Иди сюда! — закричала Варя. — Денис!

Но кругом было тихо. Где-то далеко слышались голоса купающихся детей.

— Нехорошо, Варя. стыдно, — сокрушенно проговорил Белецкий и, вздыхая, пошел к удочкам.

Вечером Денис подстерег Финочку в прогулке, наспех поцеловал ее в щеку и, сунув ей в руку листки со стихами, умчался домой, унося с собой то же чувство счастья, что и после покоса.

XVII

Из Москвы приехал погостить на неделю к Белецким обожатель Жени-молодой кинорежиссер Ивашев. Высокий, сухощавый, со значительной лысинкой, в белом теннисном костюме — он целый день бродил по окрестностям Отважного и щелкал лейкой. Иногда садился в лодку и переезжал на другую сторону Волги.

В одну из таких прогулок, он встретил на выгоне возле Татарской слободы женщину-крестьянку, поразившую его дикой русской красотой. Она шла по пыльной дороге с завязанным белой тряпкой подойником на согнутой руке. Спокойная, уверенная и твердая походка придавала ей ту своеобразную грацию, которая есть только у простых русских женщин. Нигде в мире, кроме глухих русских деревень и сел, нельзя увидеть такую, почти мужскую, но в то же время полную женственности в каждом движении, походку. Это какая-то сумма чувств, выраженная в движениях: тут и гордость, и страдание, и уверенность, и стыдливость...

Ивашев, прислонясь к березовым жердочкам выгона, пропустил незнакомку мимо себя, посмотрел ей вслед, и, охваченный, каким-то странным любопытством, не выдержал — окликнул:

— Одну минутку!

Женщина повернулась, прищурила

на него серые, с хитрецей, глаза, и улыбнулась по-женски, беспричинно, чуть кокетливо.

Это была Манефа.

Ивашев подошел ближе к ней.

— Простите... не разрешите ли глоток молока... Так хочется пить.

— А пейте на здоровье, — мягким грудным голосом ответила Манефа, — только парное, не больно вкусное.

Она с готовностью поставила на землю подойник, быстро развязала тряпку и отступила немного в сторону, поправляя выбившиеся из-под платка черные волосы. Ивашев совсем не хотелось пить, но надо было выдерживать роль до конца и он, встав на колени, припал губами к жестяному подойнику с теплым, еще пенящимся молоком.

— Спасибо. Ух, как вкусно! Можно на память сфотографировать вас?

Она застенчиво рассмеялась.

— Нет, не надо... Я такая растрепанная... так не ссымаются...

— Это ничего, это как-раз и хорошо, — говорил Ивашев, суетливо переводя катушку с лентой. Он поставил на-глаз метраж и щелкнул два раза затвором.

— Все. Простите, что я вас задержал.

— Ничего, — ответила уже опять с некоторым кокетством Манефа и подняла с земли подойник. — Ну, я пошла. Прощайте.

— Всего хорошего. До свиданья!

Ивашев пошел к лодке и несколько раз оборачивался, чтобы посмотреть на удаляющуюся фигуру Манефы.

— Какая женщина! Какая женщина! — восхищенно сказал он вслух и покачал головой.

Вечером, сидя за чаем на веранде Белецких, он вдруг вспомнил:

— Да! Забыл рассказать. Сегодня около Татарской слободы я встретил женщину, крестьянка очевидно Поразительной красоты!

Белецкий подносил ко рту в этот момент белый колобок, но, услышав последние слова Ивашева, положил колобок на стол и быстро спросил:

— Ну? Кто же это такая?

Анна Сергеевна, заметив излишнюю торопливость в вопросе мужа, улыбнулась, закусил губу.

— Не знаю. Я не спросил ее имени, растерялся.

Все рассмеялись.

— Блондинка, брюнетка? — поднямая голову от книги, поинтересовалась Женя, сидевшая в углу веранды на камышовом кресле.

— Брюнетка.

Все наперебой, включая и Варю, стали припоминать небольшой круг знакомых женщин в Татарской слободе, но как-то никто не вспомнил о Манефе, которую почти не знали, и разговор на эту тему прекратился. Анна Сергеевна была уверена, что уж и не такой поразительной красоты была встречаемая Ивашевым женщина, и сообщить о ней Ивашев нашел нужным только для того, чтобы поинтриговать Женю.

После чая Белецкий и Ивашев вышли в сад и сели на лавочку под яблоней. На мягком черно-синем небе, какое бывает только в августе, сверкали крупные звезды, из-за леса поднимался алюминиевый диск луны. Звенели в траве кузнечики, хрипло кричали под горой коростели.

— Над чем же вы сейчас работаете, Николай Иваныч? — спросил Ивашев, поправляя пенсне.

— Да все над «Дворцом пионеров». Надоел мне этот проект до чортиков. А вы?

— Закончил вместе с писателем Алексеем Родиныным литературный сценарий «Воскресения».

— По Толстому?

— Да, инсценировка.

— Что-то вы за классиков взялись.

Второй фильм делаете и все инсценировки. То Гоголь, то Толстой. На классиках дорогу себе не пробьете, Алексей Алексеевич. Как бы то ни было, а инсценировка — произведение не оригинальное. Ну, предположим, сделаете хорошо. Ну, похвалят вас, как за «Мертвые души» похвалили, а продвинуть — не продвинут, и ордена не дадут, — добавил Белецкий с легкой усмешкой. — Вы бы взяли какого-нибудь советского автора, того же, скажем, Алексея Родин, вместе с ним махнули бы сценарий на современную героическую тему, или на тему гражданской войны, да и поставили бы фильм... ну, вы, понимаете, одним словом, какой фильм. И все пути открыты! Сколько, например, дадут вам денег на постановку «Воскресения»?

— Тысяч восемьсот, может-быть...

— А на такой фильм, о котором я говорю, не поскупятся — миллион-

чика два отвалит. Тогда таких декораций настройте, что зритель только ахнет! Что ни кадр — новая декорация. На массовые сцены сражений — все силы московского военного округа вам дадут. Пушки надо — и пушки дадут. Самолеты? Сто эскадрилий запустят в поднебесье. Только делай. Делай, что требуется, делай то, что служит укреплению власти, что нужно партии и правительству. О чистом искусстве забудьте... Эх, вы, Алексей Алексеевич, шляпа, простите. Не за то беретесь, что сейчас надо.

Все это было сказано Белецким таким тоном, что Ивашев никак не мог понять: серьезно говорит его собеседник или иронизирует. Они были достаточно хорошо знакомы, чтобы доверять друг другу свои взгляды, не маскируясь друг перед другом.

— Это вы мне серьезно советуете? — недоверчиво спросил Ивашев. — Вы, человек с бездной вкуса и настоящий художник?

— Как хотите понимайте, — уклончиво, с улыбкой, ответил Белецкий.

И подумав, уже без улыбки добавил:

— А если хотите более подробной расшифровки моей мысли, то послушайте следующее. Я говорю только о том, что надо улавливать темп, дух и запросы нашей эпохи. Нельзя жить вне времени и пространства. Все иллюзии о свободном искусстве пока надо оставить. Надо пытаться делать настоящие произведения хотя бы из того скудного материала, который нам предоставляется. Мы, русские, от природы талантливые люди; у нас есть сотни имен, которым нет равных в мире, и творили эти люди, зачастую, в положении немного лучше, а иногда и худшем, чем мы... Я видел в прошлом году в керженских лесах одного резчика по дереву. Потрясающие работы! А живет чорт знает как! А — режет. Богатых и бедных в нашей стране не предполагается, хотя есть на самом деле и те и другие. Вернее — все нищие, одни материально, другие — духовно. Нас с вами раздели духовно, но в замен этого дали некоторое преимущество в материальном положении. Как это ни мерзко, но мы с вами представители новой советской аристократии. Я говорю «мы», имея в виду не только меня и вас, а всех более или менее

заметных писателей, поэтов, композиторов, архитекторов, артистов, режиссеров, художников, скульпторов — словом тех, кто имеет какое-то отношение к искусству, а искусство, в переводе на большевистский язык — означает пропаганду. Следовательно, мы, эта новая аристократия, мы один из главных винтиков большевистской машины. Мы, если хотите, оформляем в красивые рамки большевистское мировоззрение. Другой вопрос, которого я не хочу сейчас касаться — преступление это с нашей стороны или нет. Я думаю: и мне и вам это ясно. Правительство великолепно понимает, какую гигантскую роль мы играем и, раздевая нас духовно, всячески поддерживает материально. Посмотрите: крутом нищета. Украина вымирает от голода. Мы же с вами пьем чай с вареньем, на столе у нас белый хлеб, масло, сыр, пирожки... Мы имеем дачи и собственные автомобили. И заметьте, мы, ведь, беспартийные. Теперь самый сложный вопрос: как и что мы должны творить? Я отвечаю на него просто: творить надо хорошо. Шопенгауер делит все произведения на две категории: остающиеся и текущие. Так надо стремиться всеми силами к тому, чтобы наши произведения принадлежали к первой категории. Чтобы со временем наши потомки могли помянуть нас добрым словом за помощь, которую мы им окажем в изучении истории и нашей невеселой эпохи в частности.

— Такие произведения не минуют сначала архива на Лубянской площади, — вставил Ивашев, — а их авторы — удовольствия созерцать Северное сияние.

— И никогда никто нас не обвинит, — продолжал Белецкий, как бы не заметив слов Ивашева, — за то, что мы оставим хорошие произведения. Вот, например, проектирую я этот «Дворец пионеров». Я хочу, чтоб он был великолепен, я прилагаю все усилия к этому и мне совершенно безразлично, что будет в нем: пионеры ли, богадельня ли, или похоронное бюро на всю московскую область. Мне глубоко наплевать на все это. Я знаю одно, что пройдут года, а дом, выстроенный по моему проекту, будет стоять и перестоят, может быть, не одну эпоху. Ведь эпохи, они, знаете, иногда с головокружительной быстротой меняются. А домик-то останется

и будет украшать кусочек отчизны. Вот, друг мой, что я хотел вам сказать.

Он чиркнул спичку и закурил. Ивашев молчал, чертя палочкой по земле. Выпрямился, сверкнул стеклами пенсне.

— В ваших рассуждениях, Николай Иванович, есть, однако, противоречия.

— А ну-ка?

— Во-первых, узко: одно дело архитектура, другое дело — искусство кино. Вещи разные. То, что вы можете делать в архитектуре, невозможно в кино. Во-вторых, уже принципиально, нельзя подменять свободу творчества нашей талантливостью. Это тоже вещи разные. Советую мне стать на путь этой замены, вы в то же время говорите о какой-то возможной вечности наших творений, или, по крайней мере, многолетней живучести, забывая, что переживают художника только правдивые произведения.

— Совершенно справедливо.

— Следовательно...

— Следовательно и стремитесь к правде, к объективности. Я говорю — стремитесь, ибо никто вам не разрешит и на пол-вершка приблизиться к абсолютной правде. Бывает, что художник вкладывает большую идею в произведение, а оно оказывается хорошо только своими лирическими отступлениями... Они-то и живут, ими-то мы и зачитываемся, а большая-то идея оказывается Волгой, впадающей в Каспийское море... Так-то, вот, дорогой Алексей Алексеевич... Тихо как. А на луне даже горы видны, — переменял как-то некстати разговор Белецкий. — Посмотрите.

— Да, горы... — рассеянно согласился Ивашев.

— Пойдемте-ка спать, — предложил архитектор.

Они встали и, не торопясь, пошли к дому.

— Так говорите, красива? — вдруг вспомнил Белецкий.

— Кто?

— А эта женщина, что вы в слободе встретили.

— Очень.

— Не перевязана ли у нее нога?

— Постойте... дайте припомнить... Нет, по-моему...

— Впрочем, это было уже давно... ногу она порезала. Я, ведь, знаю о ком вы говорите, — улыбнулся Бе-

лецкий, — Я ее видел на покосе. Чудо — как хороша...

С веранды сбежала Женя и, подхватив под-руки отца и Ивашева, весело сообщила:

— Пришел Митрофан Вильгельмович, зовет вас в преферанс играть. Алексей Алексеевич, вы должны научить меня играть в карты.

XVII

Алим Ахтыров задумал праздновать день рождения жены. Ей исполнялось двадцать лет. Три дня шли приготовления. Как угорелый, Алим носился по слободе, доставая необходимые продукты, платил втридорога. За яблоками и за подарком жене ездил на пароходе в город. Подарок он тщательно спрятал от Манефы. Алим помогал Гриша Банный, Манефе — тетка Таисия, приехавшая на этот случай из Отважного.

Повеселевшая Манефа суежилась, пекла, жарила, варила... Даже к мужу в эти дни она относилась мягче, с долей некоторой нежности. Видя, что предстоящие торжества доставляют жене радость, Алим удваивал энергию и собирался, кажется, пригласить чуть-ли не пол-слободы.

— Гриша, друг! — говорил он утром в день торжества Грише Банному. — Сходи, милый, к сапожнику Ялику и возьми у него мои новые сапоги. Скорей друг, бегом!

Гриша с готовностью отправился и очень скоро вернулся.

— Ну, что?

— Ялик говорит, что сапоги ваши еще не готовы-с.

— Что?!

— Но к пяти часам он обещает сделать. Я тогда еще раз схожу, вы не беспокойтесь, Алим Алимыхч.

— Ну, это другое дело, — примирительно сказал Алим, вскипевший было при первых словах Гриши, и добавил: — а то бы я ему, хрену старому, башку оторвал.

Сбор гостей был назначен на шесть часов вечера. Тетка Таисия то и дело тормошила дочь:

— Маня, принеси-ка еще муки!

— Маня, дров!

— Маня, сходи по воду!

— Маня, подотри пол!

Манефа сердилась.

— Вы, мамаша, совсем меня затормошили. Маня — то! Маня — это! Ведь у меня не сто рук.

— А ты смотри на Алима: у него земля под ногами горит.

Тетка Таисия любила зятя и очень огорчалась тем, что муж с женой не дружно живут.

— Береги его, Манька, такого мужа больше не найдешь. Он души в тебе не чаёт, а ты, как дура, морду воротишь, — часто говорила она наставительно, — Бог знает, кого с кем соединить воедино. Значит — живи по хорошему.

— Да, ведь, он татарин, — защищалась Манефа, пробуя сыграть на религиозной струнке старообрядки.

— Ну-к, что ж, что татарин, а человек он хороший. Ты ему и в подметки не годишься, дуреха этакая. И в кого ты только уродилась? Ты посмотри, каких он гор достиг: первый человек в слободе, все к нему — с уважением, с почтением... Эх, ты, квашня, квашня...

— И в Бога не верует! — атаковала Манефа.

— Ладно. Не твое дело. А сама-то веруешь?

— Нет.

— Ну, и молчи! — приказывала старуха.

Весть о предстоящем веселье в доме председателя колхоза быстро разнослась по слободе. Колхозники, встречая на улице Алима, подобострастно поздравляли:

— С праздничком вас, как бы, Алим Алимых...

— Спасибо, спасибо! — на ходу говорил счастливый Алим.

Колхозник долго провожал взглядом крепкую фигуру Алима, качал головой.

— Старается, бегаёт, а она, поди, ведьма, насмежается над ним... Эх, слепые люди, — слепые, как щенки! — и думал о том, как бы и ему попасть вечером в дом Ахтыровых.

Некоторые принимали это событие по-другому и злобно замечали:

— Ему что не устраивать пирушки: казна в его руках. Наворовал, наверно, колхозного добра полны погреба. У нас штаны с задниц сваиваются, а он увеселяется, сатана. Эх, жизнь проклятушая! Кто смеется, а кто спиной гнется...

Гостей ожидалось около сорока человек: и слободских, и отважинских, и городских. Дал свое согласие даже и председатель Райисполкома Патокин, с которым Алим находился в до-

волью близких отношениях. Патокин ценил Ахтырова, как работника, любил, как человека, и протезировал ему. Когда встал вопрос о списках, которые нужно было представить в Москву правительству для награждений орденами лучших людей района, он одной из первых назвал фамилию Алима.

К пяти часам всё было готово. В просторной горнице стоял накрытый стол, в виде буквы «П», составленный из пяти небольших столов. Белоснежные скатерти украшали бесконечное количество бутылок и закусок. Тут были и поросенок, и колбаса, и заливное, и водка, и перцовка, и спотыкач, и даже — подарок Патокина — бутылка портвейна. В общем, угощение стоило Ахтыровым полторы тысячи рублей, — ушли все деньги, до копейки, которые были у Алима.

— Гриша, беги, друг, беги за сапогами! — торопил приятеля Алим, устанным взглядом на табуретку боченок с пивом.

— Лечу-с, одна нога здесь, другая там, — отозвался Гриша.

Он успел уже порядочно нагрузиться и был нескончаемо разговорчив.

— Если Ялик еще не кончил, то сиди у него, торопи, и чтоб, самое большое, через пол-часа ты был тут с сапогами, — приказал Ахтыров.

— Слушаю-с... Через пол-часа я буду здесь. Но не разрешите ли вы мне, дорогой Алим Алимых, посетить одну особу, с которой у меня чрезвычайно важное дело. Это займет всего десять минут.

— Потом, Гриша, потом. Вечером, али завтра сходишь. Какие у тебя там дела — пустое все. Беги, милый, беги.

— Бегу-с...

Манефа в голубом платье, ладно обтягивавшем ее полную фигуру, стояла перед зеркалом и примеряла бусы.

— Алим, может, вот эти одеть, желтые?

— Как хочешь, Маня, как хочешь, — соглашался Алим и сердце его переполнялось счастьем. Давно, очень давно, он не видел жену такой доброй и милой. Может быть, все пройдет? Может быть, настанет день, когда она полюбит его по-настоящему? Неужели такое счастье возможно? У

него останавливалось сердце и дрожали руки при мысли об этом. Час тому назад он поднес подарок жене: коричневые изящные «городские» туфли на высоких каблуках. И хотя Манефа сознавала, что она никогда их не наденет, не посмеет куда-нибудь выйти на высоких каблуках, да и ходить-то она в таких туфлях не умела, но крепко поцеловала мужа в губы и искренне поблагодарила.

Тетка Таисия, сложив на толстом животе руки, умильно смотрела на стол и качала головой.

— Добра-то сколько... Ай-я-яй, сколько добра... Небось, на большие тыщи, зятек?

— Ничего, мамаша, ничего, — весело отвечал Алим, — надо ж и жене праздник устроить. Она у меня во какая... нарядная.

Он хотел сказать «красивая», но почему-то это слово не пожелало слететь с языка, и он его на ходу заменил на «нарядная».

— Ах, братца-то, Мустафы Алимыча нет. Посмотрел бы он на вас, порадовался бы, что все у вас на лад, вроде бы как, пошло... А то он, бедный, и сам мучился, глядя на худое житье ваше... — плаксиво проговорила тетка Таисия и даже всхлипнула от наплыва разнообразных чувств.

— Ну, ладно, мамаша. Хватит. Не об этом сейчас речь... — быстро остановил ее Алим, заметив, что Манефа нахмурилась.

— Да чего? Я правду говорю. Топнехонько на вас смотреть было, — не унималась старуха.

— Помолчите, мамаша... — тихо предупредила Манефа.

Алим мгновенно вскочил, взял за руку тещу и потащил ее в кухню.

— Посмотрите-ка, мамаша, не сварилась ли уха?

Тетка Таисия вздохнула, взяла ухват и полезла в печь, тыкая в воздух локтями.

В шестом часу Алим взволнованно ходил в одних портянках по полу возле накрытого стола и злобно ругался:

— Чорт! Ну, и чорт! Ну, и рыжий остопоп! Куда же он запропастился? Неужто сапоги не готовы?

— Придет, никуда не денется... утешала его Манефа. — Может, там какой гвоздик осталось вбить.

— Так пришел бы и сказал. Не голова у него на плечах, а мешок с сеном, у дурака у эдакого.

Однако, Гриша не приходил.

За несколько минут до шести, Алим уже не на шутку разбушевался.

— Дьявол! Идиот! Я ему всю морду раскрою сапогами!

— Надевай старые, они еще хорошие, — посоветовала Манефа.

— Не хочу старые!

— Может, мне сбегать? — предложила тетка Таисия.

— Да куда же бежать, мамаша? Вот-вот, гости придут! — чуть не плача, запротестовал Алим и взглянул в окно. — Не видно рыжей белуги! Что он со мной делает, дохлый леж!.. Вона и гости первые идут, Потехины идут, отец с сыном...

Он ударил в бешенстве себя по бокам.

— Надевай, говорю, старые! — почти приказала Манефа.

— Да они даже не чищенные! — крикнул, багровея, Алим. — Хотя бы ты их почистила, догадалась.

— Да кто ж знал...

— Кто ж знал?.. А ну вас всех...

Глаза его забегали, в бессильной злобе он схватил со стола пустую тарелку и ударил ее об пол.

— Господи! — взмолилась тетка Таисия.

Выместив на тарелке злость, Алим опустился на табуретку и затаил, увидев спокойно подходившую к нему Манефу и страшную в этом спокойствии. Лицо ее побледнело, серые глаза, по-кошачьи, сощурились, уголок рта чуть дергался.

— Это ты зачем? — еле слышно спросила она у мужа. — Характер показываешь?

— Я... я измучился, Маня.

— Измучился?.. Эх, ты! И посуду бить не умеешь!

Она не устало схватила за уголок скатерть и с силой рванула к себе... Со звоном, разбиваясь, падая, ломаясь, полетели на пол бутылки, тарелки, миски... С торжествующей улыбкой на алых губах Манефа сдернула вторую скатерть, третью, четвертую... Страшный грохот наполнил дом. Обнаженные некрашенные столы выглядели жалко и как-то стыдливо. По полу растекались огромные лужи вина, мешаясь с жареным мясом, яблоками, кружочками колбасы.

— Святители! — заголосила тетка Таисия, хватаясь в ужасе за голову

— Что она, окайнная, делает? Убейте ее! Убейте!

Манефа пнула ногой боченок с пивом, скатила его с табуретки и, не оглядываясь, быстро прошла в кухню, а из кухни — в сад.

Алим тупо смотрел на учиненный погром. Руки его судорожно вцепились в лацканы пиджака. В остановившихся глазах блестели слезы.

— Маня... Маня...

Ему ни капли не жалко было побитого добра, он не думал и о гостях, он холодел от мысли, что с таким трудом сооруженное здание примирения так неожиданно и глупо рухнуло и разбилось вдребезги у его ног.

Все начиналось сызнова.

А в это же время, на берегу Волги, на старом замшелом обрубке, сидел Гриша Банный с Аксющкой-дурочкой, обнимал ее за талию костлявой рукой и негромко рассказывал ей о том, как в двадцатом году он впервые познакомился с удивительными законами физики и о том, какие страшные повреждения может учинить человеку разорвавшийся артиллерийский снаряд. Подмышкой он держал новые хромовые сапоги.

XIX

Поздний августовский вечер. В клочьях темных облаков плавно нырял зеленый серпик луны. Под сильным верховым ветром гнулись деревья, шумела Волга. Грустно стучала колотушка ночного сторожа — глухого старика Чижова.

В доме Бушueвых еще не спали. На кухне, при свете керосиновой лампы, Ульяновна гладила белье. Напротив нее, за тем же столом, сидел Денис и, наблюдая за утюгом и ловкими руками матери, слушал ее песни. Ульяновна пела так тихо, что иногда переходила на полупропот, но сохраняя мелодию и отчетливо произнося слова.

Вся она, — и черным простым платьем, и маленькой фигурой, и стрелками бесчисленных морщинок вокруг тихих скорбных глаз, — излучала такой уют и такое тепло, что Денис готов был сидеть до утра и без конца смотреть на нее и слушать ее песни.

Горят, горят пожары, они
всю неделюшку,
Ничего в дикой степи не
осталось...

пела Ульяновна, и сердце Дениса наполнялось тихим и светлым успокоением.

Оставались в дикой степи
горы крутые.

Как на этих горах млад
ясен сокол...

Денис очень любил песни, особенно, когда их пела мать. А песен Ульяновна знала бесчисленное множество всяких: и свадебные песни заводила она, и посиделковые, и любовные, знала и «романсы», где льется кровь и сверкают ножи. Денис и сам уже многое знал и запомнил из того, что пела она, но всякий раз Ульяновна вспоминала что-нибудь новое.

— Мамаша, спой «Липу вековую».

— Да что ты, Денисушка, к этой песне привязался? Что она тебе так полюбилась? — улыбнулась Ульяновна.

— Не знаю. Нравится она мне. Спой.

— Ну, слушай.

Липа вековая
Под окном стоит.
Песня удалая
Вдалеке звенит.
Лес покрыт туманом,
Словно пеленой.
Слышен за курганом
Лай сторожевой...

На палатах заворочался Ананий Северьяныч. Он еще не спал и мысленно подсчитывал предстоящие расходы по хозяйству, прислушиваясь в то же время к песням жены. Он не то чтобы любил песни, а слушал их иногда так — от нечего делать.

— Подожди, Денисушка, — оборвала сама себя Ульяновна, — вот я вспомнила хо-орошую одну... Слушай.

Колечко мое позлащенное, —
Ох, я с милым дружком разлученная.

Он давал-то мне ручку правую,
Целовал меня в щечку алую.
Не целуй меня, не уговаривай,
Ох, не хочешь любить — не обманывай.

— Ульяновна! — перебил ее Ананий Северьяныч, свешивая сивую бороденку с палатей, — чегой-то мне третью ночь подряд белые ведмедя снятся? Как глаза закрою, так все на север еду, все на север...

— А ты на каком боку больше спишь? — улыбнулась Ульяновна

— На левом.

— Так ты повернись на правый, тогда на юг поедешь.

— На юг, говоришь? — недоверчиво переспросил Ананий Северьяныч. — А вот я чичас попробую...

Но только было он улегся на правый бок, как в окно кто-то громко постучал. Денис толкнул раму. Это был дед Северьян.

— Ананий! — громко крикнул он, просовывая лысую голову в дом.

— Чево тебе? — лениво отозвался с палатей Ананий Северьяныч.

— Красный бакен потух.

— Что?! Который? — тревожно спросил Бушуев, прыгая с палатей на пол и ошалело глядя на отца.

— Что возле гряды. Снизу буксирный идет, как бы не напоролся на камни без сигнала-то... — предупредил дед Северьян, скрываясь в темноте.

— Ах, ты пропасть какая! — выругался Ананий Северьяныч, натягивая на босые ноги кожаные сапоги. — Дениска! Зажигай запасной фонарь, да поедem, стало-быть с конца на конец.

— Зачем же запасной фонарь брать? Зажжем тот, что на бакене, — сказал Денис, вставая из-за стола и подтягивая ремень на штанах.

— А ежели стекло на ем разбилось! — крикнул Ананий Северьяныч, удивляясь на недогадливость сына. — Ох, и дурень же ты, Дениска. Дурень стоеросовый!

— Темень-то, темень какая! — покачала головой Ульяновна — и буря! Ты, отец, осторожней там, не потопитесь в Волге-то...

— Утопленников и без нас, Ульяновна много плавает. Как-нибудь... с Божьей помощью не потопнем. Служба, Ульяновна, служба, — суется, заключил Ананий Северьяныч.

— Ну, хранит вас Господь! — сказала Ульяновна, крестя воздух.

На берегу было темно и шумно. Месяц скрылся. Черные громады волн, шипя, накатывались на прибрежный гравий. Гнулись, трепеща листвою, кусты тальников. Денис долго не мог распутать узел веревки, которой лодка была привязана к коряге.

— Да что ты там: в карты что-ль уселся играть? — крикнул на него отец, надевая весла на деревянные уключины.

— А ты, папаша, чем кричать — посветил бы!

— Так бы и сказал... Язык-от, чать, у тебя есть аль нет? — проворчал Ананий Северьяныч, поворачиваясь и подымая фонарь. — Ах, ты пропасть какая! И когда это только он потух, дьявол!

Из-за колена реки, сверкая огнями, медленно и бесшумно вырастал буксирный пароход. Из-за рева ветра и волн не слышно было стука колес.

— Идет, проклятуший! Идет! — застонал Ананий Северьяныч, — то-ропись, Дениска, а то он и впрямь без сигнала-то брюхо о камни напорет... А мне лет десять дадут! Дадут черти, дадут определенно.

Денис изо всех сил греб. Ананий Северьяныч сидел на корме и помогал Денису кормовым веслом. Утлый ботник швыряло с волны на волну, и казалось непонятным, как его не зальет водой.

— На отцовской лодке надо было ехать... — вздыхал Ананий Северьяныч, — та все-таки поболе будет... Ах, ты пропасть какая! Не опоздать бы. Лет десять, стало быть с конца на конец, мне дадут за аварию... Не зря мне белые ведмедя снились.

Когда ботник взлетал на гребень волны, Денис попадал веслом в яму, промахивался и обдавал брызгами Анания Северьяныча. Но Ананий Северьяныч не обращал на это внимания, он работал кормовиком, и остро, по-хищному, вглядывался в черные волны, отыскивая глазами потухший бакен.

На стрежне реки волны были больше, чем у берега, но не дробились, а плавно вздыхали, шипя гребнями. Горевший на дне лодки фонарь, установленный в станину, стучал и без того непроглядную темень. Ананий Северьяныч сбросил с плеч телогрейку и закутал ею фонарь. Непостижимо было, как и на что он ориентировался, управляя лодкой. Берега давно уже пропали в черноте ночи.

Не сильно ли влево берем, папаша? — беспокоился Денис.

— Не, не, Дениска... Тута вот и должен быть бакен... Где-то тута. Гребь посильнее, посильнее...

Ладони Дениса уже горели, натертые ручками весел, рубаха взмокла от пота, но усталости он не чувствовал. Он знал, что надо во что бы то ни стало найти бакен, зажечь его, и борьба со стихией волнующе-тревожным стуком отзывалась в сердце.

— Вот он! — радостно воскликнул Ананий Северьяныч, загребая воду кормовиком и поворачивая ботник.

Денис взглянул через плечо. Плавно вздымаясь на горбах волн, качался конус бакена. Теперь предстояло самое трудное — пристать к нему и сменить фонарь. Три раза цеплялся Ананий Северьяныч за деревянную плавучую крестовину, на которой стоял бакен, и три раза вынужден был отпускать руки, ибо ботник от резкой остановки черпал бортом воду.

— Кормой приставай, Дениска! Кормой, а не бортом! Потонем к чертовой бабушке! — кричал он на сына.

Денис развернул ботник и ткнул его кормой в крестовину. От толчка Ананий Северьяныч чуть не слетел за борт, но удержался.

— Тише, леший!

Бушуев, выбрав момент, с налета выдернул из конуса потухший фонарь.

— Стеклы целые... Чего ж он потух? — удивился он, ощупывая фонарь.

— Скорее, папаша, скорее! Вишь, воды сколько в лодке... — торопил отца Денис, беспокояно следя за тем, как обламывались о борт ботника гребни волн.

Ананий Северьяныч, кряхтя и ругаясь, долго не мог поставить в конус зажженный фонарь. Когда же он его, наконец, установил, то ботник был наполнен до-половины водой. Фонарь зловещим красным светом осветил фигуру Анания Северьяныча, конус и небольшое пенное пятно воды вокруг себя. Буксирный пароход, заметив вспыхнувший впереди себя сигнал, резко менял курс, подбиваясь к левому берегу.

Назад ехать было трудно. Отяжелевший ботник, несмотря на все усилия гребца, подвигался медленно. Ананий Северьяныч, бросив кормовик, лихорадочно откачивал деревянным ковшем воду.

— Не убывает, не убывает, подлая, — сокрушался он, — я ее — ковшиком, а она в лодку — ведром...

— Все равно, не успеем доехать до берега, — утешал его Денис.

Теперь уже волны не могли подымать ботник на себя, они смачно, с шумом сбрасывали в него седые шипучие гребни.

— Тонем, папаша...

— Еще нет, Дениска...

— Тонем...

— Еще маненько подождем...

— Сапоги бы скинул, папаша.

Ананий Северьяныч перестал работать ковшем, поднял его и посмотрел на ноги, почти до колен ушедшие в воду.

— Сапоги не скину...

Борта лодки чуть-чуть высовывались из воды. Денис перестал грести, зачарованно глядя на большую волну, катившуюся на них. Она подошла мягко, слегка наклонила ботник, попробовала вскинуть на себя, но не подняла и, всхлипнув, обрушилась на него.

— Тонем, папаша!

Ботник плавно пошел под воду. Ананий Северьяныч отбросил ковш.

— Теперь, стало-быть с конца на конец, тонем...

Бушуев взмахнул руками и повалился в черную воду, стараясь упасть так, чтобы ботник не накрыл его. Дениса же перевернувшимся ботником накрыло, и он несколько раз стучался под водой затылком о скамейки и стлани, пытаясь вынырнуть на поверхность. Это продолжалось долго и мучительно. «Конец, погиб» — подумал он. Но жить хотелось, жить безумно хотелось. Он собрал силы и рванулся всем телом куда-то вверх... и снова стукнулся головой о ребристые стлани. Ему казалось, что он уже целую вечность под водой, что смерть теперь уже неминуема, и последнее, что надо сделать, это — открыть рот... Но вдруг в помутившейся голове ярко мелькнула мысль, что надо нащупать борт и нырнуть вниз, а не вверх, и уже с собранным сознанием, отдавая себе отчет в том, что делает, он нащупал левой рукой борт, оттолкнулся и легко пошел вниз, ко дну, забирая в то же время несколько в сторону. И рванулся вверх, собрав последние силы. Пробкой выскочил на поверхность и жадно вдохнул воздух вместе с пеной и брызгами.

Ананий Северьяныч уже давно был на поверхности и, плавая, держался руками за перевернувшийся вверх дном ботник. Он был обеспокоен исчезновением сына и, когда увидел его, вынырнувшего из воды, радостно закричал:

— Дениска! Плыви сюда и держись за ботник.

Денис подплыл и схватился за скользкое днище лодки. Он все еще никак не мог придти в себя от сознания того, что посмотрел в лицо смерти. Аняния же Северьяныча охватило новое беспокойство: левый сапог соскальзывал с ноги.

— Утонет, чорт, утонет... — плаксиво застонал он.

— Кто утонет? — глухо спросил Денис.

— Сапог...

Как ни трагично было положение, но Денис не сдержался и, против воли, улыбнулся.

— А что же, папаша, мы дальше будем делать?... Ведь так долго не наплаваем...

— Кричать надо, Дениска.

Денис попробовал: раза два крикнул, но голос его в реве волн и ветра прозвучал так жалко, что отец и сын тут же поняли бесполезность этого занятия. Помолчав, Аняний Северьяныч изрек:

— А ведь, может, и взаправду потонем... Не зря мне белые ведмедь сшили.

Под левым берегом проходил пароход, волоча за собой караван барж. Но надежд на него не было никаких. Вряд ли, чтоб на нем могли услышать крики погибающих.

Аняния Северьяныча понемногу покидали силы.

— Слабость меня берет, сынок... Видно, долго не продержусь... А ты держись, сколько можешь. Тяжко будет матери двух-то оплакивать, сынок... тяжело...

Это неожиданное «сынок» больно отозвалось в сердце Дениса, и ему стало вдруг страшно жаль отца, на глаза навернулись слезы. О себе он уже в эту минуту не думал.

— Папаша... ты как-нибудь... держись...

Аняний Северьяныч, не отпуская правой рукой киль лодки, левой подернул сапог.

— Слабею, Денис...

— Сбрось сапоги... легче будет, — посоветовал Денис.

— Сапоги не сброшу... Они еще новые... Дениска, ежели Бог даст спасешься — смотри, мать не забывай... мать береги... И Киришке передай мое слово...

— Держись... — чуть не плача, проговорил Денис.

— Плохо, сынок... руки соскальзывают...

Выплыл месяц и голубым слабым светом озарил пенящуюся Волгу. И Денис заметил совсем рядом, саженях в десяти от них, лодку. Он закричал что было сил, протяжно, с надрывом...

— Ло-одку! Поддай ло-одку!

Гребец на секунду застыл, подняв весла, и, круто развернувшись, быстро подбегал к утопающим. В гребце Денис узнал Манефу. Она же, узнав Дениса и Аняния Северьяныча, тихо воскликнула:

— Бушуевы? Чего вы здесь?

— Жарко стало... купаемся... — ответил осмелевший Аняний Северьяныч. — Подавай скорее лодку.

Она помогла влезть в лодку продрогшему и стучащему зубами старику. В тот момент, когда он переваливался через борт, левый сапог соскочил с его ноги и исчез в воде.

— Сапог утоп! — закричал Аняний Северьяныч в отчаянии. — Денис, ныряй! Ныряй, дьяволенок!

Денис нырнул, но так как и он сильно ослаб, то через секунду выплынул назад.

— Пымал? — спросил отец, упершись руками о борт и глядя на сына. С сивенькой бородки ручьями текла вода.

— Нет, — ответил Денис, влезая в лодку.

— Эх, что ж я без сапога делать буду! — застонал Бушуев, садясь на лавку и охватывая руками голову. — А ты чего тут, стало-быть с конца на конец, по ночам разъезжаешь? — вдруг крикнул он на Манефу. — Люди добрые спят давным-давно, а она — нате вам — раскатывается, словно ясный месяц. Делать тебе, видно, нечего...

— К матери... в Отважное еду... — тихо сказала Манефа.

— К ма-атери... — передразнил Бушуев, — все бы к матери в такую пору ездили. К полюбовникам ездят по ночам — вот куда!

Манефа не лгала. В этот день, после ссоры с Алимом, она до-поздна лежала в поле в копне ржи, а потом, не зная, что делать и куда идти, решила поехать на время к матери в Отважное.

Денис, зачаливая ботник, через плечо посмотрел на Манефу и ему показалось, что в серых глазах ее сверкали слезы. И сердце его дрогнуло странной и большой жалостью к этой непонятной женщине...

XX

Брезжил рассвет. Мутная туманная дымка над Заволжьем посветлела, порозовела. По селу мычали коровы, горлалили петухи.

Дед Северьян, поскрипывая смазными сапогами, шел в Спасское, в церковь.

Было воскресенье.

Проходя мимо колосовского дома, он увидел возле колодца Манефу. Она доставала воду. Старик замедлил шаг, остановился, кашлянул и негромко позвал:

— Маня, подь-ка сюда...

Манефа резко оглянулась, не выпуская из рук бадьи. После смерти Мустафы она ни разу не разговаривала со старым Бушуевым, и то, что он заговорил первый, и удивило ее и обеспокоило.

— Коли нужно, так сам подойдешь... — на всякий случай, недружелюбно ответила она, отворачиваясь и опуская бадью в колодец.

— Эк, ведь, ты какая... — вздохнул дед Северьян и подошел к ней, ступая по росистой траве.

Некоторое время он молчал, собираясь с мыслями, не зная с чего начать. Не глядя на него, она наполняла ведра холодной и прозрачной, как стекло, водой.

— Ты, Маня, вчера Дениску из воды вытащила? — наконец, глухо спросил он, подергивая губой.

Она молчала.

— Вытащила, — сам себе ответил он, — стало-быть, спасла от утопления. Это тебе, Маня, Богом зачтется...

— Никого я не спасала... Так просто: ехала, да подобрала... — тихо проговорила она, подымая с земли ведро.

— Это Богом тебе зачтется, — повторил старик, не обращая внимания на ее слова. — И еще, слушай, что я тебе скажу... Ежели тебе когда я понадобится, то приходи... прямо так и приходи. Слышишь?

Это было сказано стариком так сильно, что Манефа покорно и просто ответила:

— Слышу.

Не понимая, в то же время, зачем бы ей мог понадобиться старик.

Когда дед Северьян вышел за село, краешек солнца выполз из-за синей полосы леса и брызнул, пронизывая небо, острыми разноцветными стрелами. Роса была такая большая, что не только бисером рассыпалась по траве и серьгами повисала на листьях кустов и деревьев, но, словно дождем, прибила пыль на дороге. Оставляя серые, четкие следы за собой, дед Северьян тихо брел по лесной дороге, прислушиваясь к щебету птиц. Он шел и вспоминал свою жизнь, — бурную, бесполезную, нечистую... Думал и о смерти, и о внуке. И мысли о внуке занимали его больше всего. Видел старик в Денисе себя, второго себя. И хотелось ему вместе с Денисом прожить вторую жизнь, совсем другую, чем та, которую он прожил. Прожить такую жизнь, чтоб людям от нее было светло и радостно, чтоб не осквернить ее темными делами и грешными помыслами, чтоб умереть с душой незапятнанной и с сердцем чистым, как первая пороша.

— Господи! Помоги ему в страдной жизни... — вслух сказал он, думая о внуке. — Не дай ему оступиться на тех камушках, на которых я оступился, вразуми его, Господи...

И вздохнул. И вспомнил, как он утром зашел на сеновал к Денису, где тот мирно спал на пахучем сене, посапывая носом, как разбудил его и просил пойти с ним в церковь, и как отказался Денис, заявив, что не верит он в Бога и пусть лучше дед никогда не говорит с ним об этом. Но сказал все это он не грубо, а так, как часто умел говорить: твердо и искренно...

Лес кончился. Вдали, на бугорке, показалось село Спасское и колокольня деревянной церкви. Завидя ее, дед Северьян снял картуз и перекрестился. Справа и слева от дороги раскинулись поля. Пожелтевший лен грустно клонил маленькие головки. «Пора бы теребить» — подумал старик. В воздухе густо плыл тяжелый, певучий колокольный звон.

Возле церкви было кладбище, заросшее травой, с покосившимися, сгнившими крестами, запущенное,

как и большинство русских кладбищ. Дед Северьян постоял возле могилы жены, пошептал молитвы сухими губами и вместе с первыми богомольцами вошел в церковь. А минут через пять, запыхавшись и поправляя на голове черный цветистый платок, подошла к паперти и Ульянова.

В церкви дед Северьян долго и простодушно молился за рабу Божию Манефу...

XXI

Кирилл Бушуев, отгуляв медовый месяц, стал подумывать о работе. Эта мысль вряд ли пришла ему на ум, если бы не намеки отца, сначала осторожные, а потом все более откровенные. Ананий Северьяныч все чаще и чаще хватался за старенькие деревянные счеты и долго стучал косточками.

— Так... Свадьбу пока в счет аласть не буду... В июле я получил сто двадцать рублей... так... теперича вычеты... так, на заем — четырнадцать рублей, мука — тридцать пять рублей... освожим — два с полтиной... стекла — шесть рублей, веревки — красненькая...

Ставил на колени счеты, клал на них сивую бороду, задумывался, шевеля сухими потрескавшимися губами.

— Средств нет... Чем жить будем, ребята?

За обедом подавался только жидкий крупяной суп, да вареная в кожуре картошка, которую ели с луком и солью. Утром — чай с хлебом, вечером — молоко с хлебом.

— Налоги кругом, все одни налоги... А где денег взять? — рассуждал Ананий Северьяныч.

Не выдержал как-то и сказал старшему сыну:

— Ты бы, Кирюшка, стало-быть с конца на конец, на работу бы, что ли, поступил. Что ж так-то болтаться! Женитьба — женитьбой, а дело — делом. Жить нам больше не на что. Дениске надо в Рыбинск ехать, в училище поступать, опять одни расходы.

— Стипендию дадут. Я, папаша, на твоей шее сидеть на буду, — успокаивал его Денис.

Кирилл вскоре поступил масленщиком на маленький пассажирский пароход «Златовратский». Ему очень

не хотелось уезжать от молодой жены, но делать было нечего. Утешало его только одно обстоятельство: до конца навигации оставалось месяца три — не больше.

Настя оказалась тихим, добрым человеком и хорошей работницей. С утра до вечера она чем-нибудь занималась. Вставала рано — чем свет, доила корову, выгоняла ее в стадо, носила дрова, воду, топила печь. В новой семье ее скоро все полюбили.

Денис перестал бывать у Белецких. Шиллера он отослал им через Васюку Годуна, но новые книги, присланные Николаем Ивановичем через того же посла, он взял. К предстоящим экзаменам в речном техникуме относился спустя рукава и мало готовился; не тянуло его что-то в этот техникум, а куда тянуло — никак разобраться не мог. То ему хотелось стать моряком, то летчиком, то артистом, то библиотекарем...

— Сам не знаешь, чего хочешь! — кричал на него иногда отец.

С Финочкой встречался все реже и реже — первая любовь быстро проходила. Девочка это чувствовала и не особенно огорчалась, ибо с редкими встречами уменьшалась и возможность пострадать за свои нежные чувства к Денису, — мать жестоко бы ее наказала, а Финочка знала это определенно. Кроме того, и ей самой стали надоедать скучные встречи за сараем и поцелуи. Ей гораздо больше нравилось получать от Дениса стихи и встречаться с ним дома или на улице, без поцелуев.

В двадцатых числах августа Денис поехал в Рыбинск, держал экзамен и провалился по математике. В переэкзаменовке ему отказали, принимая во внимание то обстоятельство, что он исключен из комсомола.

— А плевать мне на ваш техникум! Свет клином на нем не сошелся, — решил Денис и довольно в веселом расположении духа поехал домой.

Ананий Северьяныч пришел в бешенство.

— Дармоед! Сукин сын! Учился, учился, а толку — как от козла молока! Что теперь, в подпаски, что ли, тебя отдавать?

— Не шуми, папаша, — успокаивал его Денис, — найду работу, не думай, найду. Без дела сидеть не буду.

— Так ищи, стало-быть с конца на конец!

— Дай срок — найду.

Денис из подростка превращался в юношу и, со свойственной этому возрасту неопределенностью желаний, никак не мог найти своего призвания. Выбирал, выбирал, куда бы приложить силы, и поступил матросом на пристань возле Отважного, на сторублевую зарплату. Выручил Мишка Потапов, которого взяли в армию, и он уступил свое место Денису.

Белецкий, забыв свои майские мечты, в конце августа запросился в Москву в один голос с дочерью.

— Ведь я же знала, что это так и будет! — торжествовала Анна Сергеевна. — Разве ты можешь осенью жить в деревне? И что бы ты стал, интересно, тут делать? Женя и Варенька должны уехать, у них занятия начинаются. Я, конечно — с ними... ну, ты подумай!

— Да, да, конечно, — соглашался Белецкий, — это были только весенние мечты. Давай-ка укладываться, да пошлем сегодня телеграмму Груше, чтобы приготовила все к нашему приезду.

Груша была прислуга Белецких, оставленная хозяевами в Москве следить за квартирой.

Ивашев давным-давно уехал, израсходовав весь запас фото-пленки.

Узнав о предстоящем отъезде семьи архитектора, Денис пришел, все-таки, попрощаться. Варя первая подошла к нему.

— Денис, вы не сердитесь, пожалуйста, на меня. Я очень нехорошо поступила и прошу у вас прощения.

— Ах, я уже и забыл, — солгал он, ибо воспоминания о «мужике» часто и больно кололи его самолюбие.

Николай Иванович подарил ему несколько книг, обещал прислать еще и просил писать в Москву. Тепло распрощавшись со всеми, Денис с тяжелым сердцем пошел домой — так он привязался к этой семье.

Дул ветерок и гнал по земле желтые листья тополей. На улице его догнала Варя. Заметно было, что она волновалась, на поправившемся за лето личике розовел румянец, синие глаза, в плетнях из прямых ресниц, смотрели по-осеннему грустно, но чисто и светло.

— Денис... мне хочется вам подарить вот это на память... возьмите, пожалуйста, — и она протянула ему маленькую коричневую записную книжку с золотым тиснением, — возьмите же!

Денис нерешительно взял книжку и сунул ее в карман.

— Спасибо.

И подумал, что в этом подарке очень удобно будет записывать стихи.

— И еще: можно вас об одной вещи спросить... только дайте слово, что не рассердитесь... — замаялась Варя.

— Если опять...

— Ах, нет, совсем не опять... совсем не то... впрочем, немножечко и то... только совсем по-другому... но дайте слово, что не рассердитесь. Ну, дайте же!

Денис, боясь нового подвоха, опять нерешительно сказал:

— Хорошо... не обижусь.

— Тогда скажите... скажите, кому вы тогда эти стихи написали?

Денис вздрогнул и опустил глаза.

— Вы же говорили, что не о том...

— Ах, Денис, но ведь теперь я спрашиваю совсем по-другому... как бы это выразиться... не от злобы, а так... от души...

Она совсем спуталась, покраснела и умолкла.

— Финочке... — просто и тихо сказал Денис, наступая ботинком на комок глины и сосредоточенно растирая его.

— Я так и думала... — кивнула головой Варя.

— Почему?

— Так. Не знаю.

— Только все это уже прошло... — добавил Денис.

— Правда?

Он не видел лица Вари, но в ее голосе, в том как было сказано это «правда?» ему послышалась легкая радость, и он с удивлением поднял глаза. Она протягивала ему руку.

— До свиданья, Денис. До будущего года!

Варя крепко пожала маленькой теплой рукой пальцы Дениса и, не оборачиваясь, пошла на дачу.

Денис вздохнул. Ах, как грустно на душе! Отчего бы это? Не от серого ли неба и желтых листьев?

XXII

Нужда все сильнее и сильнее давила Аняния Северьяныча. Скучная зарплата расходилась в несколько дней на уплату долгов, а они все росли и росли. Денису дали аванс — 60 рублей. Аняний Северьяныч тут же их отнес печнику Солнцеву за перекладку печи в кухне. Кирилл в каждом письме обещал прислать деньги, но не присылал.

— Хоть бы на содержание Настьки подкинул двадцатку, — ворчал старик, — сам уехал, а жену опять же мне на горб посадил. Не будет толку из Кирюшки, не будет. И не отделишь сроду.

— Да ты дай сначала парню на ноги встать, — защищала сына Ульянова.

— Нет, мать, не видишь ты ничего. Не задался у нас старшой, человека путного из него не выйдет, ума не хватает парню, мозгов мало. Да из Дениски тоже, должно, ни хрена не получится. Чудной какой-то. Книжки читает, а в техникум не попал. Не впрок, стало-быть с конца на конец, ему чтение, пустую, стало-быть... Псу под хвост... Мало детей нарожали, Ульянова, мало. Что толку от двух уродов...

— Христос с тобой, Северьяныч, этих-то едва выносила, да на ноги поставила, а ежели еще — с голоду бы совсем померли.

— Да-а... — чесал спину Аняний Северьяныч, — теперь оно, конечно, позднонато думать... года не те.

Ульянова испуганно крестилась и показывала мужу на иконы.

— Бога побойся! Бога побойся, старик!

Аняний Северьяныч косился на образа и еще сильнее чесал спину, забрасывая руку через плечо и двигая локтем, как паровоз шатуном.

— Помрем с голоду, помрем...

Не выдержал и пошел к отцу.

Дед Северьян, прекратив из-за спада воды ловлю казенных дров, занимался ловлей рыбы запрещенным способом — на пашковый перемет. Запрещался этот способ потому, что не столько ловилось рыбы, сколько калечилось. На длинную бечеву, опущенную на дно с грузом из камней, навязывались на лесках большие крючки, а возле них — пробки.

Никакой приманки на крючок не насаживалось. Рыба, главным образом, стерлядь, играя вокруг пробок, цеплялась за острый крючок либо брюшком, либо жабрами, либо глазом... Рванувшись от боли, она оставляла на крючке часть своего тела, уплывала и где-нибудь вскоре издыхала. Но некоторые оставались на крючке и благополучно вытаскивались ловцом из воды. Уголовный кодекс предусматривал сей немудреный способ ловли специальной статьей, карающей виновного тюремным заключением до трех лет. Дед Северьян вынимал и запускал перемет только по ночам, когда его не могли увидеть односельчане.

Аняний Северьяныч пришел к отцу поздно, часов в десять вечера. Дед уже собирался ехать на ловлю и при свете лампы чинил подсак, усевшись посередине пола на маленькую скамеечку.

— Здравствуйте, папаша.

— Здравствуй... — тихо ответил дед Северьян, не отрываясь от работы и не поднимая головы.

Аняний Северьяныч нерешительно мялся у порога, переступая босыми ногами с торчачими, как у курицы, в разные стороны пальцами.

— Проходи. Садись.

Бушуев прошлепал по крашеным половицам к столу, сел на табуретку, почесал легонько спину.

— На охотку, стало-быть с конца на конец, едете, папаша? — вкрадчиво спросил он, поглаживая сивую бордку.

— Стало-быть, еду.

— Гм... Хорошее дело, хорошее дело. Подсачек чините?

— Да вот, понимаешь, прошлой ночью стерлядочка на пуд весом попалась и того... насилиу вытащил... подсак порвала стерлядочка-то...

— На пуд? — притворно удивился Аняний Северьяныч, хотя знал, что такой рыбы отец сроду не ловил.

— Не мене.

— Чтой-то я в наших краях про таких рыб, папаша, и не слыхивал, — не удержался усомниться сын.

— Еще боле бывают... Надо места знать, где ловить.

— Ну, может, может, — охотно согласился Аняний Северьяныч, вспомнив за чем пришел к отцу, — чего не знаю — того не знаю, спорить не

хочу. Мовет, и бывает. А что, папаша, корысть какая от этой охотки, стало-быть с конца на конец, получается?

— Малая, Ананий, совсем малая.

— Так, так... Я полагаю, побольше корысть, чем мне от бакенов?

— Нет, Ананий, мене. На много мене.

Помолчали. В курятнике завохотали кем-то побеспокоенные куры. Дед Северьян встал, взял из горнушки клубок шпагата и сел на прежнее место.

— А я... того... опять этого, как его, следователя на-днях встретил возле часовни, — сообщил сын.

Дед скривил изуродованную губу и нахмурился. Не отрываясь от работы, тихо спросил:

— Ну, и что?

— Так... постояли... про вас спрашивал.

Старик молчал. Ананий Северьяныч помигал глазами, положил локоть на стол.

— Чего, говорит, Северьян Михалыч делает? Как здоровье?

— Ну, это ты, положим, врешь! Про здоровье он ничего не спрашивал.

— А отколе же ты можешь знать, спрашивал он, али не спрашивал?

— Я, брат, его, как и тебя, Ананий, насквозь вижу. Ты еще только думаешь что сказать, а я уж знаю об чем речь будет. Знаю, брат, зачем ты и ко мне пришел. Да только...

— Проведать, папаша, проводить, — торопливо перебил его Ананий Северьяныч, боясь, что отец назовет причину его визита.

— Проведать? Ну, пушай по твоему будет. Только проводить-то меня ты заходишь в особливых случаях.

— А еще, папаша, спросил я его: не нашел ли он, стало-быть с конца на конец, путей к убивству. Постоял, подумал. Нет, говорит, не нашел пока. Но, говорит, найду, и вскорости найду, и ой-е-ей как накажем убивцу, меньше, говорит, осьми годов тюрьмы не дадим, ежели дело, того... по злобе, а ежели по какой другой причине, скажем, по государственной причине, то и того... жизни, говорит, лишить можем... Вот оно, дельце-то как оборачивается, папаша, каруселью дельце-то оборачивается...

— А по мне, Ананий, какой бы оно каруселью ни поворачивалось — пле-

вать. Так и запомни! — спокойно сказал старик.

— Да так-то оно так, но все же вы, папаша, на подозрении... оно и поосторожней надо. Я, папаша, вам это как сын, конечно, говорю. Мне-то что? Моя хата с краю. А вам как бы того... не оступиться на камушке...

— Ладно. Помолчи. Учить меня нечего. Мне уж, слава Богу, восемьдесят годов на Рождество стукнет.

— А мне, папаша, скоро шестьдесят. Тоже срок не маненький. Пожил, посмотрел.

Он вздохнул, обвел стены тусклым взглядом, задержался недолго на черной горке с маленькими стеклами (зная, где хранил дед заветную шкатулку) и опустил глаза на корявые темные руки отца.

— Шпагат-от крепкий?

— Ничего. В аккурат по мне.

— А у меня, папаша, совсем здоровое стало того... хреновое. Харч убогий.

— Пить надо мене, Ананий. Когда нынче запивать думаешь?

— И в мыслях не держу про то, папаша.

— Срок придет — все одно запьешь! — знающе, твердо сказал дед.

— До срока моего еще далеко, папаша. Мой срок по осени, еще далеко. Да хочу в этот год перебороть себя, попробую. Да и пить-то будет не на что. На две-то недели запоя ой-е-ей, как много денег надо. А нам и сейчас есть нечего. Одной картошкой питаемся, картошкой одной. На Дениску и смотреть не хочется, жалость берет, худой, белый.

— А ты его, Ананий, посылай почаще ко мне... ну, повечерять там, али к обеду, — посоветовал дед Северьян.

— Спасибо, папаша, и на этом, спасибо. Да ведь он, знаете, с норовом. «Чего», говорит, «я у деда подкармливаться буду! Вот ежели б дед-то всей семье помог деньжонками, деньжонками-то всей семье помог...

Дед Северьян опять усмехнулся. Дернул шпагат, оторвал ненужный конец.

— Вот опять врешь, Ананий. Так Денис не говорил.

— Ей Богу, так.

— Не божись зря — грех великий. Насчет денег он ничего не говорил. Ананий Северьяныч, уличенный во

лжи, заерзал на табуретке, втянул в плечи длинную, худую, шею.

— Ну, может, я его не понял. Он того... стал больно туманно говорить, как книжек-то начался, туманно стал говорить... Тоже шалопай растет, определенно — шалопай.

— Дениска-то?

— Я про его и говорю, — объяснил Ананий Северьяныч, забрасывая руку через плечо и поеживаясь.

— Из Дениса, Ананий, толк будет. Зря не суди.

— Чтой-то не видно. Не видно чтой-то толку-то.

— А вот увидишь. Дай срок. Ежели ты его в конец не загубишь.

— Да по мне — шут с ним. Я за ним не больно и смотрю. Так вот и живем, папаша, говорю, картошку лопаем. Хоть сдохни. Может, вы, папаша, того... стало-быть с конца на конец, поможете? А? — набравшись дужу, прямо спросил Ананий Северьяныч и от нервного ожидания зачесал вдруг спину с удвоенной энергией.

Дед Северьян встал, прислонил к косяку зачиненный подсак и снял с гвоздя ватный стеганный бушлат.

— Денег не дам, Ананий.

— Это почему? — плаксиво спросил сын.

— На свадьбу Кирышке пятьсот дал — больше у меня нет.

— Да, ведь, того... есть они у вас, папаша. Есть они.

Дед застегнул бушлат и размашисто нахлобучил на голову картуз с помпатым козырьком.

— Положим, есть. Маненько, скажем, есть. Не в таком ты еще положении, Ананий, чтобы я тебе последнее отдавал.

— Так, может, когда меня на кладбище повезут, тогда ты и денег дашь? На похороны? — взвизгнул сын, вскакивая.

— Не шуми! — предупредил дед Северьян и встал у косяка, пропущая вперед сына и придерживая рукой дверь.

Ананий Северьяныч суетливо нырнул под руку отца, сбежал с крыльца и заковылял вверх по тропинке, не оглядываясь и спотыкаясь в темноте о камни. Последняя надежда рухнула.

— Вот лысый чорт! Вот анафема! — проклинал он на-ходу отца. —

Ведь помрет скоро на своей мощне! Небось, тысяч с пяток придерживает, дьявол долговязый. Ах, ты, пропасть какая!

Дед Северьян постоял, посмотрел вслед сыну, покачал головой и, вытаскив из-под крыльца тяжелые некрашенные весла, легко бросил их вместе с подсакom на плечо. Твердо ступая, пошел под гору, к берегу.

XXIII

Навстречу ему, вырастая из темноты, поднималась какая-то согбенная и унылая фигура. Заметив деда Северьяна, фигура быстро спряталась за толстый ствол березы.

Дед остановился, недовольно спросил:

— Кто там? Чего хоронишься?

— Это я-с, Северьян Михайлович, — робко сказал Гриша Банный, выходя из-за березы.

— А-а, ты, Гриша? — приветливо улынулся дед Северьян. — Чего ж ты хоронишься?

— Боюсь... я всего теперь боюсь.

— Меня тебе бояться нечего.

— А может быть, вы на меня сердитесь, Северьян Михайлович?

— За что ж, Гриша?

— Может быть, вы думаете, что я на вас какие-нибудь показания следователю давал... так я ни слова.

— Да что ты, Гриша! Господь с тобой. Ты тут не при чем. Это я, брат, знаю.

— Я полагаю, Северьян Михайлович, следователь сами-с на вас подозрения имеют... так на первом допросе мне показалось. Они все про вас спрашивали...

— Бог ему судья...

— А на втором допросе они необычайно настойчиво вникали в мою, сугубо интимную, жизнь. Праздное любопытство, доложу я вам, не имеющее к делу прямого отношения и недостойное серьезного человека...

— А ты, брат, больно робок. Эдак нельзя, жить трудно робкому-то... — перебил его дед Северьян.

— Знаю, Северьян Михайлович, но ничего с собой поделатъ не могу-с. Характер имею такой. И люди стали непомерно злобны, от тяжелой жизни, полагаю. Всякий пустяк их растраивает. Вот хотя-бы, например,

меня не так давно чрезвычайно больно откололотил-с Алим Алимич.

— Ахтыров? — сдвинул брови дед, ставя весла на-земь.

— Они.

— Это за что ж?

— За пустяк. Суущий пустяк. Как раз в день рождения супруги. Алим Алимич послал меня к сапожнику Ялику за новыми сапогами и велел к шести часам их принести. Я взял сапоги и пошел уже назад к Ахтыровым, но по дороге встретил Аксинью Тимофеевну и был задержан беседой с нею на очень короткое время, ибо я знал, что должен торопиться. Пришел к Ахтыровым в седьмом часу, минут десять седьмого. Алим Алимич встретил меня на крыльце. Он был воистину страшен. Таким страшным я его еще никогда не видал. Лицо белое, глаза красные, губы дрожат... Как увидел он меня — вырвал сапоги из моих рук, повалил на траву и этими самыми новыми сапогами меня по лицу-с... и по голове-с... в кровь... Бил молча, сцепив зубы, без единого слова. Я лежал, закрывал голову руками, и мысленно предполагал, чем все это может кончиться. Потом — то ли ему надоело, то ли он устал — бросил сапоги в кусты и побежал в одних портянках куда-то к Волге. Станный субъект, доложу я вам! — заключил Гриша, пожав худыми плечами.

Дед Северьян, несмотря на темноту, заметил на бледной физиономии Гришы следы сильных побоев.

— Впрочем, я не сержусь на Алима Алимича, — добавил Гриша, — если вздуматься поглубже, то странного-то ничего и нет: он был очень рассержен небывалой катастрофой, которая в мое отсутствие произошла в доме. Их супруга в гневе разбила все, все до последней чашки-с...

— Слышал я, Гриша, про это безобразие. Слышал. А вот тебя Алим — зря побил. Не дружи ты с ним, Гриша, — тихо предложил дед Северьян, внимательно вглядываясь в лицо собеседника, словно он его видел в первый раз. Вздохнул.

Гриша опустил глаза.

— Эх, Гриша, человеке ты Божий.

— Ну, я пойду-с, Северьян Михайлович... — тронулся было Гриша.

— Постой! — остановил его ста-

рик. — Жить у тебя есть на что? Деньги есть?

Гриша замялся.

— Раньше Алим Алимич с супругой поддерживали, а теперь... я боюсь обращаться к ним с подобной просьбой.

— Стой здесь и обожди меня! — приказал дед Северьян.

Он передал весла и подсад Грише и пошел назад к дому.

Гриша стоял позевывая и скучно посматривая по сторонам. Если бы старик вернулся только утром, то вероятно, застал бы Гришу в той же позе, с тем же безразличным равнодушием во всей фигуре. Но дед Северьян вернулся очень быстро и протянул Грише сторублевую бумажку.

— На, возьми...

— Спасибо.

Гриша Банный сунул бумажку куда-то за пазуху, торопливо попрощался, и боком, выбрасывая журавлиные ноги, покрался по обочине тропинки в гору.

XXIV

Ананий Северьяныч кое-как поправил дела: продал телка, большой отрез добротного сукна, купленный еще до революции лет двадцать назад и хранившийся в сундуке Ульяновны, да Кирилл прислал в конце сентября двести рублей. Денис регулярно отдавал свою зарплату отцу. Одним словом, Бушуев повеселел.

— Поскрипим еще, Ульяновна, стало-быть с конца на конец, поскрипим еще — говорил он, окрыленный надеждами и развивая в связи с этим невероятно кипучую деятельность. То он покупал в Татарской слободе смолу и перепродавал в Плесе, где смола стоила почти вдвое дороже, то уходил в город на постройку шоссе и бил там щебень, честно принося весь заработок до копейки домой, то, наконец, походя, воровал рыбу из чужих садков и продавал в городе. В дни его отлучек зажигали и тушили бакена либо Денис, либо Настя, если Денис вахтил на пристани. Ульяновна с утра до поздней ночи ткала новину.

Судьба два раза сталкивала Анания Северьяныча носом к носу со следователем Макаровым, которого

Бушуев боялся, как огня. Один раз — на улице в Отважном. Об этой встрече Ананий Северьяныч рассказывал отцу, когда ходил просить у него денег. Второй раз встретил он следователя в городе, возле здания Народного суда. Об этом Ананий Северьяныч считал нужным почему-то не говорить отцу, несмотря на то, что Макаров сказал довольно многозначительную фразу.

— Скоро, старичок, дельце-то выплывет на чистую воду.

Ананий Северьяныч мысленно перевел эти слова, как «скоро, старичок, папашу-то твоего того...» и испугался пуще прежнего.

— Меня еще запутают, окажные, — думал он, возвращаясь из города в Отважное, — а ну их к шуту! Надо, стало быть с конца на конец, подальше держаться от всей этой анафемской истории...

И не сказал никому ни слова.

Однако, угрозы следователя оставались только угрозами. Шел месяц за месяцем, а дело, в сущности, не трогалось с места. Макаров стал все реже и реже пугать людей допросами, а вскоре совсем перестал появляться и в Отважном и в Татарской слободе.

Дело за № 1035 было, до поры до времени, положено в архив.

XXV

...Дул крепкий низовой ветер. По Волге ходили свинцовые волны с белыми, шипучими, как змеи, гребенками, шумно накатывались на приплеск, жадно щупая каждый камешек, каждую ямку. Стояла глубокая холодная осень. Давно улетели грачи; по утрам голые тополя стучали, словно зубами, обледенелыми ветками и на лугах жидким студнем качался туман. Еще несколько крепких заморозков — и вьюжная русская зима белым лебедем опустится на землю.

Окончив вахту на пристани, Денис шел берегом реки домой. Он сильно изменился за последние месяцы: вытянулся так, что перерос на голову отца, стал шире в плечах, карие глаза потемнели, стали глубже, непонятнее, задумчивее; длинные руки окрепли и резко намечались круглые бицепсы; ломался голос и приобретал низкую

мужскую окраску. В январе Денису исполнилось семнадцать лет.

Засунув руки в карманы растегнутого короткого зипуна на бараньем меху, он шел тихо, вразвалку, любясь бушующей Волгой. Над далеким луговым берегом, над серой полоской леса горизонт был светлее, чище, казалось, что где-то там еще сохранилось летнее тепло, но чем ближе к Отважному — тем небо становилось темнее, лохмаче, и над головой Дениса оно было мутное, сырое, с тяжелыми иссиня-черными тучами. Одинокая лодка под парусом ныряла в волнах и казалась ненужной, но дерзкой. Опрокинутые ветром, боком летали молчаливые чайки, не рискуя нырнуть в пену волн за добычей. Село Отважное, прищелпнутое к земле пудовыми тучами, тоже посерело, выцвело, примолкло...

Стужа. Ветер. Тоска.

Волны слизнули с берега непривязанный хозяином ботник и били его о груды мокрых камней. Денис вытащил его из воды, крепко привязал ржавой цепью, болтавшейся на носу ботника, к коряге, и тронулся было дальше, но какие-то странные звуки за его спиной, напоминавшие не то хрип коростеля, не то поскуливание ушибленной собаки, заставили его обернуться. За пучком раскачиваемых ветром тальников, на каменистой тропинке, ведущей к колосовской бане, опутанной, как сетями, ветками безлистой бузины, сидел на земле Гриша Банный. Засаленная ватная поддевка пузырем вздулась на спине, на колени длинных, согнутых под острым углом, ног он положил вытянутые руки с бесильно опущенными кистями, похожими на два желтых увядших листа. Лицо он ткнул меж рук, на лысом кочковатом затылке мотались из стороны в сторону остатки рыжеватых волос. Вздернутые брюки обнажали тощие синие ноги, засунутые в растрепанные и грязные брезентовые туфли. Рядом с ним валялось коромысло и стояли, грустно наклонясь, два полных ведра.

У Дениса сжалось сердце.

— Гриша!... Григорий Григорьевич! — позвал он, приседая на корточки, — что с тобой?

Гриша Банный медленно поднял серое, как пыль, лицо, посмотрел

мутными глазами на Дениса и перевел их на бушующую Волгу.

— Холодно, Денис Ананьевич... сердце замирает... в гору подняться не могу. Воду надо снести, а нет совсем сил-с... совсем нет.

— Так пойдем я тебя домой отведу и воду поднесу.

— Благодарю, Денис Ананьевич. Но мне и встать-то сейчас будет тяжело... Посидеть надо, отдохнуть... Это ничего, пройдет... Посидеть надо.

— Ты плакал, Гриша? — спросил Денис, заметив следы слез на впалых щеках Банного.

— Нет-с... не плакал.

— А почему — слезы?

— Впрочем... я лгу... плакал...

— Зачем же ты?

— От бессилия... от слабости моей душевной, Денис Ананьевич. Странный, ведь, я человек: спустился на берег, зачерпнул воды, посмотрел на Волгу, на небо это и... заплакал. Взял и заплакал. Словно собака на луну. А тут еще сердце захолонуло, двинуться не могу...

— Значит, идти не можешь?

— Нет-с... Сейчас не могу.

— Тогда ты посиди, а я воду пока отнесу, — предложил Денис.

— Не трудитесь... я сам, — слабо запротестовал Гриша.

— Как это — сам? Вот еще! — строго сказал Денис и подошел к ведрам. — Куда их? К тебе в конуру?

— Нет, это не мне. Колосовы баню топят, мыться будут, так это для них. Им я воду носить нанялся, да только вот сил не хватает... — с горечью заключил Гриша, кладя опять голову на руки.

— Я за тебя поношу воду-то... Ты сиди, сиди. На-ко, вот, укройся еще моим зипуном.

Денис быстро сбросил с себя зипун, накрыл им плечи Гриши и, легко подняв тяжелые ведра, без коромысла пошел по каменной тропинке вверх. Тонкая сатиновая рубашка не защищала его от промозглого ветра, но он не чувствовал холода, он думал о Грише, перед глазами все еще маячила согбенная худая фигура. На горе шумно раскачивались могучие березы, а за ними, где-то еще выше, пьяненький отважинец тянул залившимся тенором:

... он близко к кладби-и-ишу

подхо-одит,

а там часы две-е-надцать бьют...

И казалось, что певец находится высоко, очень высоко, под самыми тучами, и оттуда посылает на землю слова и звуки печальной песни.

... широко двери растворяет —

стоит обитый-ый черный гроб...

Старая бревенчатая баня напоминала домик Бабы-Яги. Теперь, осенью, она казалась еще запущеннее, еще ветше и еще страшней. Из кирпичной полуразвалившейся трубы поднимался и сразу же разгонялся ветром седой, едкий дым. Ключья этого дыма повисали безобразными комьями на сучьях берез. Баню топили.

Обогнув гришин куток, Денис прошел мимо забрызганного грязью маленького, желтого оконца и подошел к покосившейся, с рассохшимися досками, некрашеной двери. Замка не было. Дверь на пол вершка отходила от косяка, следовательно, внутри кто-то был. Не выпуская ведер из рук, Денис носком сапога подковырнул снизу дверь, откинул ее и вошел в темный, пахнущий сыростью, предбанник.

На широкой лавке сидела полураздетая Манефа. На ней была только одна старая клетчатая юбка, которую она еще не успела снять. Увидев Дениса, она легко вскрикнула и, схватив черную кофту, прикрыла ею смуглую грудь. И странным, совсем не испуганным, а скорее удивленным голосом она тихо спросила:

— Ты, Денис? ... Зачем ты здесь?

Денис, удивленный не меньше ее, растерянный, стоял перед ней и был не в силах оторвать глаз от полного круглого плеча, белешего на фоне темной от сажи бревенчатой стены. Оно мучительно притягивало к себе, блестя гладкой шелковистой кожей. Он сразу вспомнил почему-то лето, покос, и лежащую на спине Манефу с порезанной и кровоточащей ногой.

— Гриша меня попросил воду принести... Он не может, болен... сидит там на берегу... — едва слышно выдавил Денис.

Она поймала его взгляд, подвинула руку с кофтой выше и закрыла плечо. Сдавленным, неестественным голосом сказала:

— Проходи... Там в углу кадка

с холодной водой стоит, вылей ведра туда... — и сильным ударом голый ноги она распахнула дверь в баню.

Денис согнулся, чтобы не стукнуть-ся головой о притолоку, перешагнул порог и прошел по гнилым скользким доскам к кадке. От духоты ли, наполнявшей баню или от напряженно стучавшей в висках крови — на лбу его засверкали бусинки пота. Голова кружилась. Как в тумане, он вылил воду в кадку и, поставив ведра на пол возле раскаленной печки, вернулся в предбанник.

Манефа сидела все в том же положении, крепко прижав к груди черную кофту. Но в позе, в лице, в глазах она была совсем другая, чем несколько секунд назад, когда только что появился перед ней Денис. Это была не гордая, капризная и властная Манефа, а безвольная, расслабленная и покорная женщина. Как это случилось и почему? Почему — Денис? При чем тут Денис, чужой ей сердцу мальчишка, о котором она никогда не думала и которого даже не замечала? Она этого не понимала, не могла дать себе отчета в этом. Она понимала одно, что все то, что заботливо сберегалось ею долгое время, что было последней крепкой нитью, связывающей ее с чем-то большим, прочным, как земля под ногами, дающим ей право на гордость и власть, — вот эта-то крепкая нить и должна была сейчас оборваться, и, что самое главное, она знала, что наверное должна оборваться, и именно сейчас, через несколько мгновений. Нелепую, страшную ступень предстояло ей перешагнуть. Так, бывает, стоит человек на мосту и ему безумно хочется броситься вниз с головокружительной высоты, и его тянет, неуклонно и настойчиво тянет сделать это. Он шарахается в сторону, бежит, но его кто-то хватает за плечи и отбрасывает назад, и он чувствует, что с этим-то невидимым, сильным, неумолимым, он бороться не может.

Она беспомощно, снизу вверх, смотрела на Дениса и просила его помутившимся взглядом не подходить, не прикасаться к ней... Это говорили глаза. Язык же сделался тяжелым, неповоротливым и не мог произнести ни слова. Руки дрожали, маленькие ступни ног, подвернутые под лавку, едва касались пальцами холодного

пола и не чувствовали, что им холодно. С остановившимся дыханием и стучащим, как маятник, сердцем, Денис сделал еще шаг, стал, касаясь коленями колен Манефы, нерешительно протянул руку, коснулся ее щеки и тихо провел пальцами по горячей коже. Он тоже не отдавал себе отчета ни в чем: ни в мыслях, ни в поступках. Все рождалось само собой, все подчинялось кому-то третьему, невидимому, но присутствующему где-то рядом. Денис знал, определенно, точно знал и видел, что если он подойдет к Манефе, обнимет ее, поцелует, то она не сделает ни одного движения, чтобы помешать ему. А она все больше и больше притягивала его к себе какой-то чудовищной и властной силой, не покориться которой не было возможности. Да он и не хотел не покоряться, он хотел покориться этой силе, к этому-то и стремилось все его существо.

Денис наклонился, сжал ее плечи сильными юношескими руками и прижал пересохшие губы к полуоткрытому сочному рту Манефы. Позабыв о кофточке, упавшей на колени, она стремительно обвила рукой его крепкую шею и притянула его к себе.

— Крючок... — растерянно шепнули ее губы, когда глаза заметили неплотно прикрытую дверь предбанника.

Денис, шатаясь, как пьяный, подошел к двери, хотел накинуть на петлю крючок, но резкий порыв ветра распахнул дверь настежь, бросил в предбанник ворох сухих листьев и пронзительно, как плакальщица, засвистел в дырявой крыше. И в облаке поднявшейся пыли Денис вдруг увидел в двадцати шагах от себя хрупкую маленькую фигурку, отчаянно защищавшуюся от ураганного ветра. Это была Финочка. Она шла в баню и несла на плече огромную корзину с бельем. Наклонив голову, она протирала свободной рукой засоренные песком глаза.

Денис беспомощно оглянулся на Манефу, хотел что-то сказать, но слова застряли в гортле, и он, смутно понимая, что делает, перешагнул порог и прыгнул под откос в кусты бузины.

— Зачем?... Не уходи! — слабо вскрикнула Манефа, вскакивая и бросаясь к дверям...

XXVI

Буря крепла. Холодный, сумасшедший ветер сорвал с кутка Гриши Банного лист ржавого железа и, протавив его по воздуху добрых сто метров, швырнул на камни. Тучи совсем опустились на землю. Треск стоял такой, словно при пожаре. Гигантская береза, что росла немного в стороне от бани, с грохотом повалилась, ломая тонкую молодую ольху на склоне оврага. Где-то хрипел пароход, где-то били в набат.

— Боже мой, что же это? Что же это? — шептал дрожащий и жалкий Денис.

Без шапки, без зипуна, с блуждающими глазами, он пробирался сквозь кусты, разрывая колючками рубашку, в кровь царапая ветками лицо и грудь.

А на берегу, уронив голову на вытянутые руки с кистями, похожими на увядшие листья, сидел по-прежнему неподвижно Гриша Банный и, казалось, не слышал ни рева волн, ни свиста ветра.

XXVII

Кричали петухи. За окном синел рассвет. Морозило. Тетка Таисия, сумрачная и сгорбленная, ополоснулась под скрипучим рукомойником, вытерлась жестким, как рогожа, полотенцем, сняла с гвоздя лестовку и прошла в моленную. Разноцветная дерюжка узкой полоской стлалась от двери к киоту. Темные лики святых в тусклых ризах смотрели холодно и неподвижно, и только в углу, где теплилась неугасимая лампадка, тусклый свет озарял лицо Богоматери и оно светлым, желтоватым пятном выделялось на темной стене. И здесь за окном синел рассвет, и синела кафельная печь возле двери.

Тетка Таисия поправила фитилек в лампадке, опустилась на колени и задумалась. Вчера был у нее и пил чай отец Сергей из Спасского. Жаловался, что притесняет его сельсовет, притесняет и прихожан и, кажется, просит городские власти дать разрешение на закрытие церкви для устройства там клуба. Это последнюю-то церковь в округе! Мало-ли раскулаченных крестьян, мало-ли домов опустелых, — так нет: надо обяза-

тельно в церкви устроить клуб. Чем молодежь по клубам гонять, лучше бы к вере приучали, а то растут, живут, а про Бога не вспомнят. Вот Манефа: ко всему, кажется, приучилась, и по-дому, и по-хозяйству, а в Бога заставить верить — так и не удалось матери. Лба перекрестить не умеет.

Тетка Таисия сокрушенно покачала головой и поправила дерюжку под коленями. За стеной заскрипела кровать и кто-то тяжело вздохнул. «Не спит. Все не спит, проклятущая» — подумала тетка Таисия. И чего с ней приключилось? Как пришла вчера из бани, как ночь темная, повалилась в кровать, так и не спит, ворочается. К мужу в Татарскую слободу не поехала, не пожелала, захотела у матери ночевать. Ох, Манефка! И в кого только ты уродилась?...

Опять покачала головой тетка Таисия, хотела было окликнуть дочь, спросить ее — чего не спит, но вспомнила, что неудобно в моленной думать о посторонних вещах, вспомнила за чем пришла и, перекрестившись двуперстным крестным знаменем, принялась шептать молитвы и перебирать, отсчитывать черные валики на лестовке. Молилась она долго, истово, с земными поклонами, молилась до тех пор, пока не рассвело совсем, пока на душе не стало легко и чисто, а в пояснице появилась ломота от земных поклонов.

Тихо притворив за собой дверь в моленную, она пошла в хлев дать корма скоту, но по дороге вернулась и зашла к дочери в маленькую угловую комнатку, смежную с моленной.

Манефа лежала одетая на деревянной кровати поверх лоскутного одеяла, лицом к стене. Голова ее глубоко ушла в пышную большую подушку с розовой наволочкой, черные волосы разметались, и жалко, беспомощно белела рука, закинута за спину.

У матери сжалось сердце. Она села на кровать возле дочери и погладила ее по волосам.

— Манечка... доченька... ну, скажи мне, что с тобой приключилось? Лежишь, молчишь... нераздетая с самого вечера. Ведь я тебе, все ж таки, мать. Ну, скажи, доченька, промолви словечко.

Давно, очень давно не слыхала Манефа от матери таких слов. Но не шелохнулась она, не двинулась. Только пальцы на руке чуть дрогнули.

— Поведай, доченька, что за горе на душеньке у тебя? И с мужем, как будто, помирилась. И на лад все, как будто, пошло. Нет, на тебе! Опять что-то стряслось. Уж я и Богу за тебя молилась...

Она помолчала, пошевелила сухими губами, порывисто обняла дочь и горячо поцеловала в висок, где под тонкой кожей билась синяя жилка. Манефа вздрогнула и глухо сказала, не поворачиваясь.

— Не надо, мамаша, не целуйте... не жалейте меня.

— Христос с тобой Манечка! Разве можно не жалеть тебя... Мать я тебе... Мать.

— Идите, мамаша. Оставьте меня одну.

Тетка Таисия утерла подолом черной юбки глаза, опустила, расправила его, склонила голову набок и обиженно проговорила:

— Ну вот, у тебя всегда один ответ: оставьте, да уходите. Слова путевого не скажешь.

— Идите, мамаша, — тихо повторила Манефа и повернулась, легла на живот, плотно прижав лицо к по-

душке, как-бы показывая этим, что разговор окончен.

Мать встала и злобно, с хрипотцой бросила:

— У-у... бесстыжая.

И, шаркая бахилами, пошла в хлев.

Манефа несколько секунд лежала тихо, потом всхлипнула и вдруг заплакала тяжелым, захлебывающимся плачем. От рыданий вздрагивала спина и плечи. Положенные под грудь руки она вытащила, вытянула их вдоль тела ладонями вверх, словно освобождала себя для того, чтобы полнее отдаться наплыву горьких чувств. Вдруг, оборвав рыдания, словно проглотив их, она спрыгнула с постели и босая, расстрепанная, с мокрыми блестящими глазами побежала из комнаты, тыкаясь во все углы, как слепая.

Рывком открыла дверь в моленную, бросилась на колени, сжала руками голову и почти прокричала, не узнавая и страшась своего голоса:

— Господи! Прости меня, Господи!

А за окном шел снег, и светлые пушистые снежинки мягко и тихо ложились на холодную, каленую землю. И на небе, еще светила непотухшая звездочка.

Конец I части

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Журавли

Сухая осень расцветает
Весны заманчивей вокруг,
Но журавли вернее знают,
Зачем летят они на юг.

Порядкам старым журавлиным
Верна крылатая семья:
Летит она привычным клином
В иные, теплые края.

И мне все кажется, что стая,
Пунктиром небо прочертя,
Летит, о прошлом не мечтая,
Не сожалея, не грустя.

И в этом вся наука ныне —
Лети — и больше ничего!
Вот хитрость счастья на чужбине,
Премудрость жизни кочевой...

Погас закат за тополями
От дуновенья темноты...
Ну, что ж — прощайся с журавлями,
Чей след уже теряешь ты,

Но верь: затем и не погиб ты
На пустырях чужой земли,
Чтобы тебя еще смогли,
Летя обратно из Египта,
Весной окликнуть журавли.

* * *

Послевоенные поля
Слегка забеливает иней,
И опустевшая земля
Нам неба кажется пустынной.

И никнет мир в печальный срок,
Как переломленное знамя,
И черепа у всех дорог
Из подо лба следят за нами.

И кажется, что мертвецы
Узнали больше, чем живые, —
Они глядят во все концы,
Бессменные сторожевые,

И сторожат последний час,
Неумолимый и унылый,
Когда сомкнется мир для нас
Тесней, чем братская могила.

Поэт

... И Слово стало плотью...

Пока еще не пробил срок,
Оно весь мир в себе вмещало.
И Слово означало — Бог:
Всему причина и начало.

Но вот, по воле Божества,
Застывшей плотью стало Слово...
И ты явился в мир, чтоб снова
Перековать его в слова.

ТРАУРНЫЙ МАРШ

Памяти Ф-ва

Он был пророк, но мир его не понял.
Безумцем признан знаменосец Бурь!
Презрения, как молнии, уронят
Горячий свет на жалкую судьбу.

Давно забыт искатель формы новой.
С презрением всех он вел борьбу один.
Не видит мир, распять мечту готовый,
Отчаянья оплеванных картин.

Но вечен дуб, склонивший над оконцем
Зеленые колчаны желудей.
В первичной клетке тоже светит солнце,
Раскинувшее тихий блеск лучей.

Жизнь разложив на клетки осторожно,
Он создавал степей родных подир,
Чтоб распознать великое в ничтожном
И в чахлой травке видеть звездный мир.

Водила смерть его карандашами;
Он пил тоску поруганных икон...
В его альбомах правит мятежами
Грядущих войн безжалостный дракон.

Подходит скорбь к поломанной ограде.
Где стаи лип и посинелый пруд...
Его друзья в горящем Ленинграде
Досчатый гроб на кладбище несут.

Ряды крестов упали на колени.
Колокола отходную поют.
Высоких лип обугленные тени
Как упыри, вдоль кладбища бредут.

Глухие звоны смешаны с укором
И, как снежинки, падая на гроб,
Рыдают над художником, который
На горечь мира смотрит в микроскоп.

Он захотел, чтоб кисть была крылатой! .
Ведь мысль его народ тогда поймет,
Когда один осатанелый атом
На дымный воздух нашу жизнь взорвет.

И в этом есть ирония награды
За радость жизни и кошмары снов,
Что сумасшедший дворник Ленинграда
Постиг закон крушения миров.

1947 г.

НОВЕЛЛА О ТАНКЕ

Танк приближался... Дмитрий Николаевич растерянно оглянулся, инстинктивно ища взглядом, куда-бы спрятаться. Но на ровной поверхности выжженной солнцем степи не было укрытий. Да и было поздно: приподняться сейчас из ложбинки значило неминуемо обнаружить себя и подставить голову под огонь танкового пулемета. Можно было только прижаться к земле и застыть, смотря, как медленно подползает танк, неся завершение их двухдневным скитаниям...

Два дня они шли, отступая на восток. Шли беспорядочными группами по пять, шесть, десять человек, из разных рот, полков и дивизий. В некоторых группах были командиры, но споров петлицы, выбросив кубики и шпалы, а многие и переодевшись в красноармейскую форму, сейчас они ничем не отличались от солдат, движимые одним со всеми чувством. В беспорядочном бегстве не было ни приказов, ни управления, — всеми управляло одно чувство — страх. От группы к группе ползли слухи, заставлявшие сжиматься сердце: немцев видели за двадцать километров впереди... Вчера здесь прошли немецкие танки... Слухи, один другого тревожнее, вносили в растерянных людей еще большее смятение, отнимая обрывки смутных, неясных надежд на спасение, на уход, — даже, как будто-бы, не от немцев, а от чего-то, что гналось по пятам, то перегоняя людей, то обходя их, выражаемое коротким, безжалостным, леденящим: «отрезали...», «обошли...». В пути кое-кто оставался в селах, прячась у крестьян, многие отставали, что-бы сдать немцам в плен, но большинство продолжало идти, часто не отдавая себе отчета в том, что заставляет их уходить, что управляет ими, но все-же упорно двигались дальше на восток...

Дмитрий Николаевич шел с Ленькой, двадцатилетним слесарем из Харькова, с которым они в одно время были призваны и попали в один полк, а в нем в одну роту и взвод. К Дмитрию Николаевичу, учителю математики, Ленька питал глубокое уважение откровенного невежды и старался помогать ему в трудностях фронтовой жизни, а со смущением принимавший заботы младшего товарища, Дмитрий Николаевич не только был благодарен Леньке, но и искренно восхищался им: неумелый в практической жизни, учитель математики часто становился в тушиках там, где Ленька, казалось, с непостижимой легкостью выходил из положения. Беззаботный и веселый, умевший и песню спеть и на гармошке поиграть, неунывающий Ленька вносил в жизнь взвода ту бездумную легкость, без которой, может быть, для Дмитрия Николаевича новая, военная жизнь была-бы невыносимой...

Два дня назад, когда на их позиции обрушился с неба бомбовый ад, а вслед за ним, изрыгая пушечный и пулеметный огонь, неистово грохоча и сея гусеницами смерть, на позиции ринулись сотни танков, произошло что-то, чему Дмитрий Николаевич не смог-бы подобрать определения. Разгром, поражение? Разве эти, ставшие привычными и шаблонными слова могли объяснить происшедшее?

Пропусту все рушилось. Не стало фронта, позиции, их взвода, роты, полка, все распалось, уничтоженное или рассеянное танками. Не стало вчерашнего порядка, вооруженных, подчиненных одному людских масс, а остались только расстроенные, разрозненные, безоружные кучки в пять, шесть, десять человек, кажется уцелевшие только чудом, и теперь в страхе, движимые непонятным ин-

стинктом, стремящиеся на восток. И всеми владело такое чувство, что рушился не только их участок, не только те полки, дивизии и корпуса, которые занимали этот участок, но что рушилось вообще все, весь фронт от Балтики до Черного моря, а одновременно рушилось и что-то гораздо более важное, чем один их участок и что теперь уже нет и не будет возможности спасти и поправить положение...

Сначала они шли вшестером, еще с четырьмя красноармейцами их полка, но к вечеру первого дня двое красноармейцев отстали, оставшись в селе; уже только четверо шли ночь, не останавливаясь, а утром отстали еще двое, решив сдаться немцам в плен. Когда, на отдыхе, они стоваривались об этом, Ленька подошел к сидевшему немного поодаль Дмитрию Николаевичу и сказал:

— Остаются, Дмитрий Николаевич. К немцам хотят.

Учитель посмотрел на притихшего в эти дни Леньку:

— Что-ж, пусть остаются. Мы им не командиры. Может—и ты хочешь остаться?

Ленька отвел глаза, сильнее нахмурил брови:

— Мне, может, все равно, — тихо ответил он. — А вы как думаете, Дмитрий Николаевич?

Учитель ответил не сразу, подумав, что вопрос о возможности сдачи немцам в плен как-то не приходил ему в голову. Полтора дня он шел, не останавливаясь, усталый, грязный, неся в груди опустошение и растерянность, уходя от того, что смяло и разрушило пусть не нормальную, может быть, не имевшую смысла, но все-же протекавшую в определенном порядке военную жизнь. Он уходил от хаоса разрушения и смерти, а не от немцев, может быть, о которых совсем не думал. Дмитрий Николаевич, глубоко аполитичный человек, занятый больше математикой, не любил политики и старался, насколько это было возможно в окружавшей его жизни, сторониться всего, что выходило из области его занятий. Он видел, что и его и окружавших его людей жизнь тяжела, неустроенна, было-бы хорошо, если-бы эта жизнь изменилась, стала нормальной и более спра-

ведливой, но при чем тут он, Дмитрий Николаевич? Нет, конечно, он не собирается защищать эту жизнь и если он сейчас идет на восток, уходя от хаоса, то все-же не может быть речи о том, что-бы сдаться немцам в плен добровольно... Чувствуя странный разлад в мыслях, Дмитрий Николаевич смутился, ему стало неловко от того, что он думает о возможности сдачи в плен немцам.

— А я, Леня, дальше пойду, — виновато сказал Дмитрий Николаевич. — Ты извини, брат, в этом деле советовать нельзя. Тут каждый сам за себя решать должен.

Дальше они пошли уже только вдвоем...

В первый день по проселкам и в степи, без дорог, о бок с ними шло много таких-же групп; группы часто сливались вместе, вытягиваясь по степи цепочками, потом снова растеклись на отдельные ручейки. Иногда их обгоняли автомашины, часто встречались им брошенные, груженные продовольствием или боеприпасами грузовики, оставленные повозки, орудия. Иногда в небе появлялись два, три, пять вражеских самолетов, — люди поспешно бросались на землю, напряженно вслушиваясь в гул моторов и в глухо рокочащие в небе пулеметы, посылавшие на землю смерть. Позади и на севере, обгоняя людей, клубились дымные тучи пожаров, усиливавшие в душах тревогу и беспокоество... Но на второй день, когда они остались вдвоем, ручейки истаяли, исчезли, и они шли в безбрежной, широко раскинувшейся бурой, выжженной солнцем степи одни и только иногда на горизонте еле заметными точками проползали такие-же как и они группки, двигавшиеся в том-же направлении...

Присмиривший, молчаливо нахмуренный Ленька шел босиком, ноги его уже привыкли к сухой, колючей траве. Но Дмитрий Николаевич не мог разуться, хотя тяжелые армейские ботинки давно растерли ему ноги и он ощущал их сейчас, как деревянные, привязанные к лодыжкам. Еще в первый день они бросили бесполезные, ненужные больше винтовки, вещевые мешки, противогазы и шли налегке, но за полтора дня беспрерывной ходьбы болели не только

ноги, но ныло, ломило и спину и грудь.

В безоблачном, светло сером, словно тоже выжженном небе солнце висело нестерпимо раскаленным шаром, нещадно палившим землю. Неподвижный горячий воздух жег лицо, руки, и Дмитрию Николаевичу казалось, что тело его размягчается, будто расплываясь в удушливой жаре, а повергнутый в смятение мозг задержан плотной пеленой. Вяло передвигая по потрескавшейся земле ноги, он тупо думал, пытаясь объяснить происшедшее в эти дни.

Дмитрий Николаевич, математик, материалист, упорно пытался думать, что в происшедшем нет ничего ни нелогичного, ни неестественного. Все дело, вероятно, только в том, что у одних оказалось на столько-то сотен или тысяч штук больше танков, самолетов, орудий; тонны стали, свинца, взрывчатых веществ, которых не имели одни, но имели другие, уничтожили тысячи людей, а в другие тысячи вселили смятение и страх, и заставили их рассеяться, бежать, течь по степи ручейками, уходить, как уходит он, Дмитрий Николаевич, еле передвигая отказавшиеся повиноваться ноги. Все дело, в конце концов, в числах: одни из них оказались больше, чем другие. И смятение, которое он так же, вместе со всеми, несет в себе, порождено этими же, оказавшимися более высокого порядка, числами, внесшими сумятицу в окружающее и в его, Дмитрия Николаевича, мысли... Нет, конечно же, ничего не изменилось, вот только-бы подул ветерок, это солнце сведет с ума. И Леня совсем разомлел от жары, на него, беднягу, все это так действовало, что он даже притих... Чужак, спрашивал, что я думаю о сдаче немцам в плен. Нет, нет, мне нечего думать, мне надо только итти. Но что я буду делать с ногами? Завтра, пожалуй, я не смогу итти. Что же тогда, а? Что тогда?.. Вяло ворочавшиеся мысли путались, обрывались, и Дмитрий Николаевич смутно чувствовал, что, хотя ничего не изменилось, он не может отделаться от неясного, неуловимого, владеющего им беспокойства...

К ночи он обессилел совсем. Они сели отдохнуть, Дмитрий Николаевич лег, вытянув распухшие ноги, а

когда попытался встать, то не мог подняться.

— Может, отдохнем ночь? — предложил Леня.

— Нет, нет, Леня, надо итти. Ты помоги мне, пожалуйста, встать, я опять пойду, я разойдусь.

Ленька приподнял Дмитрия Николаевича. Сначала неуверенно, опираясь на плечо друга, Дмитрий Николаевич сделал шаг, другой и медленно заковылял дальше.

По южному быстро опустилась ночь. Но она не принесла облегчения: казалось, земля в ночи была укутана в плотный, тяжелый полог. Сверху отчужденно, не светя, мерцали большие, лохматые звезды, небо позади и на юге алело багровым заревом, а нагретая за день земля трудно дышала жаром. Под пологом было по-прежнему душно, Дмитрий Николаевич задыхался, обливаясь потом, едва передвигая неподъемные, пудовые ноги. Спускаясь с пригорка, он споткнулся, упал и остался лежать, не пытаясь подняться. Ленька нагнулся к нему, потом осмотрелся по сторонам.

— Ты, Леня, иди, а? Иди, а я отдохну, — проговорил Дмитрий Николаевич.

— Погодите минутку. — Ленька встал, пошел вперед. Его кошачьи глаза увидели что-то черневшееся невдалеке. Он спустился в неглубокую ложбинку, там стояли две брошенные повозки. Заглянув в них, Ленька увидел в одной кипы одеял, связки ботинок, брюк, а другая была нагружена деревянными ящиками. Наверное, ездовые выпрягли коней и уехали верхами. Но если они уехали так поспешно, значит где-то близко проходили немцы? Стало-быть немцы обогнали их... Ленька остановился было в нерешительности, но раздумывать было нечего: он видел, что Дмитрий Николаевич дальше итти не может. Быстро вернувшись, Ленька взвалил неподвижно лежавшего Дмитрия Николаевича на плечи и принес к повозкам.

— Мы, Дмитрий Николаевич, заночуем здесь. Отдохнем, а утром пойдем. Ничего, мы, наверное, километров сто отмахали, теперь не опасно.

— Думаешь, не опасно?

— Что-же тут опасного? Все равно, я тоже устал. Мы сейчас себе постели соорудим панские, выпьемся, а завтра вам другие ботинки найдем, тут их много. Ну-ка, давайте эти снимем, отдыхайте как следует.—Ленька расшнуровал ботинки Дмитрия Николаевича, но когда попытался их снять, Дмитрий Николаевич застонал от боли. Кое-как вдвоем они стянули ботинки.

Ленька сбросил с повозки две кипы одеял, разрезал стягивавшие их веревки и расстелил одеяла на земле.

— Вот, ложитесь, постель готова. — Дмитрий Николаевич лег и тотчас-же погрузился в тяжелый сон.

Надеясь найти что-нибудь съестное, Ленька подошел к повозке с ящиками, снял один ящик на землю, поднял неприбитую крышку, — там оказались ручные гранаты. Он влез в повозку, но в ней были только стандартные, военные ящики, наверное, с гранатами, патронами или другими боеприпасами. Вырутавшись, Ленька слез на землю и тоже лег, рядом с Дмитрием Николаевичем...

Проснувшись на другой день, Дмитрий Николаевич увидел, что солнце стоит уже высоко над головой. Над бурой степью вдали снова колыхалось знойное море. Передвинув голову в тень от повозки, Дмитрий Николаевич посмотрел на свои ноги: они распухли, превратились в бесформенные, безобразные обрубки; сквозь черную грязь багровели растертые в кровь ссадины.

Рядом крепко спал Ленька, раскинувшись на разостланных одеялах. Его темное лицо строго осунулось, нос заострился. Дмитрий Николаевич посмотрел на бурую степь и тоскливо подумал о том, что надо вставать, опять идти под пылающим солнцем, по раскаленной, потрескавшейся земле... Куда, зачем?... Он неприязненно посмотрел на небо, к солнцу, но тотчас-же усмехнулся:

— Кажется, я уже и солнцем доволен. Как будто-бы на него можно кому пожаловаться...

Нет, причин к недовольству не было. Против логики не пойдешь. Танки, смерть, смятение, страх — все это логично, все это можно объяснить. Он вдруг поднялся и сел, охватив руками колени: а кому нужно это объяснение? Леньке? Ему,

Дмитрию Николаевичу? Тем, что остались лежать там, под этим-же палящим солнцем, разорванные бомбами на куски или раздавленные танками? Нелепость, бессмыслица, ерунда... Но все-же я участвую в этой ерунде, вместо того, что-бы остаться здесь и уйти от бессмыслицы, я иду туда, где меня снова заставят участвовать в ней. Почему я иду туда?

— Впрочем, это тоже понятно, — машинально прошептал он, — родина, страна отцов, этого-же ничем не вытравить. Если-бы это были немцы, а другие, я все равно-бы шел к себе...

Над степью стояла неподвижная тишина. Она начиналась где-то высоко, под солнцем, у бледного, выцветшего, без единого облачка неба, спускалась на землю и погружала степь в жаркую, душную дрему. Воздух вокруг застыл и не шевелился. Изредка поскрипывали кузнечики, но скрип их не нарушал тишины, а, казалось, только увеличивал ее.

Дмитрию Николаевичу сделалось почему-то жутко. Высохшая, безмолвная степь, неумолимо палящее солнце, они одни в этом знойном, изнуряющем безмолвии, в безбрежной степи... Одни? Но почему у него такое ощущение, будто эта тишина наполнена чем-то невидимым, неуловимым, но почти осязаемым, что заставляет его испытывать необъяснимое беспокойство и страх?... Ухватившись за край повозки, Дмитрий Николаевич поднялся на ноги, осмотрелся. Бурая, выжженная, волнисто поднимающаяся и опускающаяся пустыня, тишина. Слышно, как дышит во сне Ленька.

— Навождение какое-то, сумасшествие. Чего я волнуюсь?..

Наверное нервы, после пережитого, расстроились совсем. Надо взять себя в руки. Ничего нет, нигде ничего нет, — успокаивал себя Дмитрий Николаевич, растерянно опускаясь на землю... Вот только-бы понять, объяснить... Но то, что наполняло собой воздух, что прошло перед Дмитрием Николаевичем в последние два дня, почему-то оказывалось странно неуловимым и непонятным.

Он посмотрел на Леньку и подумал, что надо его разбудить, пора идти дальше. Вот только с ногами. —

как-же я пойду? — опять растеряно подумал Дмитрий Николаевич, недоуменно смотря на безобразные ступни ног. В этот момент он и услышал неизвестно откуда и когда возникший приглушенный, неторопливый рокот. Подняв голову, Дмитрий Николаевич прислушался.

Звук шел, казалось, из земли. Однотонный, глухой, он медленно нарастал, придвигался; сначала было похоже, что кто-то далеко чем-то постукивает, трещит, однообразно, как в деревянную трещетку. Дмитрий Николаевич тревожно озирался, чувствуя, как вместе с приближением однотонного треска растет в его груди тревожное беспокойство, он тщетно смотрел в пустую попрежнему степь. Звук рос, уже можно было различить как будто осторожное, звякающее, железное гремяние. Вот уже слышен отчетливый лязг и грохот железа... С похолодевшей грудью и замершим сердцем Дмитрий Николаевич приподнялся, широко открытыми глазами озираясь вокруг.

Из за бугра, спускаясь с которого Дмитрий Николаевич вчера упал, показался танк. Сначала под бугром выросла башня, потом поднялся корпус, и танк четко вырисовался на гребне, на фоне бледного, выцветшего неба. Перевалив гребень, танк медленно пополз вниз, прямо к повозкам.

Оцепенев, Дмитрий Николаевич не отрывал взгляда от танка, возникшего, как привидение. Буро-зеленый, он медленно полз, должно быть, на первой скорости, но с каждой секундой приближался все ближе к повозкам... Очнувшись, Дмитрий Николаевич поспешно пригнулся; объятый ужасом, он торопливо обернулся направо, налево, забыв, что спрятаться все равно негде. Потом трясущейся рукой затормозил Леньку:

— Леня, Леня... — шепотом звал он. Ленька открыл глаза, посмотрел, куда показывал Дмитрий Николаевич и тотчас-же понял, что надвигается на них. Как пойманный зверек, он метнулся в сторону, потом дернулся назад и посмотрел в серое, мертвое лицо Дмитрия Николаевича: — Конец?.. Точка?.. — мгновенно тоже бледнея, прерывисто выдох-

нул Ленька. Он зачем-то приподнялся, но Дмитрий Николаевич пригнул его рукой к земле:

— Лежи!..

Танк приближался. Уже ясно видно дуло пулемета, направленного прямо на них... Дмитрий Николаевич судорожно передохнул, горло его сжала спазма, ему не хватало воздуха... Почувствовав под рукой, что Ленькино плечо дрожит, он повернул голову.

Лицо Леньки потемнело, оно было искажено страхом, злобой, бешенством. Широко раскрытые глаза помутнились, стали водянистыми, зрачки расплылись в жидкости глаз. Из искривленных губ вылетали отрывистые звуки:

— А-ва-а-а... — не то бормотал, не то выл Ленька. Безумей сам, Дмитрий Николаевич мельком подумал, что Ленька сошел с ума.

— А, гад, па-ра-зит, — стучал зубами Ленька, в бессильной ярости царапая пальцами землю, дрожа, как в лихорадке. На секунду он затих. Оглянувшись, потом неожиданно вертикальным движением освободился от руки Дмитрия Николаевича, порывисто откинул крышку стоявшего рядом ящика, снятого им вчера с повозки, вытащил из ящика несколько гранат. Забегал глазами по земле, схватил веревку, которой были связаны вчера одеяла.

— Ты что, Леня? — трясущимися губами спросил Дмитрий Николаевич.

— А-а, я сейчас... Я ему, гаду... — стуча зубами, выдыхал Ленька. Торопливо связав пять гранат, как их учили: четыре в одну сторону, а пятую, с высывающейся наружу ручкой, в другую, Ленька сунул руку в карман гимнастерки, достал оттуда капсюль и вставил его в одну из гранат. Ухватив связку в правую руку, Ленька повернулся к Дмитрию Николаевичу.

Лицо Леньки светилось огнем восторженной ярости. Снова потемневшие глаза блестели угольками зрачков, как тогда, когда пел Ленька захватские песни или отплясывал во взводе трепака. Но сейчас эти глаза были напоены жгучим восторгом отчаяния. Будто на прощанье кивнув Дмитрию Николаевичу, Ленька ска-

зал, с трудом разжимая сцепленные зубы:

— Вы лежите, лежите, я сейчас... — и пополз из ложбинки навстречу танку. Дмитрий Николаевич схватил было его за гимнастерку, пытаясь задержать, но Ленька настойчиво оторвал руку учителя и быстро выполз из ложбинки. Приподняв голову, замерев, Дмитрий Николаевич смотрел за ним.

Танк приближался. Погромыхивая гусеницами, он полз уже не более, чем в тридцати метрах от повозок. Дмитрий Николаевич увидел, как, наклонившись, пулемет танка установился ему в лицо. Он поспешно прижался к земле.

Дмитрий Николаевич еще услышал, как застрочил пулемет, решета стоявшие позади повозки. Оглушительный взрыв заставил пулемет замолчать. Вслед за взрывом над степью снова встала мертвая тишина...

Медленно, боясь того, что он может увидеть, Дмитрий Николаевич поднял голову. Танк горел. Он стоял, немного наклонившись вперед, точно уткнувшись в землю, а из под него и впереди, с боков, из смотровых щелей валил густой, черный дым. Дмитрий Николаевич увидел, как откинулась крышка верхнего люка, из него показался танкист, хотел вылезти из танка, но бессильно повис на борту, в клубях дыма и пламени. А между танком и ложбинкой Дмитрий Николаевич увидел неподвижно лежавшего Леньку.

Не думая о том, что танк может взорваться, Дмитрий Николаевич на четвереньках пополз к другу. Лень-

ка был мертв. Он лежал лицом вниз, в спутанных, запорошенных землей волосах виднелась кровь. Левая рука была подвернута под грудь, а правая безжизненно откинута в сторону.

Дмитрий Николаевич сел около Леньки, положив руку на спину трупа. Глаза учителя были полны слез, они струились у него по лицу, но он их не замечал. Дмитрий Николаевич порывисто дышал, он то поднимал, то опускал голову, растерянно озирался по сторонам, не зная, что ему сделать. А сделать что-то было нужно непременно, обязательно, он не мог так, чем-то не отметив, оставить здесь своего друга, спасшего ему жизнь, он не мог в своих мыслях, в сердце, в душе не сделать чего-то, чего требовала от него Ленькина смерть и чего требовала от него жизнь, которую он тщетно пытался объяснить полчаса тому назад. Дрожащей рукой Дмитрий Николаевич провел по непокрытой голове, точно снимая шапку, пальцы правой руки неумело сложились в троеперстие. Неуверенным движением Дмитрий Николаевич поднял руку, коснулся троеперстием лба и широко перекрестился. Потом встал на колени и начал горячо молиться за своего молодого, погибшего друга, за смятенных, растерянных людей, за ослепленный мир, — молиться, не крестясь, одним чувством, без слов, без молитв, забытых им за долгие годы безверия...

Солнце попрежнему раскаленным шаром висело над горящим танком, трупом Леньки, затерянными в безбрежии бурой, широко раскинувшейся, выжженной степи...

СТИХИ

ВЕСНОЙ

Волна — как яркий блеск драеной меди
Сквозь чуткий сон шумит речной камыш.
И облака, как белые медведи,
Ползут по льдинам черепичных крыш.

На кленах пухнут бархатные хлопья —
Подушки мягкие на лапках злых котят,
А ночью, словно брошенные копы,
Тугие хосяки грустящих птиц летят.

В такую ночь люблю бродить полями,
Вдыхая терпкий запах прелых трав,
Люблю прилечь в бурьян под тополями,
До сладкой боли в мускулах устав.

Звезда порой искристую дорогу
Прожжет, упав сразмаху в бесконечность...
В такую ночь душа стремится к Богу,
И слышится, как мерно дышит вечность...

Б. Тополев

РАСТРЕЛЛИ

(Из цикла стихов «Петербург»)

Заржали криворотые холопы,
Визжит гармоника, влюбленной, злей
А в сердце переплет кровавых змей —
Картушей — и колонн двойные стопы.

Оскален рот у алчущей Европы.
Блестят огни рельефов и камней,
Легенда светозарная камней
И густо-позлащенных лестниц скопы.

О, невозвратная расцветка дней!
Пролей на нас живительный елей,
Великий чудодей камней Растрелли!

И успокой средь боевых огней
В стране кровавых бурь, седых метелей
Цареубийц, юродов и детей.

Б. Филиппов

СЕРБСКИЕ НАРОДНЫЕ БЫЛИНЫ

Сербский народный эпос, «открытый» Ранке и его последователями в начале XIX века, привлек к себе внимание всего культурного мира.

О сербских песнях с восхищением отзывался Гете. Пушкин начал изучать сербский язык лишь для того, чтобы в оригинале познакомиться с безымянным творчеством сербского народа.

Если сербская художественная литература еще не дала ни одного имени мирового значения, то сербский эпос — драгоценность, которой сербы по праву могут гордиться.

Два перевода былин, предлагаемых вниманию читателя, относятся к так называе-

мому «косовскому» циклу сербского эпоса. В 1389 г., 15-го июня, в день св. Вида, на равнине, называемой Косово Поле, произошел бой между сербами и турками. В этом жестоком бою сербы потерпели поражение от вчетверо сильнеешего неприятеля. Сам предводитель сербов, удельный князь Лазарь Хребельянович, взятый турками в плен, был обезглавлен. Церковью этот князь-мученик был причислен к лику святых; народ в своих песнях часто его называет не только князем, но и царем, отдавая этим должное величию его духа.

Упомянутая в другой былине мать Юговичей, по легенде — сестра князя Лазаря.

Переводчик

СТИХ О КНЯЗЕ ЛАЗАРЕ И О ЦАРСТВАХ ЗЕМНОМ И НЕБЕСНОМ

Сизый сокол-птица полетела
От святынь от иерусалимских,
И несет она синицу-птицу.

Не была то сизый сокол-птица,
Это был пророк Илья-святитель.
Он не нес с собой синицу-птицу,
Грамоту он нес Пречистой Девы.
Он ее на Косово приносит,
Государю на колени ложит,
Грамота сама возговорила:
«Княже Лазарь, честного колена,
Ты какое ли повoliшь царство?
Царство ли небесное ты хочешь,
Или хочешь ты земное царство?
Коли хочешь ты земное царство,
То седлай коней, крепи подпруги!
Витязи, берите в руки сабли
И на турок в сечу вы бросайтесь,
Все турецкое поляжет войско!
Коль небесному ты волишь царству,
Ты воздвигни на Косове церковь,
Пусть не красит ее стены мрамор.
Чистым шелком крой их и скарлатом.
Причасти и обряди в ней войско;
Все твоё поляжет, княже, войско,
С ним и сам ты, государь, погибнешь».

Царь слова выслушивает эти
Передумывает мысли многи.

«Милый Боже, на что мне решиться?
И к какому привергнуться царству:
Царство ли небесное мне выбрать,
Или выбрать мне царство земное?
Если выберу себе я царство,
Выберу себе земное царство,
То премалое царство я выберя,
А небесное вечно во веки».

Восхотел царь небесное царство
Пуще малого царства земного,
И воздвиг он на Косове церковь.
Не украсил ей мрамором стены,
Чистым шелком их крыл и скарлатом,
Сербского зовет он патриарха,
И владык с ним великих двенадцать,
Причащает, обряжает войско.

СМЕРТЬ МАТЕРИ ЮГОВИЧЕЙ

Милый Боже, великое чудо!
Как собралось на Косово войско,
Девять Юговичей в этом войске,
С ними старый Юг-Богдан десятый.
Бога молит Юговичей мать,
Дал бы Бог ей очи соколины,
Дал бы крылья белы лебедины,
Улетела б на Косово Поле,
Девять Юговичей увидала б.
Десятого старого Богдана.
Что молила, Бога домолила:
Бог послал ей очи соколины,
Дал ей крылья белы лебедины,
Полетела на Косово Поле,
Видит девять Юговичей мертвых,
Десятого старого Богдана.
А над ними девять копий ратных,
Девять соколов сидят на копьях,
Возле копий девять добрых коней,
Возле коней девять львов сердитых.

И заржало девять коней добрых,
Девять львов залаяло сердитых,
Девять соколов заклекотало.
Мать тут сердце твердым сохранила,
Ни одной слезы не обронила,
Но забрала девять добрых коней
И забрала девять львов сердитых.
Девять соколов с собой забрала,
Возвратилась в белые палаты.

Как ее увидели золовки,
Выбежали сразу к ней навстречу,
Девять вдов тут горько зарыдало,
Девять тут заплакало несчастных;
И заржало девять добрых коней,
Девять львов залаяло сердитых,
Девять соколов заклекотало,
Мать тут сердце твердым сохранила,
Ни одной слезы не обронила.

Ночью, о полуночи как было,
Вдруг заржал Демьянов конь буланый.
Кличет мать Демьянову любу:
«Золовушка, Демьянова любя,
Отчего ржет Демьянов буланко,
То ль отборной пшеницы он хочет,
То ль холодной воды со Звечана?».
Отвечает Демьянова любя:
«Ой, свекровушка, мать Демьяна,
Он не хочет отборной пшеницы,
Ни холодной воды со Звечана,
Издавна Демьяном он научен
До полуночи просом кормиться,
От полуночи в путь снаряжаться,
Господина теперь ему жалко.
Что его на себе не примчал он».

Мать тут сердце твердым сохранила,
Ни одной слезы не обронила.

Потру, как заря занялася,
Прилетело два ворона черных;
По ключицы их крылья кровавы,
Клювы белою пеной покрыты.
Принесли они витязя руку,
На руке той перстень золоченый,
Они матери бросили руку.

Взяла руку Юговичей мать,
И разглядывать стала прилежно.
Призывает Демьянову любу:
«Золовушка, Демьянова любя,
Не узнала ль бы ты эту руку?».
Отвечает Демьянова любя:
«Ой, свекровушка, мать Демьяна,
Ведь рука-то нашего Демьяна,
Потому что узнала я перстень;
Перстень тот был со мной на венчаньи».
Взяла мать Демьянову руку
И разглядывать стала прилежно,
А потом ей промолвила тихо:
«Ты рука ли, яблоко зелено,
Где росло ты, и где оторвалось!
На моей ты груди выросло,
Оторвалось на Косовом Поле!».
Тут у матери сердце живое
Разорвалось от жалости-горя
За своими девятью сынами,
Старом Юге-Богдане десятом.

Перевел с сербского
Александр НЕЙМИРОК.

Застигнутый посреди дороги

(Памяти Максимилиана Волошина)

Поэт и художник — не простые смертные. Они — избранные. «Нас мало избранных», — говорит пушкинский Моцарт. Избранничество — не радостный, а тяжелый жребий. За Моцартом закрепилось определение — «баловень судьбы». Сальери у Пушкина называет его «безумцем, гулякой праздным». Мало кому известно, что этот «счастливый баловень судьбы» умер очень рано, в возрасте сорока лет, нищим; что вся его жизнь была наполнена отчаянной борьбой с нуждой; что величайшие произведения композитора пользовались при его жизни холодным приемом публики. Достаточно, например, напомнить, что опера Сальери «Ассур» выдержала более 100 представлений подряд, тогда как «Дон Жуан» Моцарта с трудом продержался в Вене только один сезон.

Вспомним Пушкина: та же нужда, вечные долги, множество врагов, завистников и недоброжелателей, конфликт с обществом, яд клеветы и трагическая гибель в пору самого расцвета творческих сил.

Дело не во внешнем сходстве жизни великих художников. Важнее внешних обстоятельств и биографических фактов — огромное внутреннее сходство, ощущение своей избранности, как тяжелого долга, внутренний конфликт и борьба, во многих случаях носящие трагический характер. Так, Гейне однажды сказал: «Через мое сердце прошла мировая трещина». А у Есенина вырвались изумительные слова: «Под душой так же падает, как под ношей».

Внутренний мир художника, знающий правду неба, вневременную и вечную правду добра, красоты и гармонии, находится в постоянном и разрушительном конфликте с внешним, земным миром, живущим сила-

ми борьбы и распада. В душе каждого художника борются небо и земля.

Трагизм этой борьбы с необычайной силой звучит в русской литературе. Сколько поставлено вопросов! А ответы? Вместо ответов — нескончаемый мартыролог: убитые, сошедшие с ума, перерезавшие себе горло, повесившиеся, умершие от голода, чахотки, от непосильной каторжной работы.

У Максимилиана Волошина однажды вырвался нерадостный вздох:

Страшен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок влечет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.

Неужели это — ответ, единственный, какой может быть дан жизнью?

Последними в мартырологе русских писателей и поэтов стоят имена поэтов «закатной славы века». Среди них — имя замечательного русского поэта и художника Максимилиана Волошина.

О «закате» говорил не один Волошин. Это слово стоит в названии нашумевшей книги Шпенглера, его современника. Оно часто повторяется у Блока, Брюсова, поэтов-декадентов. Весь мир переживал «закатную славу века». Но никто из поэтов не переживал ее так напряженно, как Волошин.

Жизнь и творчество Максимилиана Николаевича Волошина неразрывно связаны с судьбами России. Он, как дозорный на сигнальной вышке, рано заметил опасность и предупредил о ней. Его поэзия — как яркий сигнальный костер, высоко в небо поднимается тревожное пламя. Оно далеко видно в темной ночи. Образ костра часто повторяется в стихах Волошина, зловещее пламя рвется и гудит со страниц его книг:

Вся Русь костер. Неугасимый пламень
Из края в край, из века в век
Гудит, ревет... и трескается камень,
И каждый факел — человек.

В мае исполнилось 70 лет со дня рождения Максимилиана Волошина. В текущем году исполняется также 15 лет, со дня его смерти. Пусть эти даты напоминают миру о том, что опасность, указанная Волошиным, не была своевременно замечена и понята.

Волошин принадлежит к поколению, застигнутому «посреди дороги» всесветным великим распадом, — грозной и заслуженной карой Божией. Эта кара застигла мир в тот момент, когда большинство людей ее не ожидало.

В стихотворении «Потомкам» поэт говорит:

Никто из нас не ведал то, что мы
Изжили до конца, вкусили полною
мерой:

Свидетели великого распада, —
Мы видели безумья целых рас,
Крушение царств, косматые светила.
Прообразы последнего суда,
Мы пережили иллады войн
И апокалипсисы революций.

Это — своеобразная мемориальная надпись для памятника целой эпохи. Новая эпоха, пришедшая на смену умершей, полна апокалиптических потрясений. Максимилиан Волошин говорит о «мраке, и брани, и ветре, и гладе». В другом месте он пишет:

Разверзлись хляби душ и недра жизни.

И нас слизнул ночной водоворот.

Стал человек — один другому дьявол.

Кровь — спайкой душ. Борьба за жизнь
— законом.

И долгом месть.

«Но мы не покорились!» — спешит сказать поэт. В скупых словах, произнесенных сквозь крепко стиснутые зубы, слышится клятва всех лучших, смелых и благородных в мире в роковые годы «великого распада», «безумья целых рас», спайки душ кровью, борьбы и мести, ставших законом и долгом.

Ранний Волошин — эстет, тонкий художник, писавший знойные крымские пейзажи, поэт, певший о «земле иступлений, земле, взыскающей любви», о «ней» — «забытом сне веков», и о ее «неотвратимой улыбке». И в живописи, и в поэзии он был прежде всего художником, мастером краски и рисунка. Он обладал тонким чувством пейзажа, любил и умел наблюдать природу, видел в ней прекрасную и великую «натурщицу». Он посвятил себя делу ее художественного воплощения, и это дело считал своим призванием и своим творческим

путем. Как он ошибся! В прекрасном стихотворении «Она» Волошин рассказывает о своих поисках несказанной красоты и творческой правды.

В напрасных поисках за ней
Я исследил земные тропы
От Гималайских ступеней
До древних пристаней Европы
Она забытый сон веков,
В ней несвершенные надежды:
Я шорох знал ее шагов
Я шелест чувствовал одежды...

Интересно сравнить это стихотворение со стихами Иннокентия Анненского. Поэт, которого Гумилев назвал «последним из царскосельских лебедей», очень любимый и почитаемый Волошиным, в стихотворении «Поэзия» пишет:

Над высью пламенной Синая
Любить туман Ее лучей,
Молиться Ей, Ее не зная,
Тем безнадежно горячей...
Чтоб в океане мутных далей,
В безумном чаяньи святых,
Искать следов Ее сандалей
Между заносами пустынь.

«Напрасные» и «несовершенные» у Волошина, «безнадежно» и «безумно» у Анненского — по смыслу и по настроению это синонимы!

Волошин шел путем, которым шли все великие художники. Кто из них не склонялся то пред Микенской Афродитой, то Царевной Солнца — Тайах, то Монной Лизой, то, наконец, пред «восковыми Мадоннами на знойных улицах Севильи»! Родились прекрасная Галатея и аркадская пастушка Хлоя, Лаура Петrarки и Беатриче Данте, Сикстинская Мадонна Рафаэля и Прекрасная Дамы Блока. В мечтах рыцаря и поэта Дон-Кихота возникла царственная Дульцинея де Тобозо. Но поиски продолжают-ся, оставаясь, как прежде, так и ныне, «напрасными поисками». И бессильно вздыхает Волошин:

Но неизменная, не та,
Она скользит за тканью зыбкой.
И тихо светятся уста
Неотвратимую улыбкой.

Образ «неизменной» внешне как-будто близок блоковской Незнакомке. Но при общей их близости есть различие очень существенное. Блок боится не случайно:

Но страшно мне — изменишь облик ты.
Блоку дорога недостижимость цели. Его устремления направлены в «очарованную даль», куда нет дорogi. Волошин не мог не понимать, что его поиски «напрасны», и что ради жизни, искусства и самой красоты они таковыми и должны остаться. Но он не может по-блоковски с этим примириться.

Если «нет правды на земле», в чем пушкинский Сальери прав бесконечно, то все-таки «есть правда выше», чего Сальери не знает и знать не хочет, и странно искать эту «вышнюю правду» на земле. Волошин все же ее ищет: не случайно он говорит о «восковых Мадоннах на знойных улицах Севильи».

Позднее, когда поэт обратится к темам России и русской революции, он станет иным: там — он скажет:

На дне души гудит подводный Китеж,
Наш неосуществимый сон...

Здесь — Волошин ищет, любит и страдает все еще по-земному, жадно, ярко и огненно, быть может, даже язычески страстно поклоняясь своим земным чувствам:

Но от огня не отрекусь.

Я сам огонь. Мятаж в моей прероде,
— говорит он в поэме «Китеж».

Ко времени, когда разразилась катастрофа, Максимилиан Волошин был уже сформировавшимся поэтом. Его образы полны какой-то нелитературной пластичности и живописной выразительности. В них привлекает внимание почти осязаемая глазом яркость красок, четкость рисунка, игра светотени.

Кремль, овеянный сказочной славой,
Встал в парче облачений и риз
Велокаменный и златоглавый
Над скудою закуренных изб;
Отразился в лазоревой ленте,
Развитой по травам-муравам,
Аристотелем Фиоравенти
На Москва-реке строенный храм, —

И еще:

Дрем ветвей, пропитанных смолою,
Листья, мох и травы я слою —
И огню, плененному землею,
Золотые крылья развяжу.
Вспыхнут травы пламенем багровым,
Золотисто-темным и седым,
И потянет облаком лиловым
Горький, терпкий и пахучий дым!

В этой картине, созданной уверенной рукой мастера, видишь все краски — золотой, багрянец и тяжелую смолистую зелень; вдыхаешь аромат леса и трав, родной, что-то напоминающий запах дыма. И вдруг чувствуешь — так свежо и ярко пахнула Россия, детством, звоном ветра и дремкой родных лесов...

Полна красок и живопись поэма «Китеж». Но в ней — уже совсем иной колорит. От этих красок веет безысходностью и почти мистическим ужасом:

... Не сами ль мы, подобно нашим
предкам,

Пустили пал? А ураган
Раздуд его, и тонут в дыме едком
Жеза и ода огнищам.

Ни Сергиев, ни Оптиная, ни Саров
Народный не уймут костер.

Они уйдут, спасаясь от пожаров,
На дно серебряных озер.

Поэт жил странной и страннической жизнью, погруженный в мир ярких образов, красок и слов. Он вознесся над жизнью в «башенке из слоновой кости». Волошина чрезвычайно редко видели в столицах, на собраниях писателей, поэтов и художников. Что случилось, что виделось ему в годы, когда над Россией и миром уже собиралась гроза?

«Я помню, — писал Блок в предисловии к поэме «Возмездие», — ночные разговоры, из которых впервые выросло сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики.

... Мужественное веяние преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения... Уже был осязателен запах гари, железа и крови».

Блок говорил далее о «потере бесконечно высоких свойств, которые в свое время сияли, как лучшие алмазы в человеческой короне», о «мировом водовороте», обезображивающем личность. «Был человек — и не стало человека, осталась дрянная, вялая плоть и тлеющая душонок».

Волошин, несмотря на отшельничество, или, быть может, благодаря ему, необыкновенно чутко улавливал все симптомы катастрофы. Он ждал ее, как историческую неизбежность и неотвратимость, и воспринимал, прежде всего, — как заслуженную Божию кару. Ее источники он видел в глубине веков, когда следовал за Россией ее историческими путями, когда воссоздавал ее странный и страшный, противоречивый и двойственный облик.

Святая Русь покрыта Русью грешной,
И нет в тот Град путей,
Когда зовет призывный и нездешний
Подводный благовест церковей, —
писал Волошин в поэме «Китеж».

Ты — бездомная, гуляющая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!
называл он ее в стихотворении «Святая Русь».

Максимилиан Волошин воссоздает картину напряженного и мучительного собирания нашей родины. Это страшная картина. Русь озарена неугасимым пламенем усобиц, ломает свои и вражеские кости, вытаскивает жилы, мучается на дыбе, по указке Антихриста-Петра, обучается наукам книжным, умывается жаркой кровью народных бурь и мятежей, горит в огне самосожжения раскольничьего, живет памятью о

Мазепах, Разинных и Пугачевых, мечтает о свободе и строит все новые и новые торьмы. Какой-то железный безысходный крут, из которого, кажется, нет и не может быть выхода!

Так, Гоголь, наблюдая широкий и размашистый бег родины-тройки, вопрошал тщетно:

«Русь, куда же несешься ты, дай ответ?»

«Не дает ответа», — говорил он, потрясенный и взволнованный ее безмолвным, непонятным и стремительным бегом.

Так у Пушкина возник образ скачущего Медного Всадника и образ России, вздернутой над пропастью «уздой железной» владельца полумира, все того же Антихриста-Петра.

Куда, зачем? — вопрошает Максимилиан Волошин.

В самый разгар мировой войны, в 1915 г., в иступлении муки и боли Волошин прощески воскликнул:

Русь! Встречай роковые години:

Разверзаются снова пучины

Неизжитых тобою страстей,

И старинное пламя усобиц

Лижет ризы твоих Богородиц

На оградах Печорских церквей.

Все, что было, повторится ныне,

И опять затуманится ширь;

И останутся двое в пустыне:

В небе — Бог, на земле — Богатырь.

«Башенка из слоновой кости» неожиданно стала сигнальной вышкой. Начавшийся великий распад вновь поставил вопрос о «земной неправде» и «правде неба», о «силе гармонии» и о «существовании мира».

Волошин, мне кажется, должен был часто думать над словами Моцарта из маленькой драмы Пушкина:

Когда бы все так чувствовали силу

Гармонии! Но нет: тогда б не мог

И мир существовать...

Полная гармония — в слиянии неба и земли, двух частей единого целого, — мира. Когда-то, в доисторические времена, о которых нам сообщает Ветхий Завет, эта гармония была нарушена, и с тех пор разрыв между небом и землей трагически увеличивается, вызывая все более и более страшные и катастрофические потрясения. В словах пушкинского Моцарта — загадка, которая имеет несколько решений. Первое: если слова «чувствовать гармонию» понимать в значении — приобщиться мировой гармонии, мир «не может существовать», потому что земля солется и соединится с небом. Тогда наступит то новое состояние вечности, смерти-жизни, о которой в Сказании о Невидимом Граде Китеже поют Сирия и Алконост:

Время кончилось — вечный миг настал.

Второе: если принимать слова Моцарта в значении — чувствовать, понимать, видеть, — видеть вечную и неземную правду, — должна открыться и «неправда на земле», о которой «все говорят», но которой еще никто не видел и не понял. А понять ее, это значит — умереть, перестать существовать, ибо «неправда» и есть смерть.

Сам Моцарт говорит о «силе гармонии» как будто вскользь, между прочим. Понимает ли он скрытый подлинный смысл своих слов? Что значат его бессонные ночи и тревожный образ «черного человека», заказавшего Requiem, и с тех пор неотступно преследующего композитора? Этот «черный человек» — не есть ли он — знаменение разрушения и распада, временной победы «неправды земли» над «правдой неба»? И не для того ли он приходил, чтобы смутить небесную ясность великого художника, посеять в его душе семена разрушения и смерти?

Если это так, — для чего, зачем?

Для чего — «великий распад», о котором говорит Волошин? Ведь мистическим ужасом веет от слов поэта:

Все, что было, повторится ныне,

И опять затуманится ширь;

И останутся двое в пустыне:

В небе — Бог, на земле — Богатырь.

Что же остается нам? Волошин нашел ответ. Этот ответ содержит одно слово — искупление.

Его издавна привлекали темы революции и революционного террора. В раннем стихотворении «Голова Madame de Lamballe», входящем в цикл стихов «Пламенники Парижа», написанном еще в 1905-1906 г. г., Волошин рисует картину сентябрьского революционного террора во Франции 1792 года. Отношение Волошина к этой странице Французской Революции — все еще отношение художника и эстета. В исторических событиях его интересует прежде всего их живописная сторона.

Есть своеобразная жуткая красота в гибели, разрушении и смерти. Все великие художники это знали. «Все ужасное прекрасно, все прекрасное — ужасно», — говорит Шекспир в «Макбете». Леонардо да Винчи создал не только Монну Лизу, но и серию офортов, вызывающих трепетный ужас у зрителей. Знали это Гойя и Давид, Рескин и Толстой, Мусоргский и Достоевский. Беспощадной красотой ужаса веет от стихов Максимилиана Волошина.

Это гибкое страстное тело

Расгойтала ногами толпа мне,

И над ним надругалась, раздела...

И на тело

Не смела
Взглянуть я...
Но меня отрубили от тела,
Бросив лоскутья
Воспаленного мяса на камни...

Волошин любитесь тем, как отрубленная голова придворной красавицы, недавно блиставшей в Версале, с завитыми «светлыми кудрями», с нарумяненными и напудренными щеками

...на пике взвилась над толпой

Хмельным тирсом...

Эта сцена представляется ему игрой, языческим праздничным шествием в честь Вакха. Все кружит голову, и, любясь толпой, как вином опьяненный пролитой кровью, поэт как бы сам разделяет священное безумие толпы, поднявшей над собой отрубленную голову.

Пел в священном безумьи народ.

И казалось, на бале в Версале я...

Плавный танец кружит и несёт...

Точно пламя, гудели напевы.

И торемною узкою лестницей

В башню Темпла, к окну королевы

Поднялась я народною вестницей...

Эстетическое любовное ужасами революционного террора позднее, в годы русской революции, сменяется у Волошина отращиванием и страстным его осуждением.

В 1918 году Волошин издал сборник стихов, названный кратко и выразительно — «Террор». Здесь, в стихах революционных лет, пред нами предстает как будто новый поэт. Его стихи суровы, лаковичны и предметны. Волошин живет новым сложным чувством, которое сам определяет словами — «ненавидящая любовь». Говоря языком самого поэта, о сборнике «Террор» можно сказать, что это повесть «ненавидящей любви» — любви «жертвенной и неодолимой».

Поэт, как евангельский Фома неверный, вложил свой персты в кровоточащие язвы своей Родины. Это не было следствием любопытства. Скорее всего это можно назвать иступленным самоистязанием близкого и родного человека, мучимого сознанием и своей собственной вины перед страждущей Родиной.

Стихи, написанные непосредственно за октябрьской революцией 1917 г. и датированные «23. 11. 1917», — жестоки, предельно выразительны и предметны: они состоят почти из одних существительных и глаголов.

С Россией кончено. На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль

Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И Родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.

Заключительная часть стихотворения — это молитвенное призывание кары, и приговор, который на наших глазах вступил в силу.

О, Господи, разверзи, растопчи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,
Германцев с Запада, монгол с Востока,
И ввергни в рабство вновь и навсегда, —

Да искупим смиренно и глубоко,
Иудин грех до Страшного Суда.

Легко и приятно любить Родину во дни ее славы, величия и благополучия; ничем не жертвуя, ничем не болея и не страдая. Эта любовь — ущербная, ненастоящая. Любовь Максимилиана Волошина, выросшая в страшные годы русской революции, не боится несчастий, падений и испытаний. Вот почему она — жертвенная и неодолимая.

Люблю тебя побежденной,

Поруганной и в пыли...

... Люблю тебя в лике рабьем.

Когда в тишине полей

Причитаешь голосом бабьим

Над трупами сыновей.

Это ее, Россию, праведную Русь, —

«Брали на мушку», «ставили к стенке».

«Списывали в расход»...

— говорит Волошин в стихотворении «Терминология».

Это на нее —

Вся великая, темная, пьяная,

Окаянная двинулась Русь!

И она лежит — как поэт, застигнутая посреди дороги, — измученная, истерзанная, брошенная всеми, кто подговаривал: «развей и расточи!» — но все еще живая!

И каждый прочь побрел, вздыхая,

К твоим призывам глух и нем,

И ты лежишь в крови, нагая,

Истерзана, изнемогая,

И не защищена никем...

...Еще безумит хмель свободы

Твои взметенные народы!

И не окончилась борьба...

«Я ль в тебя посмею бросить камень?» — восклицает Волошин. —

В грязь лицом тебе ль не поклонюсь?»

«Но твоей Голгофы не покину,

От могил твоих не отрекусь».

Поэт идет до конца путями страданий своей Родины, веруя, что в конце пути наступит воскресение. И, быть может, смерть — первый шаг к этому.

... Умирать, так умирать с тобой,

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.

Тема искупления — одна из основных в творчестве Максимилиана Волошина, Её мы встречаем во многих произведениях поэта. Ей он посвятил лучшие страницы своей поэзии. Одновременно, Волошин вынашивает жгучую, нетленную мечту о «праведной Руси», о великом воскресении. Блок — поэт «Возмездия»; Волошин — поэт «Искупления» и «Воскресения». Подобно Канту, Волошин может сказать:

«Две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением: звездное небо надо мной, нравственный закон во мне».

Поэзия Волошина напоминает, что в этой знаменитой формуле, выражающей идею совершенного гармонического человека, нельзя разделять небо и нравственный закон в человеке. Эту формулу можно принять или отвергнуть только целиком. Принять — это значит: быть всегда готовым к искупительной жертве. Совершить жертву — воскреснуть из мертвых.

Так мировая катастрофа становится желанной, нужной и благодатной.

Наступил суд за все преступления и иступления, за «муки, казненных поколений», за усобицы и казни, за все наши исторические грехи, за Иудино предательство...

На папертях слепцы поют

Про кровь, про казнь, про суд...

Этот суд должен счесть «неправедную Русь». И это — необходимая очистительная жертва. Поэт приветствует ее:

Нам ли взвесить замысел Господний?

Все пойдем, все вынесем, любя!

Жгучий ветер полярной преисподней,

Вожжи бич, — приветствую тебя!

Он призывает к смирению:

Молитесь же!

Терпите же. Примите ж

На плечи — крест, на вью — трон!

И верит, что Россию не допустят сойти с ее путей «сторожевые херувимы».

Верит, наконец, что:

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, иступлений —
Возникнет праведная Русь.

С этой верой в великое возрождение Волошин умер, не покорившись темным силам, терзающим Русь. Эта вера дала ему силы мужественно перенести казнь.

Блок был казнен голодом, болезнью, обманом. Гумилев был казнен свинцом. Волошин был казнен молчанием. Кроме Волошина, этой казни были подвергнуты многие поэты и писатели современной России. Маяковский, поэт огромной творческой силы, покончил самоубийством дважды: первый раз, когда «сам себя смирил, становясь на горло собственной песне»; второй раз, когда ударил свинцом по сердцу, не желавшему молчать.

Волошин случайно уцелел от физической гибели, но ему стали на «горло песне», заставив молчать почти пятнадцать лет. После революции Максимилиан Волошин как бы не существовал: его книги не издавали, его новые стихи не печатали.

Но везде — даже в тюрьмах и за колючей проволокой самых далеких каторжных нор — читаются тоненькие рукописные тетрадки его стихов, и сотни раз повторяются эти ослепительно яркие, сильные и радостные слова:

На дне темниц мы выносили силу,

Неодолимую любовь, и в пытках

Мы выучились верить и молиться...

В огне застенков — выплавили радость

О преосуществлении человека,

И никогда не грезили прекрасней

И пламенной его последних судеб.

Язык и стиль Пушкина

Творчество Пушкина надо рассматривать в обстановке сложного литературного процесса его времени, характеризующегося сменой литературных стилей. Процесс этот не был узко-национальным и развивался не только в пределах русской литературы, но на общем фоне европейского литературного движения. Это была смена классического стиля (в широком понимании слова) романтическим, причем этот последний, в свою очередь, являлся только переходом к уже достаточно определившемуся в 30-х годах прошлого века стилю реалистическому, расцвет которого относится к более позднему времени. Борьба литературных стилей реализовалась в борьбе литературных групп, среди которых классики и романтики естественно занимали наиболее видные места; однако, было бы упрощением всю литературную обстановку того времени сводить к двум только этим группам. Уже в начале своей литературной деятельности Пушкин принял участие в борьбе «шишковистов» и «карамзинистов» (архаистов и новаторов), которая не укладывается в упрощенную схему борьбы классиков и романтиков. Дело обстояло гораздо сложнее и ни тот, ни другой лагерь не давали четкой картины единого фронта. Между «карамзинистом» Пушкиным и шишковистом Катениным можно найти больше точек соприкосновения, чем, например, у принадлежавших к одному лагерю Пушкина и Димитриева или Катенина и Шишкова.

Пушкин, явившийся на переломе двух эпох, завершает собой классицизм. В то же время его творчество обращено к будущему, и можно рассматривать Пушкина как основоположника нового периода русской литературы.

В России процесс смены стилей осложнялся еще процессом европеизации литературы. Пушкин с детства воспринял классическую традицию господствовавшей тогда французской литературы. Но при нем же произошел кризис французского влияния, связанный с кризисом классицизма. Идеал классицизма, как утверждение «универсальной» красоты, не зависящей от условий времени и места, практически превращал-

ся в механическое перенесение в иные национальные литературы черт французского классицизма. Развитие национальной идеи, ярче всего выразившееся в необычайном расцвете немецкой литературы конца XVIII и начала XIX веков, сопутствовало победоносному шествию романтизма. Романтизм не имел космополитических черт классицизма, и французская литература со временем утратила свою роль законодательного вкуса. Отсюда интерес к нефранцузским литературам западной Европы, в частности, немецкой, английской и итальянской, и, — с другой стороны, — возникновение вопроса о создании русской национальной литературы, которая явилась бы выразительницей стремлений русского общества. Обе эти тенденции мы находим в творчестве Пушкина. Он преодолел в себе французское влияние и обратился к изучению иных литератур, он же положил начало самостоятельной русской литературе, которая в 40-х годах уже выступает среди прочих европейских литератур не только как равноправная, но даже начинает оказывать на них значительное влияние. Именно Пушкину мы обязаны тем, что процесс создания национальной литературы не вылился в националистическое обособление, а стал естественным продолжением мирового литературного процесса.

Смена литературных направлений выразилась в творчестве Пушкина в борьбе за новые литературные жанры и за обновление литературного языка. По разнообразию литературных жанров Пушкин не имеет себе равных в русской литературе. От лирики до поэмы и трагедии, от небольшой повести до крупного романа, от критики и публицистики до исторического труда, — таков его диапазон. Подобное разнообразие литературных жанров определялось не столько универсальностью его литературного дарования, сколько сложностью исторических задач, стоявших перед ним, как перед реформатором русской литературы.

Классицизм, от которого отправлялся Пушкин, характеризуется строгой регламентацией литературных жанров и их внутренних свойств. На школьной скамье, изучая

«Частную риторику» Кошанского, Пушкин узнал, что в лирике только возможны ода, элегия, мадригал, эпиграмма, послание и т. п.; в больших формах поэзии — эпическая и описательная поэма и шутившая «ирои-комическая» поэма; в драме — трагедия и комедия. Почти не были определены прозаические жанры и только начинала вызреть «романтическая» (фантастическая) поэма.

Романтизм выступил с лозунгом смешения жанров. Если первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила» кое-как укладывалась в расширенную схему учебников, то уже южные поэмы совершенно нарушали тогдашнюю классификацию литературных жанров. Критики того времени часто язвительно спрашивали, к какому виду надо отнести поэму Пушкина? Введение Пушкиным сюжета в форму «описательной» поэмы совершенно разрушало строгий классический канон.

Создание новой поэмы и было заслугой Пушкина. Испытав форму романтической и байронической поэмы, он создал затем новый жанр «романа в стихах». Тем, чем был «Евгений Онегин» в крупных масштабах, явился «Граф Нулин» в жанре небольшой стихотворной повести. Огромное количество подражаний и параллельных попыток (например, поэмы Баратынского) доказали жизнеспособность нового жанра.

Несколько меньшую самостоятельность проявил Пушкин в области лирики. Но и здесь, пройдя через испытание классических форм и затем долгое время разрабатывая более свободную форму элегии, Пушкин к концу 20-х годов отказался от строгого разделения жанров. Жанровый канон, заимствованный от Ватюшкова, он окончательно преодолел. Более поздние его произведения не могут быть зачислены в определенный «класс» лирики. Пришедшие за Пушкиным поэты могли уже писать «стихотворения вообще».

Преобразовав поэму, Пушкин перешел затем к созданию новой русской прозы, что было гораздо труднее, так как в этой области в русской литературе не существовало образцов. Пушкину пришлось начинать с создания прозаического языка и даже «делового» литературного языка. Последнюю задачу Пушкин и разрешил в своих исторических и критических работах.

Работая над прозой, Пушкин не переставал быть поэтом: напротив, к 30-м годам, т. е. к эпохе создания «Повестей Белкина», относится его лучшая поэма «Медный всадник» и множество прекрасных лирических стихотворений. Мастерство Пушкина.

как поэта, непрерывно возрастает, достигая подлинного совершенства.

В области стихотворной техники Пушкин не был решительным реформатором. Он шел по «большой дорожке» русского стиха, проложенной опытами Ломоносова и Тредьяковского. Именно Ломоносов перенес в русскую литературу метрические формы немецкого стиха и создал прочную традицию своими одами 40-х годов XVIII века. К моменту выступления Пушкина в литературе новый русский стих насчитывал уже семьдесят лет. Преобладающей формой нового тонического стиха был ямб, в частности, четырехстопный, — господствующий размер од Ломоносова. Он является преобладающим и в поэзии Пушкина: все его поэмы, кроме «Домика в Коломне» и «Анджело», написаны этим стихом.

Однако, безраздельное господство ямба в русской поэзии постепенно подвергалось испытаниям. Не говоря уже о спорах Ломоносова, Сумарокова и Тредьяковского, можно отметить еще два течения против строгих немецких форм, наметившихся в конце XVIII в. Одно из них стремилось привить русской литературе формы народных песен, другое — формы античного «метрического» стиха, особенно гекзаметра. Эти течения иногда объединялись. Практиком и теоретиком этих новых взглядов был Востоков, впоследствии известный русский лингвист; опыты Востокова и Гнедича, который в 1829 г. издал перевод «Илиады» гекзаметром, оказали влияние на Пушкина. Он испытал песенный размер в «Песнях западных славян» и некоторых других произведениях, а гекзаметры применил в ряде мелких стихотворений 30-х гг. Песенные опыты Пушкина, хотя и не определили прочной традиции, все же значительно его опытов в античном роде. Они являются прекрасной иллюстрацией к спорам Востокова, Цертелева и др. о создании русской национальной эпопеи, написанной «народным стихом». Идея подобной эпопеи родилась у Пушкина под влиянием идеологической пропаганды писателей из числа членов тайных обществ, в частности, Влад. Равевского. Сохранились наброски (1821 г.) исторической поэмы о Вадиме, написанные стихом песни «Уж как пал туман на сине море». Позднее Пушкин пытался применить этот стих к народной драме «Русалка» и, наконец, после нескольких мелких опытов 1827 — 1828 гг. он остановился на разработке тем сербского эпоса, с образцами которого познакомил русских читателей Востоков.

Но главная литературная заслуга Пушкина состояла все-же в разработке «классических» размеров русского тонического сти-

ха. Традиционные размеры Пушкин применил к новым жанрам. В XVIII в. четырехстопный ямб употреблялся почти исключительно в одах. Поэма и трагедия писались александрийским стихом (шести-стопным ямбом), представлявшим собой тоническую имитацию французского двенадцатисложного силлабического стиха с цезурой после шестого слога. Александрийский стих отличался напевной медлительной декламацией и особым строем речи из длинных однообразных фраз. Музыкальное однообразие размера этих стихов характерно для классического стиля. Пушкин, испытавший в лице для эпической поэмы шутивого характера («Вова») псевдо-народный стих, остановился в выборе стиха для «Руслана и Людмилы» на более подвижном и по своей интонации более близком к разговорной речи четырехстопном ямбе. Этот ритм у Пушкина в значительной степени определился влиянием поэзии Жуковского, прямым продолжателем которого в разработке этого стиха Пушкин и являлся. С тех пор четырехстопный ямб остался для Пушкина основным размером повествовательных произведений, от «Кавказского пленника» до «Медного Всадника».

Отказался от александрийского стиха Пушкин также и в драме. Здесь, увлеченный примером романтиков, и, в частности, немецких драматургов (отчасти и итальянских, в роде Альфиери), он применил в «Борисе Годунове» белый пятистопный ямб. Выбор этого стиха шел наперекор русской традиции и являлся большой драматургической реформой. Пятистопный драматический ямб опять-таки отличается от александрийского стиха особой, несколько прозаической интонацией, не допуская музыкального распева, господствовавшего на старой русской сцене. Хотя «Борис Годунов» и не был поставлен в свое время, но Пушкин предопределил на будущее время стихотворный размер русских трагедий, и александрийский стих на сцене больше не употреблялся.

Вопросы литературного языка русской критикой пушкинского времени обсуждались с необикновенной остротой. Хотя Пушкин и говорил, что истинная жизнь слова есть мысль, а не «механизм языка», однако, он вырос в атмосфере постоянных споров о литературном языке, — споров вполне естественных для эпохи зарождения новой национальной литературы.

Именно по вопросам языка спорили по преимуществу «карамзинисты» с «пишкови-стами». Искусственно-книжному языку пишковистов карамзинисты противопостав-

ляли формы разговорного языка дворянского «хорошего общества». Пушкин эту линию в развитии языка продолжал на протяжении всего своего творчества, хотя в отдельных вопросах далеко отходил от чистоты «арзамасских» идей. Оставаясь в основном на позициях дворянской литературы, Пушкин ставил своей задачей создание общелитературного языка, который был бы одинаково близок для читателей разных социальных слоев. В расширении социальной базы литературного языка и заключается его основное отличие от позиций карамзинистов, у которых забота об «изяществе» иногда переходила в культуру языка дворянских салонов.

Стихотворная речь в большей степени, чем прозаическая, была разобщена разговорной и стилистически и грамматически. В основе стихотворного языка лежало то соотношение между церковнославянской стихией и формами русской речи, какое установил еще Ломоносов. И если деятельность карамзинистов и способствовала освобождению от славянских элементов, то все же отличие современного Пушкину языка от ломоносовского состояло лишь в количественном отношении одних элементов к другим, а не в самом характере литературного языка. Пушкин воспринял его язык таким, каким он был, и многие элементы церковнославянской традиции сохранились в его произведениях до последних лет его жизни.

Уже самое произношение стиха резко отличалось от нашего произношения. Нормы церковнославянского произношения определялись в России тем, что долгое время центром церковного образования был Киев. Известное до начала XX в., так называемое «семинарское» произношение отразило на себе некоторые черты украинской речи. Основная его особенность — это различие в неударных слогах «а» и «о» (что воспринималось слухом среднего великоросса, как произношение на «о») и отсутствие звука «е», который произносится как «э» («йэ»). Первое явление вымирало уже в первый период деятельности Пушкина, но некоторым следом его является крайне редкое смешение у Пушкина в рифме неударных «а» и «о». Значительное второе явление. Оно отразилось у Пушкина в частой рифмовке слов, из которых в современном произношении одно содержит звук «ё», а другое «е», например «утёс — черкес», «рёв — при-смирёв», «раскалённой — вселенной» и т. д. Во всех таких случаях по книжной традиции произносилось чистое «е». Однако, уже в ранней стадии Пушкин ввел в свои стихи и произношение «е». Много таких рифм в

«Руслане и Людмиле»: «он — устремлен», «шатер — прибор», «темный — огромный», «копием — кругом». Подобные рифмы, в которых требовалось произношение звука «е», вызывали нарекание со стороны литературных староверов (особенно последний пример, где русское произношение с «е» применено к славянской форме «копие» вместо русской формы «копье») и были объявлены «мужицкими рифмами». Повидимому, дворянское произношение, по мнению критика, не допускало в стихах русского звука «ѣ».

Кроме произношения, книжное влияние отразилось у Пушкина в ряде других особенностей. Так, особенно в ранних стихах часто встречается краткое окончание прилагательного-определения, например: «вонзает трижды хладну сталь», «с глушом разумну речь ведет», «сонны очи он наконец закрыл» и т. п. Кроме того у Пушкина встречается славянское окончание прилагательных родительного падежа женского рода на «ья» и «ия», например: «В лесах веселыя (т. е. веселой) Цитера», «Мне жаль великия жены», «Подруги тайные моей весны златыя» и пр.

Но более всего отразилось книжное влияние в отборе слов: славянские слова, как слова «высокого» стиля, присутствуют в произведениях Пушкина до последних лет. Особенно часто они употребляются как стилизация в исторических произведениях. Особый класс славянизмов Пушкина составляют слова, выражающие отвлеченные понятия, которые в силу условий развития книжного языка не могли возникнуть в разговорной речи и создавались тогда, когда русским книжным языком был церковнославянский. Эти славянизмы не так ощутимы, как те, которые употреблялись для наименования конкретных предметов. В последнем случае всегда налицо русское слово того же значения, однако восприятие этого слова в стилистическом сознании времени было таково, что оно «снижало» понятие, делало его прозаическим, обыденным. Таковы славянизмы, употребляемые для поэтического «возвышения» предмета: «перси» (грудь), «ланиты» (щеки), «очеса» (глаза). Здесь является особенностью не только славянское слово, но и его падежная форма. Без особой стилистической окраски употребляется слово «токмо» (только) и форма «пришед» (прийдя).

Со славянской стихией боролась другая — разговорная. Разговорный язык, как это всегда бывает, не представлял такого единства, как отстоявшиеся книжные формы. Разговорная речь носила на себе явную печать того общественного слоя, которому она была присуща. В понимании карамзинистов.

основой разговорного языка был разговор дворянского «хорошего общества». Но «хорошее общество» говорило на французском языке. Отсюда галлицизмы в речи Пушкина. Особенно это заметно в «Евгении Онегине», где встречаются целые французские фразы. Поэт откровенно признавался:

Исправиться во мне нет силы:
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи .

Однако, в действительности, Пушкин стремился избавиться от галлицизмов или снабжал их такими примечаниями, которые делали ясным их иноземный характер.

В последнем вкусе туалетом
Заняв наш любопытный взгляд
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело;
Но панталоны, фрак, жилет —
Всех этих слов на русском нет
А вижу я, винось пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический Словарь.

Употребляя иногда галлицизмы для того, чтобы стилистически воспроизвести формы светского обихода, Пушкин неоднократно высказывался в пользу расширения социальной базы языка, считая салонный язык источником жеманности и изнеженности. В этом отношении характерна его записка Крылова, которого Вяземский считал «грубым поэтом. Пушкин вступался за «грубость» и «простоту» разговорного языка. Языку Пушкин советовал учиться у «московских просвирен». «Разговорный язык простого народа, не читающего иностранных книг и, слава Богу, не искажающего, как мы, своих мыслей на французском языке, достоин также глубочайших исследований... Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирам, они говорят удивительно чистым и правильным языком».

Разговорная «просторечная» стихия проникла в собственный язык Пушкина, и у него мы найдем много слов и оборотов, которые в литературном обиходе не приняты и отвергаются грамматиками, как недопустимые. Таковы формы «захочем», «разойтись», «крылос» (вм. клирос) и т. п. Но Пушкин обращался к «языку просвирен» не для того, чтобы заимствовать оттуда нелитературные диалектические слова. В этом отношении язык Пушкина беден, и крестьяне его произведений говорят литературным языком. Задача Пушкина была

не стилизация, а создание общего литературного языка. Пушкин, оставаясь на дворянских позициях, предвидел наступление нового, недворянского периода в русской литературе, и для него важным симптомом было появление при нем разночинных писателей. Он писал незадолго до смерти, отмечая общий дворянский характер русской литературы: «Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то их деятельность овладела всеми отраслями литературы у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия».

Серьезные затруднения встретил Пушкин в работе над прозаической речью. Здесь его предшественником был Карамзин. Пушкин писал: «Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал Ломоносов свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полуславянская, полулатинская, сделалась необходимою; к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова». Но на карамзинском языке Пушкин не остановился. Его задачей было создание делового или, как он говорил, «метафизического» языка и создание художественной прозы на основе этого делового языка мысли. Вот что он писал по этому поводу:

«Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого еще не может быть привлекателен; у нас нет еще ни словесности, ни книг, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных; мы привыкли мыслить на чужом языке; метафизического языка у нас вовсе не существует. Просвещение века требует важных предметов для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими игрушками, но ученость, политика, философия по русски еще не изъяснялись. Проза наша так мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для понятий самых обыкновенных».

И далее:

«Точность и краткость, вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей; блестящие выражения ни к чему не служат».

Проза Пушкина поражает своей сжатостью: это входило в намерения автора. Краткость и точность выражения сближают художественную прозу с его деловыми записями, например — с его планами-конспектами. Не случайно в цитированных словах Пушкин упоминает о переписке. Письма Пушкина — это его школа прозы. В этом отношении его письма примыкают к тому жанру «дружеской переписки», который был распространен в начале века и превосходными образцами которого являются письма Александра Тургенева и Вяземского. Это письма, переходящие в литературные произведения, предназначены были для чтения вслух и для сообщения знакомым. В своей переписке Пушкин выработал точный язык своих повестей. Вот впечатление современника, Сенковского, от «Пиковой Дамы», изложенное им в письме к Пушкину, написанном, кстати, по-французски:

«Вы создаете нечто новое, вы начинаете новую эпоху в литературе... Вестужев, конечно, имеет много заслуг: у него прекрасная мысль, но всегда фальшивое выражение: не он создал прозу, которую все, от графини до купца второй гильдии, могли бы читать с одинаковым наслаждением. Всеобщая русская речь отсутствовала в нашей прозе, и я нахожу ее в вашей повести».

Этот отзыв характеризует не только прозу Пушкина, но и задачи прозаика, как они представлялись сознанию современника Пушкина. И проза Пушкина действительно легла в основу русского литературного языка XIX века. Об этом свидетельствует ее чрезвычайная живучесть. В то время, как проза его ближайшего предшественника Карамзина уже воспринимается ныне как что-то обветшалое, прозаический язык Пушкина не только сохранил всю свою свежесть, но и в наши дни может служить великолепным образцом русской литературной речи.

Философия «как будто бы»

Вскоре после несчастного для немцев конца первой мировой войны немецкий философ Г. Файгингер останавливается на причинах поражения немцев и основную причину этого видит в совершенной отрешенности германской мысли от реальности, что ясно бросается в глаза при рассмотрении основных немецких философских систем, совершенно чуждых всякой реальности и витающих в заоблачных сферах отвлеченного идеализма. В противоположность этому сам Файгингер предлагает перейти к давно уже разрабатываемому им идеалистическому позитивизму (в сборнике Др. R. Schmidt. «Die deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen». 1921. Band II). И вот философия Файнгингера, написанная еще до войны, становится необыкновенно распространенной после войны, а сам Файгингер, без преувеличения, становится одним из «властителей дум» среди немцев (и других народов). Однако, и вторая мировая война показала неопровержимо отрешенность германской мысли от реальности. Мы все могли наблюдать, как во время этой второй войны немцы совсем упустили из виду, что, имея дело со своими врагами, со своими союзниками—они имеют дело с живыми людьми. Вот почему философия Файнгингера, претендующая вытеснить идеалистические системы, не может не привлекать к себе нашего внимания и, естественно, вызывает вопрос, насколько она больше считается с реальностью, чем идеалистические системы?

* *

На всем протяжении истории философии, начиная с софистов и древних скептиков, столько вещей отрицалось и столько вещей подвергалось сомнению, что, казалось бы, в наше время невозможно сказать что-либо еще большее в этом отношении и поразить новизною своих взглядов. Между тем скептическая система философии «как-будто бы» Г. Файнгингера, — «Философия как будто бы». Система теоретических, практических и религиозных фикций человечества на основе идеалистического позитивизма,¹⁾ — привлекала до второй мировой войны всеобщее внимание и находила себе множест-

во рьяных последователей, которые в специальном журнале «Annalen der Philosophie» применяли принципы философии «как будто бы» ко всем отраслям человеческого знания. Правда, сам Файгингер не считает свою систему скептицизмом. Он указывает на то, что скептик лишь сомневается в истинности познания, скептик не знает, соответствует ли наше познание действительности или нет. Сам же Файгингер несколько не сомневается в истинности познания, так как он убежден, что наше познание совершенно не соответствует действительности и в этом отношении является определенно ложным. Все наше представление о мире, по мнению Файнгингера, есть огромное сплетение фикций, полных логических противоречий,²⁾ при чем всякая из этих фикций сопровождается сознанием, что она есть именно фиктивное допущение без всякой реальной значимости:³⁾ в действительности не существует ни материи, ни «вещи в себе», ни свободы, ни атомов и проч., и мы, прекрасно отдавая себе в этом отчет, тем не менее, рассуждаем и действуем так, «как будто бы» имеется материя, «вещь в себе», свобода и проч.⁴⁾ По Файгингеру, фикции, — «как будто бы», существуют не только в области науки, но также и в области религии, этики и эстетики.⁵⁾ И вот повсюду здесь фикция есть «лишь сознательная, практическая, плодотворная ошибка»,⁶⁾ «узаконенная ошибка» (вследствие успеха),⁷⁾ «целесообразная ошибка».⁸⁾

Однако, несмотря на то, что сам Файгингер не считает свое личное учение скептицизмом, оно все же, несомненно, является таковым, ибо скептиком мы называем не

¹⁾ H. Vaihinger. Die Philosophie des alg. ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus, 2. Aufl. Berlin, 1913.

²⁾ J. c. s. 90.

³⁾ ib. s. 127.

⁴⁾ ib. s. 99.

⁵⁾ ib. s. XV.

⁶⁾ ib. s. 165.

⁷⁾ ib. s. 191.

⁸⁾ ib. s. 192.

только того, кто сомневается в истинности познания, но также, главным образом, и того, кто приводит доказательства невозможности истинности познания и кто перестает быть скептиком, коль скоро преодолевает именно доказательство невозможности истинности познания (напр., Декарт).

Вопрос о скептицизме Файгингера имеет не только терминологическое значение. Дело в том, что Файгингер не считая себя скептиком и не считает скептиков своими предшественниками в своем обстоятельном указании на своих предшественников. А между тем, сходство учения Файгингера с учением скептиков — громадное. Прежде всего, совершенно неверно, будто бы скептики лишь сомневаются в истинности познания и воздерживаются от всякого суждения. Правда, такова точка зрения Пиррона (III-й век до Р. Х.), но уже Аркезилай (III-й век до Р. Х.), основатель второй Академии и Карнеад (II-й век до Р. Х.), основатель третьей Академии, сомневаясь в истинности познания, определенно утверждают, что для практики это сомнение не имеет значения, так как здесь вполне достаточна одна вероятность, которая, несомненно, существует. К пирронизму опять вернулись Эпикур (I-й в. до Р. Х.) и Секст Эмпирик (II-й век по Р. Х.), считая утверждение, что нет ничего достоверного, а лишь вероятное, утверждением догматическим. Но, тем не менее, и в новое время, среди ряда скептиков, — Монтень, Шаррон (XVI в.), Паскаль, Вэйль (XVII в.) — самый видный из них Гюэ (XVII — XVIII в.), опять определенно подчеркивает, что в житейской практике вполне достаточна одна вероятность, которая и существует. Нетрудно видеть, что как раз такова и точка зрения Файгингера, который знает также лишь один критерий для понятий — это испытание пригодности их на практике. Насколько близки взгляды Файгингера к взглядам скептиков, об этом может свидетельствовать следующий отрывок из истории логики, читая который можно думать, что речь идет не о скептике XVI века, а о самом Файгингере. «Иногда же прямо в сенсуалистическом смысле признавалась еще относительно достоверность за чувственным восприятием, а вся недостоверность переносилась именно в мышление. Так, например, Франциск Санхеэ (*Philosophus et medicus doctor 1552 — 1632*) провозгласил «*Certissima omnium cognitio est, quae per sensum fuit; in certissima omnium quae per diskursum. Nam haec non vere cognitio est, sed pulpato, dubitatio*» etc. и «*omnis scientia fictio est*»⁹⁾.

«Самое достоверное из всех знаний —

это знание, происходящее чувственным путем; самое недостоверное — путем рассуждения. Именно — это не есть истинное познание, но ощупывание, сомнение» и т. д., и «все знание есть фикция».

Сам же Файгингер добросовестно перечисляет следующие четыре, родственные ему направления: 1) волонтаризм (Фихте, Шопенгауэр, Вундт), 2) эмпириокритицизм Маха и Авенариуса, 3) философия Ницше, 4) прагматизм.¹⁰⁾

Влияние на исходный пункт философии Файгингера оказал, несомненно, эмпириокритицизм Маха и Авенариуса. Вместе с эмпириокритицизмом Файгингер во-первых, сводит все бытие и все процессы на элементы ощущений, неразложимые далее; во-вторых, видит в мышлении жизненный процесс и органическую функцию — инструмент, существующий, чтобы ориентироваться в мире и, в-третьих, рассматривает понятия, как известную переработку комплексов ощущений — индивидуальных вещей, — слушающую только для овладения ощущениями же. Разумеется, с этой точки зрения логические образования не могут служить для адекватного отображения объективной реальности, но лишь дают возможность ориентироваться в мире, вычислять наперед происходящие события и воздействовать на них. И в этом пункте эмпириокритицизм незаметно переходит в прагматизм — родственное ему направление (Пирс, В. Джемс, Шиллер), — который также ссылается на опыт, но еще резче отрицает возможность познания истины логическим путем и выдвигает на первый план не теорию, а практику, целесообразность и полезность в познании. Однако, вполне признавая огромное влияние эмпириокритицизма на философию Файгингера, мы, тем не менее, не можем не отметить, что в признании Файгингером влияния на него эмпириокритицизма, отсутствует у него сознание историко-философской перспективы. Все те элементы эмпириокритицизма, о которых мы только что говорили, встречаются уже у Юма и затем у его последователей — позитивистов, так что ведь и сам Файгингер справедливо называет свою систему позитивным идеализмом, указывая, что она со своею решительностью и исключительностью базируется лишь на непосредственно-данных ощущениях¹¹⁾. Конечно, у Файгингера встречаются и принципы, бо-

⁹⁾Th. Ziehen. Lehrbuch der Logik auf positivistischer Grundlage mit Berücksichtigung der Geschichte der Logik. Bonn, 1920, s. 223.

¹⁰⁾l. s. c. X-XI.

¹¹⁾ib. s. XVI.

лее или менее характерные для одного эмпириокритицизма, например, «принцип наименьшей затраты сил», который применяется к работе психики вообще и понятий в частности¹²⁾. Однако, в его учении о понятии имеется и несомненное, вполне создаваемое им самим, влияние Кондильяка, о котором он все же не говорит, как о своем предшественнике во введении, где он перечисляет родственные ему философские направления. В общем, можно сказать, предшественником Файгингера является не только Юм, но и Локк, поскольку его философия дала происхождение философии Кондильяка и Юма. Сенсуалистически-номиналистические же элементы философии Локка возникли под влиянием Вильгельма Оккама, от которого восходит прямая линия к Росцеллину, циникам, киренаикам и софистам. Все это предшественники Файгингера, такие же самые субъективные сенсуалисты, как и сам Файгингер. У них всех общее с Файгингером — сенсуализм и номинализм.

Сходство Файгингера с Ницше проявляется в одинаковых у них обоих парадоксальности, в выдвигании на первый план жизненных начал, а не разумных, и в отрицании возможности познать истину. Несомненно и влияние на Файгингера волюнтаризма, однако, принцип воли, как таковой, не может уже играть большой роли там, где решительно выдвигается принцип жизни. Больше значения имеет заимствованный от Вундта принцип гетерогонии целей, т. е. перерастания средства над целью (средство с течением времени перестает служить определенной цели, а само становится известной целью) — принцип, который Файгингер применяет к человеческому разуму: разум, служащий для целей жизни, с течением времени становится самоцелью, желая познавать ради познания, но не могущий этого достигнуть, вследствие своей ограниченности (ему отпущено столько сил, сколько это нужно для жизни, а не для познания). Отсюда — и вся трагедия познания, по Файгингеру. Еще большее влияние оказал волюнтаризм на Файгингера, как определенная догматическая система. В сущности вся философия скептицизма Файгингера приобретает свой своеобразный характер именно от привнесения в скептицизм догматического начала — философия Файгингера есть скептицизм догматический.

Было бы ошибочным думать, будто бы Файгингер считает понятие, общее, фикцией, потому, что ему ничего не соответствует в действительности, как это делает, напри-

мер, Астер. Надо сказать, что Файгингер вообще признает действительность исключительно лишь за непосредственно данными ощущениями, считая, что всякое соединение, восполнение и урезывание ощущения есть уже искажение действительности¹³⁾, и что всякое мышление, по существу своему, есть все более и более возрастающее отклонение от действительности¹⁴⁾ и извращение ее¹⁵⁾.

В понимании фикции Файгингер следует за Лотце, который утверждает следующее: «Наконец, фикциями являются допущения, которые делаются с полным сознанием их невозможности, потому ли что они внутренне противоречивы, или же потому, что они не могут иметь значимость, как составные части действительности из внешних оснований»¹⁶⁾. И вот эти отклонения от действительности и извращения ее — «фикции» — Файгингер видит на каждом шагу в познании. Адам Смит, и вообще теоретическая политическая экономия, рассуждает так, как будто бы всякий человек руководствуется во всех своих поступках только лишь эгоизмом и интересом, прекрасно сознавая, что в действительности дело обстоит не так; теоретическая механика также игнорирует всю совокупность действительных условий движения и устанавливает свои законы, начиная с предположения, что тело как будто бы покоится или движется одно, не испытывая никакого влияния от других тел (что в действительности совершенно невозможно). Кондильяк в психологии исходит из очевидной фикции мраморной статуи, получающей постепенно различные способности ощущений и проч. Но классической областью фикций, по Файгингеру, является право и математика¹⁷⁾: с правовой точки зрения приемный сын рассматривается так, как будто бы он был действительный; невинный на суд обвиняемый так, как будто бы он признал свою вину и проч.; с математической точки зрения круг рассматривается так, как будто бы он был эллипсис с двумя фокусами, расстояние между которыми равно нулю; кривая — как будто бы она была совокупностью бесконечно малых прямых¹⁸⁾ и проч. Во всех подобных случаях, по Файгингеру, разум сознательно прибегает к искажению действительности и

¹²⁾ib. s. 176 — 177.

¹³⁾l. s. c. 287.

¹⁴⁾ib. s. 288.

¹⁵⁾ib. s. 175.

¹⁶⁾Lotze. Logik. Leipzig, 1880. S. 412.

¹⁷⁾ib. s. s. 46, 47, 69, 70.

¹⁸⁾ib. ss. 70, 71.

нисколько не претендует в своих построениях на соответствие с реальностью. В этом именно пункте, по мнению Файгингера, и лежит различие между фикцией и гипотезой: гипотеза претендует на реальное соответствие, фикция же сознательно нет; гипотеза открывает, фикция изобретает; гипотеза подтверждается, фикция оправдывает свое существование; гипотеза ставит себе задачей правдоподобность, фикция же — целесообразность¹⁹⁾. Все фикции, по мнению Файгингера, в конечном итоге сводятся к «сравнениям» и «аналогиям», иногда прямым, иногда же путем введения посредствующего члена²⁰⁾. Это утверждение Файгингера, является совершенно правильным, так как фикция не может быть ничем иным, как условным приравнением. Но сводя все фикции к аналогиям и видя во всем знании лишь фикции, Файгингер неизбежно должен рассматривать все знание, как знание по аналогии. Это он на самом деле и утверждает с полной определенностью. «Всякое познание, — говорит Файгингер, — есть апперцепирование при помощи чего-либо другого. Стало быть, при понимании дело идет всегда об аналогии. И совершенно нельзя видеть, каким образом вообще бытие могло бы быть понято иначе. Кто знаком с механизмом мышления, тот знает, что всякое понимание и познание покоятся на апперцепциях по аналогии»²¹⁾. При более подробном рассмотрении, Файгингер делит фикции на два класса: на полу-фикции и настоящие фикции. Полу-фикции только отклоняются от действительности и противоречат ей, настоящие же фикции кроме того являются еще и внутренне-противоречивыми²²⁾. По мнению Файгингера, неправильно думать, будто бы логически противоречивое не имеет цены — «как раз наоборот, логически противоречивые понятия суть самые ценные»²³⁾. Примером полу-фикции можно считать эгоизм Адама Смита, не считающийся со всеми остальными факторами человеческой деятельности, которые существуют в действительности. Пример же настоящей фикции — понятие бесконечно-малых, заключающее в себе, по Файгингеру, внутреннее противоречие. При рассмотрении философии Файгингера естественно встает вопрос: каким же образом, несмотря на сознательно ложные допущения, мы приходим все же к чему-то правильному, хотя бы в нашей деятельности. Этот вопрос не остается чуждым и самому Файгингеру, который даже утверждает, что вопрос — «каким образом мы достигаем все же правильного с сознательно ложными представлениями», в философии может быть поставлен в параллель со зна-

менитым кантовским — «как возможны синтетические суждения a priori»²⁴⁾. Этот вопрос Файгингер разрешает так, что полу-фикции, противоречащие действительности, исправляются просто введением дополнения, упущенного ранее, а настоящие фикции — посредством противоположных ошибок, т. е. сначала вводится ошибка, а затем она упраздняется другой ошибкой, ей противоположной.

Очень часто приходится слышать, что всякому скептицизму неизбежно присуще внутреннее противоречие: скептицизм утверждает, что не существует истины, и в то же самое время, как раз это утверждение претендует быть истиной. Можно не соглашаться с этими возражениями скептицизму, ибо скептицизм утверждает, что не существует абсолютной истины, а это его утверждение претендует быть лишь относительной истиной, ограничивающейся человеческим познанием. Но, что скептицизму Файгингера присуще противоречие — это несомненно. Ведь скептицизм есть отрицание догматизма, а скептицизм Файгингера есть скептицизм догматический. Все человеческое познание Файгингер считает фикциями — такими-то и такими-то отклонениями от действительности, исправляемые такими-то и такими-то способами. Но знать, какие отклонения от действительности представляет собою фикция, и как это отклонение исправляется, это значит уже знать, какова есть действительность. И надо поистине удивляться, какую ничтожную роль играет в системе Файгингера «вещь в себе» — понятие, труднее всего преодолеть, и наоборот, какую огромную роль играют «наши искажения действительности» — понятия, легче всего преодолимые. Положение это весьма старое, оно восходит к стоику Антипатру, боровшемуся против скептицизма, основателя третьей Академии Карнеада: «Скептики, — утверждает Антипатр, — находятся в противоречии с самими собой; ибо, когда они утверждают, что нельзя много знать, то они провозглашают, что они знают, по крайней мере, истинность этого правила». (M. Degeromio «Histoire comparé des systèmes de Philosphi». T. III. Paris, 1823).

¹⁹⁾ib. s. 143 — 154.

²⁰⁾ib. s. 156.

²¹⁾ib. s. 42.

²²⁾ib. ss. 24, 172.

²³⁾ib. s. 92.

²⁴⁾ib. s. X.

Словом, совершенно очевидно, одно из двух: либо Файтингер не знает, какова есть действительность и тогда он не может указать, какими отклонениями от действительности являются наши знания, т. е. не может рассматривать знания, как фикции — и в таком случае его учение лишается всего своеобразие и становится обычным скептицизмом; либо Файтингер знает, какова есть действительность, и тогда он может указать, какими отклонениями от действительности являются наши знания, т. е. может рассматривать знания, как фикции — и, в таком случае, его учение перестает быть скептицизмом и говорит лишь о постепенном, все большем и большем приближении к действительности.

По существу дела, Файтингер и признает это постепенное, все большее и большее приближение наших знаний к действительности. По крайней мере он совершенно определенно признает полную пригодность наших знаний для нашей практики, но ведь для того, чтобы успешно действовать, необходимо именно правильное понимание вещей. Совершенно очевидно, что существо, которое испытывало бы голод и не стремилось бы соответствующими средствами в данных условиях его удовлетворить, а рассматривало бы только себя как будто бы сытым; или существо, которое испытывало бы ряд опасностей для жизни и не стремилось бы соответствующими средствами в данных условиях их предотвратить, а рассматривало бы только себя как будто бы в безопасности; или же существо, (человек) живущее в ледяных областях и испытывающее холод, не стремилось бы защитить себя от холода, а рассматривало бы только себя как будто бы живущим в тепле и пр. — такое существо неминуемо было бы обречено на верную гибель. Поэтому на вопрос, ставимый Файтингером, каким образом мы достигаем все же правильного с сознательно ложными представлениями, — можно только ответить: или мы достигаем правильного не с сознательно ложными представлениями, или с сознательно ложными представлениями мы не достигаем правильного. Правда, иногда для успеха в практике люди прибегают ко лжи, к обману. Но именно обман только тогда ведет к успеху, когда он правдоподобен, т. е. когда правильно создается не только действительное положение вещей, но и то, что добавочный ложный фактор гармонирует с этим действительным положением вещей, например, гиперборейцы надевают шкуру оленя и, подражая походке его, подходят к стаду оленей, или бушмены, надевши чуче-

ло страуса, подходят к стаду страусов и пр.

Итак, всякая фикция непременно предполагает известную истинность, известные истинные стороны. Но можно ли сказать, что остальные стороны ее ложные. Ведь, если бы мы, приравнивая две вещи в определенном отношении, отождествляли бы их во всех отношениях, тогда как у них все стороны, кроме этих приравняваемых, различны, то это, конечно, было бы ложно. Но именно при аналогии мы отождествляем только определенную часть двух вещей, зная, что остальные части их различны, однако, мы их совершенно не касаемся, т. к. не интересуемся ими в данном случае.

Стало быть, вполне естественно и неизбежно, что, интересуясь какой-либо вещью в одном каком либо отношении, мы ограничиваемся указанием, что это отношение совершенно такое же как и данное, нам хорошо известное. Этот ответ вполне отвечает на поставленный вопрос — о большем мы и не спрашиваем. Мы интересуемся юридическим, имущественным и бытовым положением приемного сына и получаем в ответ, что в этом отношении его положение такое же самое как и настоящего сына; или, мы интересуемся имущественными правами известного общества, и получаем в ответ, что эти права такие же, как и у всякого правоспособного физического лица (общество — юридическое лицо) — о другом мы не спрашиваем и большим мы не интересуемся. Поэтому-то и ответ этот никоим образом нельзя рассматривать, как заблуждение; заблуждение здесь было бы лишь в том случае, если бы у приемного сына мы думали найти посредством анализа крови те же признаки, что и у его фиктивного отца, или же предполагали бы выдать замуж юридическое лицо — чего, конечно, нормальные люди, пользующиеся фикциями, не делают никогда.

Таким образом, даже всякая аналогия не есть заблуждение, а есть истина. Но, помимо установления тождества частичного между вещами — аналогии, несомненно, мы устанавливаем и полное тождество между ними, — индукция, — а также подводим известную вещь под другую, которая охватывает ее вместе со множеством других, сходных с нею — дедукция. Однако, ни индукция, ни дедукция Файтингер не знает, признавая лишь одну аналогию, а потому-то и вся система его может представлять собою лишь одностороннее нагромождение парадоксальных метафоров, каковые столь же чужды реальности, как и системы заоблачного идеализма.

Законы развития искусства

Курт Сакс — известный немецкий знаток музыки, в настоящее время — профессор Нью-Йоркского университета. Статья «Законы развития искусства» взята нами из книги К. Сакса «The Commonwealth of Art».

История и судьба искусства не случайны, они, как и вся жизнь, подчинены каким-то законам. Несмотря на все различия отдельных искусств, в них есть некое единство, которое связывает их между собою и все их вместе — с остальной жизнью. Эта закономерная связь — не выдумка, не мечта, не утопия отдаленного будущего, но несомненный реальный факт, который мы можем проследить в истории, начиная с самых ранних эпох.

Сущность художественного творчества состоит в том, что ощущения, которые художник воспринимает из жизни при помощи своих органов зрения, слуха, осязания и т. д., а также посредством интуиции, вызывают в нем видения, которые он потом воплощает в виде статуй, картин или мелодий. Как бы ни были различны первичные ощущения художника и те средства, при помощи которых он воспроизводит свои видения, тем не менее они все связаны в одно неразрывное целое, образуя духовное единство. Эти различия, связанные в единстве, можно уподобить координации частей тела человека, которые одновременно, но каждая по своему, принимают участие в выражении чувств человека — радости или горя, довольства или гнева, надежды или отчаяния: радостно сияющие или потухающие глаза, выразительные жесты, говорящие руки, звучный или упавший голос. Все эти части тела управляются разными физиологическими системами, однако, все они подчинены единому центральному движущему импульсу и обусловлены единым волевым актом или рефлексом.

Подобно движению и речи, искусства являются способом выражения и проявления

человеческого «я»; каждое из них подтверждает и укрепляет при помощи своих средств то, что уже было высказано или выражено другим искусством: чувственную реакцию человека на внутреннее или внешнее раздражение.

В бесчисленных сменах направлений в истории искусства мы можем различить два основных течения, взаимно полярных и по очереди сменяющих друг друга: классицизм и романтизм. Первому приписывается обычно статичность, второму — динамичность. Но эти термины настолько многозначны и ведут к такой путанице понятий, что необходимо установить новые точные обозначения.

Греки времен Перикла первые установили эти два взаимно противоположные направления. Их также почувствовал и воспринял Ницше, который употреблял выражения: «Аполлоново и Дионисиево начало» или «мудрая соразмерность и страстная безмерность». Но мы предпочитаем пользоваться греческими терминами, установленными как для жизни, так и для искусства: «этос» и «пафос». Словом «этос» греки обозначали ясное спокойствие души, мудрость самообладания. Этос обозначает больше, чем осторожная сдержанность или бесстрастность, он подразумевает, говоря словами Платона, «лучшую часть души, склонную довериться мере и числу». Этос включает в себе веру в абсолютные непреложные ценности, в совершенство и в неизменность во времени. Но совершенство и неизменность существуют лишь как идеи, как прообразы. Поэтому этос игнорирует характерные индивидуальные черты живых людей, как и их случайные настроения,

действия и явления. Вместо этого он берет элементы прекрасного от наилучших экземпляров, сливает их в одно целое и образует таким образом синтетический идеал красоты с совершенными, как он верит, пропорциями. Слово «этос» мы будем употреблять вместо неточного выражения «классицизм».

Пафос, напротив, означает страдание и страсть, а также включает в себе все внешние, случайные влияния, которые испытывает на себе предмет или личность. В пафосе мы находим вместо светлого спокойствия — возбуждение и страсть, вместо божественного бесстрастия — человеческое страдание; вместо непогрешимого идеализма — натурализм со всеми его причудливыми особенностями. Вместе с изменением основного принципа, неизбежно меняются также и все связанные с ним идеалы, стремления и цели. Идея неизменности во времени уступает место идее роста и эволюции; идея совершенного типа — идее индивидуального характера. Вместо общих норм и правил и типичных черт выступают частные особенности и различия. Лозунгами являются: жизнь, природа и правдивость. Словом «пафос» мы заменяем неудовлетворительное выражение «романтизм».

Основное различие в том, что этос имеет в виду «вещи в себе», тогда, как пафос — их меняющееся проявление. Этос хочет видеть предмет таким, каким он в идеале есть; пафос — таким, каким он представляется нашим чувствам. Этос и пафос, эти два полярные понятия, созданные античными греками, выражают собою вечную антитезу, которая проявляется во все эпохи, во всех странах и во всех отраслях искусства. Эти два слова вместе с тем достаточно точны и характерны для определения главных и постоянных факторов в развитии стиля. Поэтому мы принимаем их, несмотря на то, что они иногда звучат недостаточно определено. Ибо, чем неопределеннее выражение, тем лучше оно подходит для тех сложных явлений искусства, которые вообще не поддаются точному определению.

Как показывает история, развитие искусства идет колеблясь, на подобие маятника, между этосом — стилем спокойствия, силы и уравновешенности, и пафосом — стилем страсти, свободы и устремленности, туда и обратно, сменяя направление через некоторые промежутки времени, которые, приблизительно, соответствуют жизни одного поколения. Эти периоды мы называем фазами, причем, в это понятие входит не только представление о времени, но также и некоторое стремление к равновесию. Смена

фаз носит характер цикла, который мы назовем малым циклом. Развитие стиля можно уподобить процессу ходьбы, когда человек поочередно переносит свою тяжесть с одной ноги на другую, и выносит вперед то одну, то другую ногу.

Но это еще не все. Подобно тому, как циклическая смена дневного тепла и ночной прохлады укладывается в большой цикл смены лета и зимы, так и в истории искусства фазы отдельных поколений укладываются в большие эпохальные циклы, которые мы называем «готика», «ренессанс», «барокко» или — в еще более широких рамках — искусство древности и средневековья.

Отдельные виды искусства неодинаково участвуют в этих фазах; это и невозможно, так как слишком велики различия между ними. Например, архитектура, как организация пространства, лишенная движения, — по природе своей статична, тектонична и по большей части симметрична; далее она проявляет черты постоянства, безличия и бесстрастия. Поэтому ей ближе, более присущ этос и она достигает наибольшего значения именно в эпохи этоса и, наоборот, приходит в упадок, теряя творческую силу, во времена, лежащие под знаком пафоса.

Напротив, музыка, как искусство, лежащее во времени и в движении, в своей сущности преходяща, динамична, чувствительна и субъективна. Поэтому она находится под знаком пафоса и играет наиболее значительную роль в эпохи пафоса, теряя свое значение в эпохи этоса.

Скульптура и живопись находятся между этими двумя полярными искусствами, причем скульптура стоит ближе к архитектуре, а живопись более сродни музыке; эти последние даже одновременно приходят в упадок, как видно из истории: в 14-м веке расцвет Джотто в живописи связан именем Ландино в музыке; в 17-м веке Рембрандт, Рубенс и Веласкес неотделимы от появления оперы, нового оркестра и новой камерной музыки; в 19-м веке блестящая плеяда импрессионистов находится в несомненном родстве с Вагнером и Брамсом. Это все убедительные примеры одновременного преобладания живописи и музыки в заключительных фазах цикла.

Но было бы поспешным выводом связывать все фазы этоса с преобладанием архитектуры, а все фазы пафоса с подъемом музыки и соответственно размещать также скульптуру и живопись. Достаточно запомнить, что циклы, как малые, так и большие, развиваются от этоса и его искусств к пафосу и его искусствам.

Все циклы проявляют в своей начальной стадии преоблада-

ние изобразительных искусств, чаще всего архитектуры, а в конечной стадии — преобладание музыки.

Нетрудно доказать это примерами из истории.

Преобладание архитектуры особенно ясно в раннем романском стиле, когда скульптура, живопись и музыка, как бы они ни были значительны, не могут идти в сравнение с соборами в Пизе, Тулузе и Бамберге. С другой стороны, музыка растет в своем значении от «Органума» эпохи Карла Великого до Леонинуса.

В готическом цикле архитектура и скульптура почти полностью заполняют начало и середину этой эпохи, в то время, как живопись и музыка начинают свое развитие лишь в 13-м веке и получают преобладание во Франции и Италии только к 1300 году.

Ренессанс начинается также с архитектуры, с паломничества Брунелески к остаткам антики в Риме; с церкви и дворцов, построенных тем же Брунелески и Микелоццо и с теоретических изысканий Джан Ватиста Альберти. Музыка, напротив, в это время в Италии настолько не развита, что до середины 16-го века итальянцы пробавлялись главным образом нидерландской музыкой, лишь слегка смягчив ее острый, поздне-готический характер. Еще в 1560 году фламандцы полностью господствовали в итальянской музыке, хотя существовали уже и собственные, типично итальянские формы, как мадригал. Палестрина, величайший итальянский композитор, блистал лишь в самом конце Ренессанса. (1524 — 1594).

Тогда появились в архитектуре две ведущие личности — Палладио и Виньола. Оба были и как строители, и как теоретики, прародителями приближающегося барокко. Они не столько заканчивали эпоху ренессанса, сколько начинали новую, тогда как Палестрина, доведший в это же время полифоническую музыку до блестящего апогея, безусловно заканчивал собою эпоху ренессанса.

Одновременно с этим, новое поколение музыкантов начинало робкие поиски новых форм, которые являлись полной противоположностью музыке Палестрины. Отказываясь от богатых, сложных форм современной им полифонии, они создают речитатив, одноголосную чувствительную мелодию, простое «Валетто», которое, по сравнению с мессами, мотетами и мадригалами старых мастеров, поражает скудостью своей музыки, столь характерной для каждого начала нового музыкального стиля.

Следующее — 17-е столетие, эпоха Ру-

бенса, Веласкеза и Рембрандта, принадлежит главным образом живописи. К концу барокко, примерно к 1700 году, архитектура, не принося новых идей, вырождается в причудливую, эlegantную, декоративную оргию завитухек рококо. В скульптуре и живописи начинается упадок. Но музыка все растет и, через Монтеверде и Габриэли, подымается до высот Баха и Генделя, неаполитанской оперы и великого французского Рамо. Пластические искусства этого времени не могут выставить ни одного равноценного имени.

Обозревая эпоху ренессанса в полном ее объеме, можно с уверенностью утверждать, что достижения архитектуры первой фазы — около 1430 г. — были значительнее, чем ее достижения второго периода — к 1550 г.; наоборот, достижения музыки были гораздо значительнее к концу второй фазы, чем первой. Это значит, что развитие искусства идет от пластики — особенно архитектуры — к музыке не только в малых циклах, но и в больших.

Приблизительно также шло развитие искусства и в последующую эпоху — эпоху романтики или пафоса. Поколение Баха и Генделя было великолепно закатом богатого и сложного полифонического стиля; но тут же снова рождается иной стиль, в скудости деревянных инструментов, с одноголосой или в лучшем случае с двухголосой мелодией. Мало по малу эта новая музыка становится все значительнее, богаче и выразительнее, и к 1900 году она завоевывает себе первое место среди искусств. Она заявляет свой авторитет во всех областях; она выходит из границ церковных потребностей и развлечения и становится громадной духовной силой, проникает собою мировоззрения и захватывает даже область политики. В трезвую эпоху материализма и естественных наук музыка создала волну опьяняющего вдохновения, совершенно неизвестную в предыдущие столетия, и покорила даже царство поэзии. «Музыка — выше всего!» — говорит поэт Поль Верлен; для Стефана Малларме музыка стиха была дороже, чем его смысловое содержание.

Совершенно естественно, что архитектура — этот антипод музыки — проявила в эту эпоху полную неспособность создать какой-либо собственный стиль и беспомощно пыталась оживить прежние стили. Ибо эпоха романтики не может дать столь имперсональному, безличному искусству, как архитектура, иного источника вдохновения, иного направления, как образцы далекого прошлого.

Сравнивая общую картину эпохи романтики с эпохой ренессанса, мы замечаем,

что преобладание музыки над живописью, скульптурой и архитектурой в конце романтики гораздо сильнее, чем в конце ренессанса. Это явление доказывает, что волны большого цикла нового времени все прибывают в направлении к музыкальному полюсу, совершенно так же, как это было в средневековье.

Мы переживаем сейчас начало нового периода. На наших глазах архитектура вновь начинает оживать и сейчас она единственное искусство, имеющее корни в действительной современной жизни. Этого нельзя сказать о современной скульптуре или живописи, не говоря уже о совершенно безнадежных попытках современной музыки достигнуть понимания и признания и пустить корни в жизни. В этом не виноваты ни композиторы, ни публика; причина кризиса не в недостатке мастерства с одной стороны или понимания с другой, причина лежит вне человеческих сил, она — в неумолимом законе развития искусства.

Смену преобладания одного искусства над другим можно сравнить со сменой господствующей нации. Ибо, как говорит Перси Гарднер в своей прекрасной книге «Начала греческого искусства»: «каждому народу дано воплотить в себе и явить миру известную часть тех великих творческих сил, которые движут и образуют человечество. Но в каждый период времени одному какому-то народу удается лучше воплотить и представить эти силы, чем всем остальным народам».

Такая смена преобладания особенно ясна, когда какой-нибудь народ исключительно одарен в одном искусстве и лишен всяких способностей во всех остальных. Нигде такая односторонность и, как следствие, смена одного народа другим, не выступает с такой убедительной наглядностью, как в эпоху ренессанса между 15 и 17 столетиями. Вся творческая сила итальянского народа воплотилась в этот период в пластических искусствах, и страна не дала за это время ни одного музыканта, достойного сравнения с бесчисленными выдающимися архитекторами, скульпторами, чеканщиками и живописцами. Музыкальная бедность была такова, что княжеские дворы вынуждены были выписывать музыкантов из Нидерланд или Бургундии. Национальный итальянский мадригал и многоголосный стиль венецианских песен был создан чужестранцами. Нельзя сказать, чтобы Италия была тогда немusыкальна: каждый любил музыку, играл и пел, и в особенности мастера пластических искусств отличались этим. Но у Италии того времени не оказа-

лось талантов и сил для собственной творческой деятельности в области музыки.

Это положение длилось 120-130 лет, пока в Италии продолжался расцвет пластических искусств. Но оно закончилось почти внезапно по смерти Микель-Анджело в 1654 г., когда наступил быстрый упадок в архитектуре, живописи и скульптуре. В течение многих десятилетий произошел перелом: фламандские художники: Рубенс, Гальс, Рембрандт — уже на много превосходят своих итальянских современников. И в то же время нидерландская музыка падает, и первенство переходит к Италии, которая держит его вплоть до появления Моцарта. С 1760 г. немцы, которые до того времени редко стояли в центре художественного творчества, впервые появляются на авансцене, прежде всего в инструментальной музыке. И с тех пор они занимают ведущее место в этой области, вплоть до первой мировой войны.

В создании сокровищницы искусств Западной Европы после античной эпохи принимали участие, главным образом, следующие страны: Англия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Испания. Попробуем очертить характер художественной структуры каждого из этих народов, а затем и роль их в процессе художественного развития.

Отношение к искусству англичан определяется национальными особенностями этого народа: любовью к жизни и к природе, юмор, здравый смысл, рационализм, трезвость и сдержанность. Размеренность и уравновешенность, связанные с этими качествами, неизбежно подавляют и гасят всякий пафос. Это сказывается особенно в архитектуре и в музыке. Некоторая массивность романского стиля и сильная тенденция к горизонтализму отличают уравновешенную английскую готику от континентальной, для которой характерны стремление к освобождению от массы и взлет вертикализма. И, подобно этому, массивность терц-аккорда типична для средневековой английской музыки, в отличие от более легкого кварт-аккорда континентальной музыки.

Английской архитектуре эпохи барокко далек беспокойный динамический характер итальянского, французского и испанского барокко, точно также как английской музыке этой эпохи почти совершенно чужды характерные черты итальянской музыки барокко. В музыке Англия довольствовалась легкой драматической формой и противилась большому оркестровым ансамблям, предпочитая камерную музыку, где

каждый голос представлен всего одним инструментом.

Наоборот, спокойные стили воспринимались в Англии легче и охотнее, чем в других странах. Английская архитектура 17-го века приближалась к классическому стилю Палладио и Виньоли; возрождение классицизма в конце 18-го века в Англии, пожалуй, было сердечнее встречено, чем где-бы то ни было; и в 19-м веке прерафаэлиты завоевали здесь такое влияние, какого родственные им движения никогда не достигали на континенте.

Но было бы большим заблуждением принимать английскую сдержанность за классическое спокойствие и самих англичан — за нацию, отмеченную духом этоса. Вудь это так, им никогда не удалось бы создать свою непревзойденную готику, Шекспир не был бы их величайшим гением, не было бы ни Диккенса, ни Байрона, ни Шелли, ни таких художников, как Гогарт, Констэбл или Тёрнер.

Нидерланды, наоборот, стояли преимущественно на антиклассической стороне. Идеалы Греции или Рима, канонические пропорции, мифология, великие задания — никогда не были идеалом Голландии и Фландрии, т. е. эти народы любили природу, интимность и повседневную жизнь. Временами они стояли в живописи и в музыке на вершине современного искусства; в живописи — в конце готической эпохи и в 17-м веке, в музыке — в течение периода возрождения. Их архитектура стояла всегда, начиная с готики, на высоком уровне, хотя она и не оказывала большого влияния на Европу (за исключением новейшего стиля). Скульптура в Нидерландах редко достигала большого значения. Тоже можно сказать и о танце — бургундские и брабантские танцы 15-го века принадлежат скорее Франции, чем Нидерландам.

Антиклассическая позиция Испании была другого рода. Своеобразное смешение мистики с грубым натурализмом в характере народа не допускало радости жизни и гармонии; ясное спокойствие было совершенно чуждо фанатической, страстной душе Испании. Влияние этоса едва коснулось этой страны, но зато стиль пафоса развился в Испании до крайних пределов, остальной Европе незнакомых. Соборы, вместо обычных трех продольных нефов, достигали пяти и даже семи, как в Севилье и Сарагосе; строгая сдержанность итальянских построек превратилась в распущенный декоративный стиль; «пламенный» стиль поздней готики и позднего барокко далеко превзошли все континентальные образцы в страстности и неумеренной пышности.

Скульпторы и живописцы также впадали в чрезмерность и предавались изысканным ухищрениям в своей технике.

Испания — глубоко музыкальна. Но ее музыка, хотя и достигла высокого развития, все же слишком национальна, слишком насыщена фольклором, чтобы легко проникать в другие страны.

Германия дала большое число превосходных мастеров во всех областях искусства, однако никто из них — за исключением музыкантов конца 18-го века — не играл крупной международной роли. В Германии мы находим здания, выстроенные в стиле итальянского барокко или французского классицизма, но ни один из национальных немецких стилей не проложил себе дороги во Францию и в Италию. Так же обстоит дело и с музыкой и с танцем. Германия оставалась незатронутой веяниями и модами международного большого света, которые исходили то из Италии, то из Испании, то из Франции. Даже те чужие стили, которые настолько отвечали национальным потребностям Германии, что впоследствии стали считаться немецкими, проникли в Германию с большим трудом. Готическая архитектура и рыцарская поэзия и музыка были восприняты Германией на целое столетие позже, чем они получили свое развитие во Франции.

Причины этой изоляции Германии лежат в национальном характере немцев и в вытекающем из него преобладании пафоса в немецком искусстве. Пафос вообще коренится в народных традициях, тогда как этос и гуманизм имеют сверхнациональные корни. Лучшее, что есть в немецком искусстве, — это действительно высоко культивированное народное искусство: живописные ратуши с их высокими фронтонами произошли от крестьянских домов, а скульптура южно-германского барокко — от туземного искусства деревянной резьбы. Танцы Германии развились из деревенского обычая вертеться парами, щекой к щеке, и из тяжелых плясок горных жителей в их подкованной обуви. Оттуда они перешли в дома городских патрициев. Здесь сказывается одна характерная для немецкого искусства черта: вследствие того, что Германия не имела единого императорского или королевского двора, а была разбита на многие княжества, ее аристократия не получила характера замкнутой безличной касты интернационального образа, но сохранила живую связь с местным населением; поэтому и искусство в Германии получило провинциальный, бюргерский характер. Это бюргерское искусство, как и народное искусство, всегда консервативно и упорно со-

противляется всякому внешнему влиянию и проникновению. Оно не выносит также и экспорта, подобно деревенскому вину, которое должно быть выпито там, где оно произведено.

Единственным видом народного искусства, способным к экспорту, являются танцы. Ибо танец, культивируемый в слишком утонченном обществе, всегда с течением времени становится бескровным, и тогда его можно оживить лишь введением свежих танцев других народов, более примитивных, более сильных, выразительных и полнокровных. Именно по этой причине в конце 18-го века европейское общество заменило до смерти надоевший изысканный менуэт примитивным танцем немецких горцев — вальсом.

Несмотря на свой пафос, или лучше сказать — в силу своего пафоса, Германию всегда тянуло к этосу Греции и Италии, к равновесию и гармонии. Гете лучше всего выразил, это стремление, дав определение стилю греков: «благородная простота и тихое величие». Эта тяга сказывалась неоднократно в истории: в ранних попытках своеобразного «возрождения» времен Карла Великого, Оттона 2-го и Фридриха Барбароссы (между 800 и 1250 г.г.) в гуманизме 1500 г., в паломничествах Дюрера, Гете, Корнелиуса в Италию и т. д.

Почему же немцы после 1760 г. оказались в состоянии экспортировать свою музыку за границу и даже приобрели в ней такое же преобладание, как в танце? Благодаря чему оказались они бесспорно лучшими артистами в концертных залах всей Западной Европы? Дело в том, что в период романтики главные конкуренты Германии — Франция и, в особенности, Италия — оказались неспособными (или не желали) содействовать развитию симфонии и камерной музыки. Франция всегда питала отвращение к крупным инструментальным произведениям. Честь создания основных элементов симфонии и камерной музыки: канцонны, камерной сонаты, церковной сонаты и токкаты принадлежит Италии. Эта страна играла даже решающую роль в образовании поздних форм сонаты, а вместе с тем и всей инструментальной музыки. Почему же Италия отошла от нее в середине 18-го века? Причины лежат в изменившемся характере новой музыки.

Эта новая романтическая инструментальная музыка содержит в себе нечто, что выходит за пределы простого ощущения и простого разума, нечто неопределенное, что не постигается ухом и не может быть выражено в ясных и недвусмысленных словах. Именно это неуловимое содержание

имели в виду поэт Вакенродер, назвавший музыку «искусством искусств» и Роберт Шуман своей формулировкой «романтика в себе самой». Музыка этого рода редко появлялась во Франции и в Италии: выход за пределы ощущения противоречил духу Италии, выход за границы постижения разумом — был неприемлем для Франции, а неясность — была чуждой для них обеих. Таким образом, романтическая музыка оказалась предоставленной одной Германии.

В Европе сложилось поочередное водительство двух наций — Италии и Франции. В Италии смены фаз выступали ясней и отчетливей, чем в какой-либо иной стране, что объясняется богатством форм и обилием стилей, созданных Италией, а также ее природным чувством равновесия. Она создала гармонический классический ренессанс, и пышный оргиастический барокко. Но итальянский ренессанс никогда не обращался в бледный, безжизненный, академически-застывший стиль. А барокко, даже в период наиболее буйного расцвета, сохранил латинский дух соразмерности, совершенство форм и чувственную красоту, лишь изредка и ненадолго прорываясь за границы умеренности.

Во Франции был создан полный динамики готический стиль. И в 19-м веке Франция была лидером в развитии динамических стилей. Несмотря на это, статические силы Франции всегда были сильнее динамических и умели их подавлять. Франция сопротивлялась всем попыткам введения итальянского барокко и успешно воздерживалась от всех преувеличений, от всех излишеств, даже если стиль их требовал. Слово «вкус», без которого французская критика не может обойтись, означает воздержанность, гармоническое равновесие и ясность. Это исключительное равновесие французской культуры вовсе не покоится на принципе «золотой середины», наоборот, оно основано на синтезе активных, противоборствующих сил. Франция соединила в себе элементы средне-европейского, западного и южного климата и стиля, она слила в себе черты кельтов, латинян, германцев, каталанцев, басков и греков. Франция — страна традиций, школ и академий, но она же и страна революций и дерзких еретиков. Французы противопоставляют грезам и туманным видениям доводы холодного, неумолимого рассудка, но они при этом умеют перехитрить свою собственную логику, когда она угрожает разрушить создания их творческой фантазии. И подобно тому, как при всех своих эксцессах и экстравагантностях Франция сохраняет чувство

меры, так и обратно — под ее холодным классицизмом таится жаркое веяние духа романтики.

Благодаря этой уравниловке Франция всегда была главным центром западной мысли. В течение всего большого цикла средневекового искусства, с его романской и готической фазами, французы стояли в архитектуре на первом месте; лучшими музыкантами этой эпохи были также французы. Всего лишь в течение двух веков от 1430 до 1640 г.г. первое место принадлежало Италии, как в изобразительных искусствах, так и в музыке. Но уже в середине этого периода французы отвоевали ведущую позицию в светских манерах, в танце и в костюме. И последующие два с половиной века вплоть до нашего времени были в основном тоже под французским водительством. Монаршие дворы всей Европы во всем брали пример с Версаля; борьба «третьего сословия» против аристократии разыгралась в Париже; все передовые идеи в политике, в экономике, в естественных науках и в искусстве были прежде всего формулированы во Франции. Новая архитектура Европы родилась во Франции, так же как и дамские моды. Живописцы всего света съезжались в Париж учиться у Давида и Энгра, у Коро и Манэ, у Сезанна и Пикассо. То же и в области словесного искусства: ни одна литература не могла равняться с французской, ни одна не была столь «модерной» в своих проблемах, столь смелой в решениях, столь совершенной в стиле.

Народам Европы, стоящим под знаком пафоса, не суждено было длительно блистать на авансцене мирового искусства. Но каждый раз, когда в эпохальном цикле приходила на очередь фаза пафоса, эти народы выступали из-за кулис и, пока длилась фаза, играли свою роль, подчас выдающуюся. Такова была роль Германии в архитектуре в фазе романского искусства, а в музыке — в течение всего периода романтики. Фландрия играла видную роль в архитектуре в конце «пламенного стиля» поздней готики, а в живописи — в период барокко. Наконец, во второй половине 19-го века выступили на международную сцену скандинавы, славяне, венгры и другие народы, которые до сих пор стояли в отдалении. Прежде всего они проявили себя в области поэзии, музыки и танца. Это явление объясняется не только тем, что в разгар патетического цикла Европа искала и готова была принять любое народное и экзотическое искусство, но еще в большей степени и тем, что эти народы, зараженные своим племенным, национальным пафосом,

оказались созвучны эпохе и способны были слиться с потоком времени.

Но такая общая характеристика национальных типов и чередования их может повести к упрощенному пониманию сложной истории судеб стилей. Если ведущая роль на арене мирового искусства и принадлежит часто одной какой-то нации, то для этого от данной нации требуется нечто большее, чем один только подходящий к эпохе национальный характер.

Здесь мы касаемся щекотливой темы, ибо выражения «национальный» и «интернациональный» обратились в лозунги, в дешёвые, соблазнительные, обманчивые и опасные ярлыки, требующие проверки и осторожности более, чем какие либо другие лозунги. Что значит, собственно, национальный, интернациональный, сверхнациональный?

Даже в возвышенной сфере великого, где национальный элемент так незначителен, отношение к нему остается нерешенной проблемой. Эпохи пафоса, — которые отличаются вообще пристрастием ко всему характерному и особенному, — склонны преувеличивать очарование национального своеобразия, как в чужом быту, так и в своем собственном. В первом случае это ведет к экзотике, во втором — к культу фольклора. А отсюда всего лишь два шага до национализма и шовинизма.

Художники фазы пафоса обращаются к прошлому, к мифам, к истории, к стилям прошлых веков, которые они иногда справедливо, но чаще неосновательно, считают за творчество своих духовных предков. Они воспринимают и воссоздают все местные наречия и подчеркивают все расовые, национальные и родовые связи, доводя их до высокомерия, нетерпимости и ненависти ко всему чужому. Вагнер хвалился тем, что в Байройте он создал «немецкое искусство», на что Клод Дебюсси ответил, что он после своего имени всегда ставил: «французский музыкант».

Этот, напротив, стремится к первообразам, к совершенству, к постоянству; за всеми различиями и особенностями наций и рас он видит их общность и он подчеркивает основное единство всего человечества. Его сторонники не довольствуются тем, чтобы быть только гражданами своей страны, они хотят быть космополитами, «гражданами мира», как Гете называл себя. В этом смысле Глюк говорил в 1773 г. о создании стиля в музыке, который охватил бы все нации и стер бы все «ничтожные» различия между национальными стилями. И спустя 12 лет француз Поль Гюи де-Шабонон, прославляя значение Глюка, впервые назвал

музыку «универсальным языком нашего континента». Это все еще слишком узкое определение было через несколько лет значительно расширено, когда поэт Вильгельм Гайнце в своих «Музыкальных диалогах» приветствовал музыку, как «всеобщий язык, столь же понятный ирокезам, как и итальянцам».

Как раз в течение этих десятилетий, когда так подчеркивалось общемировое значение музыки, возникло классицистическое искусство — никто не знает где; во Франции, в Англии или в Германии — которое было настолько международно, что не позволяло находить какой либо «итальянский» дук в Канове, «германский» в Шадове или «датский» в Торвальдсене. На этот раз влияние этоса преодолело все расы и нации.

Так проявляется последняя полярность, последний аспект вечного дуализма в искусстве: нация против человечества. Крайний фанатизм в направлении узко национального искусства неизбежно приводит к бесплодности и, в конце концов, к оскудению; такой-же фанатизм в сторону сверх-национального искусства столь-же неизбежно приводит к плоскому, бесцветному однообразию. В действительности оба эти направления друг друга восполняют. Необходимо поочередно выдвигать то одно, то другое направление: таким образом, получается уравновешенность развития стиля.

Запутанное и зачастую обескураживающее чередование стилей представляется нам в свете исторических фактов не как прямолинейное развитие, не как постепенное созревание, не как непрерывный гладкий прогресс. Но оно и не является также ни случайным результатом бессмысленных, вечно меняющихся капризов вкуса, ни плодом личного водительства. Нет: с бесконечной логичностью, закономерностью и непреклонностью направляется величественный путь развития искусства, проходя фазы, ко-

торые в своих сменах определяют вечное движение и одновременно вечное согласование. Фазы, соответствующие поколениям, группируются в циклы, которые развиваются от этоса к пафосу. И эти циклы в свою очередь образуют большие циклы с тем-же направлением развития от этоса к пафосу; и так далее, вплоть до гигантских циклов, которые в себе заключают все остальные. Их сложное движение во времени напоминает путь луны, который составлен из тройного вращения: вокруг земли, затем вместе с землей вокруг солнца и, наконец, вместе с солнцем вокруг центра Млечного Пути.

Все искусства принимают участие в этом движении. По очереди то одно, то другое идет впереди; этапы их движения перемещаются и переставляются. И тем не менее их общий путь также взаимно координирован, как координированы отдельные голоса фуги, которые следуют один за другим, то ускоряя, то замедляя темп, то в равномерных интервалах, то в задышающемся «стретто», то величавой поступью, то семенящими шажками, пока, согласно плану Мастера, не будет достигнуто высшее единство, какое только доступно музыке. Подобным же образом архитектура, скульптура, живопись, музыка и танец образуют отдельные голоса гигантской фуги: ни одно из этих искусств, несмотря на всю свою свободу, не может отклониться от своего пути, предначертанного ему Мастером. Ибо все они лишь человеческие создания и имеют лишь ту жизнь, то дыхание, ту движущую силу, которую они получили от человека. Как бы различно ни отражали искусства стремления эпох и наций, тем не менее они не могут отдалиться ни от людей, ни друг от друга. Исходя из единого творческого побуждения, они составляют единое, неразрывное содружество искусств.

Перевод Е. III

Музыкальная жизнь Америки

Европа до сих пор еще не имеет правильного представления о современной культурной жизни Америки. По общему мнению европейцев, жизнь в Соединенных Штатах настолько насыщена «бизнес» «делом», — что нет даже основных предпосылок для какой-либо духовной культуры, нет потребности в ней, нет необходимой атмосферы, нет духа, традиций и, следовательно, нет и самой культуры. Один знаменитый дирижер говорил еще недавно со снисходительной улыбкой: «Ну, они там еще должны пока учиться, как надо дирижировать симфонией!»

Эти мнения устарели. Европа, занятая своими делами, проглядела духовный рост и развитие Америки. Правда, музыкальные традиции в Европе существуют уже сотни лет, они старше, чем сама «белая Америка», которой, если считать ее от первых эмигрантов на «Мэйфлауэр», — едва 300 лет. Правда, что до середины 19-го века американцы были полностью заняты освоением огромного материка: расчисткой девственных лесов, распашкой земли, прокладкой железной дороги на 5000 километров, постройкой своих огромных столиц на Востоке и на Западе. Они создали целый новый континент, новую Империю. В это время им было не до живописи и музыки.

Только в середине прошлого века американцы нашли время и почувствовали потребность вспомнить о духовной культуре. В 1843 г. был основан первый постоянный симфонический оркестр — Нью-Йоркская Филармония. В 1867 г. открыта первая консерватория в Балтиморе. В 1883 г. построена знаменитая Метрополитэн-Опера. Но это все еще было искусство для немногих избранных, недоступное публике. Метрополитэн-Опера существовала лишь для «верхних 10000», богачей, которые там больше себя показывали, чем слушали и смотрели. Билет стоил 50 долларов, в то время как пара приличной обуви стоила 4-5 долларов. Каждая опера шла в сезон лишь один раз, второй раз никто не пошел бы — уже видели. Напомним для сравнения, что в это же время в Петербурге тысячи студентов каждое утро заполняли площадь Мариин-

ского театра, добываясь билета на галерею, который стоил от 12 до 50 копеек.

Поворот в Америке начался после первой мировой войны. Можно сказать, что в это время Америка открыла музыку. С 1921 по 1924 г. были основаны три новые высшие музыкальные школы: Кёртис-Институт в Филадельфии, Джулар-Скул в Нью-Йорке и Истман-Скул в Рочестере. Все три были щедро субсидированы меценатами. В Сан-Франциско и Чикаго построены оперы. Особенно поразительным было развитие оркестровой музыки. Между 1918 и 1945 г. в США возникло не менее 150 новых постоянных оркестров, из которых не менее 50 первоклассных. Помимо этого, бесчисленное множество школьных оркестров и джаз-бандов — пожалуй до 30.000. Столь же необычайное развитие получило музыкальное образование в школах. Недавно в Кливленде состоялся съезд преподавателей музыки, на котором присутствовало 4.000 человек, начиная от учителей сельских школ и кончая профессорами консерваторий и университетов.

Радио, как и следовало ожидать, сыграло огромную роль в этом развитии. Тот факт, что такие грандиозные оркестры, как в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Метрополитэн-Оперы можно слушать по радио каждую неделю, — не только усиливает интерес к музыке в широких кругах, но и бесспорно поднимает уровень средних и малых оркестров в провинции. В США насчитывается теперь 900 радио-станций, обслуживающих население, а вышеуказанные передачи первоклассной музыки высываются 200 станциями и могут слушаться в любой точке США.

В этом неслыханно быстром и широком развитии очень крупную роль сыграли европейские музыканты. Очень много дали Америке — помимо своего желания — тоталитарные государства Европы, так как эмиграция культурных сил из этих стран направлялась, главным образом, в США. Так, из России сюда прибыли С. Кусевицкий, который сейчас дирижирует бостонским оркестром, С. Рахманинов, умерший здесь в 1943 году, который был директором

косерватории и художественным инспектором фортепьянных фабрик, затем композитор Гречанинов; дирижер Зилоги, скрипач Яша Хейфец, пианист Горовиц и многие другие.

Из Германии прибыли композиторы Пауль Гиндемит, Арнольд Шенберг, Курт Вайль, знаменитый дирижер Вруно Вальтер. Из Италии — лучший итальянский дирижер Артуро Тосканини со своим оркестром.

Помимо того, можно указать такие имена, как композитор Игорь Стравинский — русский, живший в Париже, Дариус Мильхауд, Богуслав Мартину, Эрнст Кшеник, Карл Ратхауз, Георг Селль, Пьер Монте, Рудольф Рети, Барток, Эрнст Тох, Тансман и много других.

Эта плеяда первоклассных композиторов, дирижеров и виртуозов внесла неоцененный вклад в американскую музыкальную культуру и успела воспитать целое поколение американских музыкантов.

В 30-х годах по инициативе правительства была произведена перепись музыкантов и композиторов в США. Оказалось налицо не менее 2500 композиторов, крупные произведения которых уже исполнялись публично; из этого числа свыше половины жили только своей творческой деятельностью, не имея добавочных занятий или средств к существованию.

За последние 20 лет начинается расцвет собственно американской музыки: она приобретает национальный характер и интернациональное значение. Соединенные Штаты, которые раньше ввозили к себе чужих музыкантов, теперь начинают вывозить свою музыку. Постепенно страны со старой музыкальной культурой начинают распознавать и признавать американское направление в музыке.

В истории музыки центр творческой деятельности переходил с течением времени из одной страны в другую. Народы, которые считались ранее «немузыкальными», все более и более включаются в музыкальную жизнь. Так во второй половине XIX столетия включилась Россия и Скандинавские страны. Можно с полной уверенностью предсказать, что в текущем столетии народы западного полушария — сперва Северная Америка, потом и Южная — явятся творцами новой музыки.

Первые признаки нового здорового движения в музыке появляются в США вскоре после первой мировой войны. До этого времени американская музыка была академична и строго придерживалась европейских образцов. В первые годы нашего столетия ряд американских композиторов

пробовал черпать мелодии (элементы, мотивы) для самостоятельного национального стиля в напевах северо-американских индейцев и в старых песнях первых англосаксонских иммигрантов, поселившихся в горах Кентукки и Вирджинии. Затем эти искания были перенесены на негритянские песни и мотивы современного джаз-банда. Каждая из этих попыток оставила кое-что после себя, но ни одна из них не дала цельного решения проблемы создания подлинного американского музыкального стиля. До сих пор еще преждевременно было бы пытаться точно формулировать характер «типично» американской музыки. Но можно с уверенностью отнести к числу типичных черт широкую, размашистую манеру письма, простоту конструкции, некоторую нервную энергию и острые ритмы. Конечно, все эти черты еще находятся в стадии развития.

В настоящее время в Америке есть целый ряд вполне самостоятельных даровитых композиторов, которые, в общей сложности, дают более или менее определенный «американский» стиль музыки. Назовем в хронологическом порядке наиболее выдающихся из них.

Уолтер Истон, род. 1894. Пользуется большой известностью, может быть определен, как нео-классик. Начал свою художественную дорогу как скульптор и лишь позднее перешел к музыке. Написал две симфонии, балет и большое число произведений камерной музыки.

Роджер Сешнс, род. 1896. Вначале был под влиянием Стравинского и французских импрессионистов, но затем освободился от него. Работает медленно. Написал три симфонии, концерт для скрипки и для струнного оркестра.

Хауерд Хансон, род. 1896 — композитор, профессор и дирижер. Как композитор он консервативен, но вместе с тем очень индивидуален. Написал четыре симфонии, оперу «Мерри Маунт», шедшую в Метрополитэн-Театре в Нью-Йорке и много мелких произведений. Кроме того состоит директором Истмэн-Скул в Рочестере и является излюбленным дирижером американских концертов.

Рой Гаррис, род. 1898, обратил на себя внимание в 20-х годах своей смелой оригинальностью. Музыкальная дисциплина его стесняла и он создал собственный, свободный от всякой традиции стиль. Очень одарен как мелодист. Много пишет и за исключением оперы, пробовал свои силы во всех жанрах музыки. Написал шесть симфоний. Лучшими его произведениями счи-

таются 3-я симфония и концерт для кларнета, рояля и струнного оркестра.

Аарон Копланд, род. 1900 — заслужил наибольшую известность, но и вызвал наибольшие протесты. Первые его вещи отмечены сильным влиянием европейцев, особенно Стравинского. Затем он прошел стадию увлечения джазом, введя его в симфонию и, наконец, обратился к народной музыке Америки. Его вещи встречают весьма различный прием: одни считают его самым выдающимся композитором Америки, другие ставят ему в упрек его технику и недостаток художественного вкуса. Его большие познания и опыт во всех отраслях музыки, включая балет, оперу и фильм, делают его одним из наиболее разносторонних американских композиторов. Его ранние вещи, как «Музыка для театра», «Варьяции для рояля» и «Краткая симфония» считаются лучшими его произведениями. Позднее Копланд стал писать для сцены. Он создал ряд балетов, из которых наибольшей популярностью пользуются «Билли-ягненок», «Родео» и «Весна в Апатэчи». Последняя из этих вещей — прекрасная музыка к современной хореографической драме. Единственная его симфония, недавно написанная, вызвала оживленные споры; большинство критиков признало ее неудачной, другие, наоборот, считают ее за одно из наиболее выдающихся произведений последнего времени.

Из молодого поколения следует, прежде всего, отметить двух сверстников — Вильяма Шумана и Самюэля Барбера, родившихся в 1910 г. Шуман — ученик Рой Гарриса и первые его сочинения носят следы влияния его учителя. Из пяти его симфоний наилучшей считается третья. Его музыка отличается глубиной чувства, поразительным оптимизмом и таким юношеским задором, который трудно сыскать в современной европейской музыке.

Барбер более консервативен. Его репутацию создали, главным образом, оркестровые произведения.

Далее надо назвать талантливого Элиота Картера (род. 1908), которому создали известность увертюра «Праздники» и две его симфонии. Норман Локвуд (1906) выделяется своей музыкой для хора, тогда как Роберт Уорд и Гарднер Ринд обратили на себя внимание своими первыми симфониями.

Наконец следует упомянуть наимладших: Вильяма Бергема (род. 1921) — блестящий талант, сочетающий в своих произведениях виртуозность формы с большой сдержанностью в средствах; затем Беатрисе Лауфер, талантливейшую из женщин, и Томаса Скотта (род. 1920).

Этот последний проявляет в своих лучших произведениях (1-я симфония и струнный квартет) незаурядное мелодическое дарование и большую индивидуальность; подобно всем молодым композиторам, он отличается радикализмом в выборе средств. Кроме того, Скотт является лучшим интерпретатором американской народной музыки.

Интересно отметить, что опера в американской музыкальной жизни до сих пор не играла такой выдающейся роли, как в Европе. В сущности были только два крупных центра: Метрополитэн-Опера в Нью-Йорке и Сивик-Опера в Чикаго. Поэтому постановка вновь написанной американской оперы была делом почти невозможным. Лишь в самое последнее время появляется новое веяние, стремление к насаждению оперы и в других центрах. Соответственно этому и творчество оперное было до последнего времени незначительно. Наиболее известной является опера Джорджа Гершвина «Порчи и Бесс» из жизни американских негров. Ясно, что опера с таким сюжетом была бы неуместна в пышном Метрополитэн-Театре. Построенная на музыке джаза, на негритянских песнях и ритмах, исполненная жизненной правды с примесью сатиры, эта опера представляет собою типично американское произведение.

Далее надо отметить оперу Веджилль Томсона «Четыре святых в трех действиях» и Марка Блицштейна — «Один ответ — нет!»; они обе отличаются большим своеобразием и совершенно отходят от европейских образцов. По своему сюжету оперы эти очень различны: первая из них — совершенная фантазия; вторая — социальная драма.

Ближе к обычной оперной традиции примыкают оперы: Дугласа Муур — руководителя музыкального отделения Колумбийского Университета — «Чорт и Даниэль Уэбстер», Менотти — «Амалия идет на бал» и Димс Тэйлора — «Питер Ибетсон».

Наиболее интересный из них — своеобразный Джак Карло Менотти (род. 1911). Это итальянец, бросивший консерваторию в своем родном Милане и приехавший учиться музыке в Америку. Его музыкальные способности сказались очень рано, он был почти «вундеркинд» и это неблагоприятно отзывалось на его работе. В 1928 году мать Менотти отправила его в Америку, чтобы он «стал человеком». Поступив в музыкальный Институт Кертиса в Филадельфии, он очутился одиноким, без общества, без друзей. Это заставило его отдаться работе, серьезно углубиться в музыку и в 1933 году он написал свою первую оперу «Амалия идет на бал». В 1938 году «Амалия» удостоилась высокой чести — она была поставле-

на в Метрополитэн-Театре. Это было крупным успехом молодого композитора. Итальянский посол известил Менотти, что министр культуры Дино Альфиери предлагает ему быть почетным членом фашистской партии. Однако, Менотти отклонил это предложение.

Вторая опера Менотти «Старая дева и вор» была написана по заказу Американской Национальной Радио-Компании и сперва передавалась по радио, а затем лишь увидела свет рампы. После этих двух опер, написанных в легких, веселых, слегка сатирических тонах, Менотти перешел к более серьезному жанру. В 1942 году он написал трагическую оперу «Вог острова», которая в том же году была поставлена в Метрополитэн-Опере. Затем последовала вторая трагическая опера «Медиум», премьера которой была приурочена к фестивалю современной американской музыки, состоявшемуся в 1946 году в Колумбийском Университете. Позднее Менотти переработал «Медиум» в балет и эта вещь считается лучшим его произведением. Кроме того, он написал балет «Себастьян» и — совсем недавно — новый, еще не получивший имени балет на тему Марселя Пруста. Сам он считает лучшим своим произведением фортепьянный концерт, впервые исполненный симфоническим оркестром в Бостоне под управлением С. Кусевицкого.

Следует упомянуть еще несколько американских композиторов, работающих в области балета. В США за последние 15 лет интерес к балету сильно возрос. Три постоянные странствующие труппы — «Балетный Театр», «Русский балет из Монте-Карло» и «Балетная труппа из Сан-Франциско» — имели огромный успех и создали спрос на новые балеты. Молодые американские композиторы пошли навстречу этому требованию: Леонард Бернштейн дал «Фанси Фрин» из жизни Нью-Йоркского порта, Поль Боулье — «Пасторелас» из мексиканской жизни, Джером Морос воплотил мир чикагских подонков в «Франки и Джоэи». О балетах Копланда мы уже упоминали. Балет всегда был космополитичен и легко подошел к требованию американской среды. Надо отметить, что помимо тех мотивов и источников, о которых мы упоминали выше, молодые композиторы широко использовали для балета мелодии южно-американских песен и танцев с их своеобразными ритмами, так же как и заунывные напевы еврейской ритуальной музыки.

Особое место в музыкальной жизни Америки занимает музыка для фильма.

Уже не в первый раз в истории музыка получает извне могучий толчок и стимул к

своему развитию. В 16 веке великие мастера полифонии были на службе у католической церкви; Вах должен был каждую неделю писать кантату для воскресного богослужения в своей церкви; в 18 веке симфонии и оперы писались по заказу князей и аристократов для развлечения гостей.

В наш демократический век музыка оказалась в руках тех, кто заботится о развлечении народа. Люди, «делающие» фильмы, лучше всего понимают значение музыки. Они знают, как оживает фильм от придания ему музыки, как сглаживает она недостатки сценария или игры, связывает разрозненные эпизоды и усиливает впечатление. Они знают, что мелодия действует неотразимо на публику там, где слово и игра являются недостаточными. Поэтому эти люди, служители «десятой музы» — фильма привлекли музыку к себе на службу. Новые господа музыки, подобно прежним, диктуют, к сожалению, музыке ее задачи, ее роль и границы ее компетенции: музыка должна оживлять готовый сценарий, подкрашивать, но не больше. Она не равноправна со сценарием и с диалогом, ей отведена служебная роль.

Но так или иначе, для музыки неожиданно открылось новое широкое поприще. И в этой области Америка сразу уверенно заняла первое место в мире. Нет никакого сомнения, что со временем фильм займет почетное место рядом с оперным театром, а может быть даже и оттеснит его на второй план. Но даже и сейчас, когда музыка играет в фильме лишь ограниченную роль, фильм привлекает все больше и больше композиторов и при том лучших, ибо он дает им большие преимущества: помимо крупного заработка, композитор получает возможность все время улучшать свою технику, слушая собственную музыку, и затем это дает аудиторию, широкую популярность и громкую славу.

Уже упоминавшийся немецкий композитор Курт Вайль описывает постановку музыкального отдела в Холливуде. Студии этого отделения обширны и оборудованы щедро и с крайней тщательностью. Там работает многочисленный персонал первоклассных дирижеров, преподавателей пения, специалистов по звуку и всевозможных техников; там имеются хоры, специально обученные петь перед микрофоном и музыканты, играющие с листа. Тщательность и изобретательность, с какими производятся съемки музыкального сопровождения фильма, производят глубокое впечатление на каждого европейца. Нигде в мире этот процесс не обставлен с таким совершенством, с таким вниманием и так продуманно. Музыка

снимается по такому же принципу, как и действие. Это — мозаика из коротких сцен, длящихся от 10 секунд до двух минут. Каждая сцена выполняется как самостоятельная единица с величайшей заботливостью. Коротенький отрывок музыки долго репетируется, пока оркестр не исполняет его в совершенстве. Дирижер ведет долгие дискуссии с режиссерами, директором, экспертом тона, с композитором, чтобы доискаться требуемого впечатления, а затем способа его достижения. При этом приходится часто прибегать к изменениям, переделывать, переписывать и снова и снова снимать.

Изобретение звукового фильма произвело революцию как в Голливуде, так и в музыкальном мире Америки. Первый звуковой фильм, получивший мировую известность, был построен на использовании джаз-банды и популярных песенок. И вот Голливуд сразу скупил у музыкальных издателей все запасы популярных «платежеров». А певцы, композиторы, дирижеры, музыканты — все потянулись из Нью-Йорка в Голливуд, который стал Меккой музыки. Композиторам открылось новое поле деятельности и скоро появилась новая профессия — звуковой композитор. Целый ряд молодых композиторов, проявивших особое дарование в этой области, создали в короткое время совершенно новую форму музыкальных произведений — музыку для фильма. Назовем наиболее прославленные имена в этой области: Альфред Ньюман, Штейнер, Корнгольд, Росса, Тоттхарт, Янг, Ваксман.

Эти люди имеют свои тернии, свои терзания. Они знают, что с точки зрения режиссера хорошая музыка это та, которую публика не замечает, вернее, ощущает лишь ее отсутствие. И никогда не хватает времени для обработки своей музыки, — им дается всего две-три недели на весь фильм. Они должны мириться с тем, что их музыка будет заглушаться диалогом или шумами, что многие тонкости, которые стоили им бессонных ночей, пропадут из-за этих коллизий. Они должны писать свою музыку в стиле начала 20 века, в стиле Рихарда Штрауса, Дебюсси, Равеля, Скрябина, частью потому, что они сами были воспитаны на этой му-

зыке, частью потому, что по мнению режиссера эта музыка вернее понравится публике. Они все предпочитают фильмы с немymi сценами, без диалогов, — тогда их музыка ярче выделяется.

Кроме этих «спецов», киноиндустрия пользуется также услугами выдающихся современных композиторов. Так Аарон Копланд дал прекрасные образцы кинофильмов «Мыши и люди» и «Наш город». Кроме того для фильма работали Джордж Антейль, Курт Аейль, Вернер Янсен, Бернар Германи, Александер Трансман и Эрнст Тох.

Несмотря на все успехи кинофильмовой музыки, трудно отделаться от ощущения, что дело стоит еще неправильно, поскольку композитор приглашается только для оживления и подкрашивания уже совершенно сделанного, готового фильма. Нет сомнения, что музыку в фильме ожидает иная, несравненно более интересная, почетная и ответственная роль. Фильм обладает идеальными возможностями для создания оригинального музыкально-драматического творчества, подобного музыкальному театру: музыкальной комедии, оперетке, музыкальной драме и опере. Но для этого композитор должен быть привлечен к совместной работе на тех-же правах, что и режиссер и либреттист. Уже многие режиссеры смотрят на дело именно так и предвидят новые, высшие формы музыкального фильма. Можно с уверенностью предсказать, что дело идет к созданию «кинооперы» и вполне возможно, что та новая «американская опера», которой еще нет, но которую все ждут, возникнет именно из наиболее популярного в Америке развлечения — из звукового фильма.

Музыкальное творчество Америки стоит под знаком быстрого подъема и расцвета. Если сейчас еще нет там общепризнанного гения, то почва уже готова — целая плеяда новых композиторов высокого уровня. И так как новая волна всегда несет с собой новые формы, новые масштабы и новые ценности, то мы вправе ожидать, что в недалеком будущем Америка произведет подлинный переворот в области музыки.

НЕФТЬ

1.

В 80 годах прошлого столетия, в разгаре Бакинской горячки, Император Александр III спросил у С. Ю. Витте, тогда — министра финансов:

— В конце концов, — что же это такое — эта нефть, о которой столько говорят?..

— Нефть, это — липкая черная жидкость, которая пахнет золотом, Ваше Величество... — ответил Витте.

2.

Экономический прогресс мира определяется формами и качеством используемой энергии.

Примитивное хозяйство пользовалось мускульной силой человека или группы людей и применяло простые машины, вернее — эмбрионы, зародыши машин: рычаги и блоки.

Покажется странным, но продуктивное использование мускульной силы животных началось только с X-го века, когда было изобретено «искусство запряжки».

Источником энергии для промышленности, со времени ее зарождения в XVII и XIX веках, были дрова и уголь.

И только в последней четверти XIX века в жизнь человечества совсем неожиданно вторглась «черная фея» — нефть.

«Пришла, увидела и победила...».

3.

Блистательная победа нефти над каменным углем далась ей легко, благодаря ее двум специальным свойствам.

Во-первых, нефть — жидкость. Это чрезвычайно облегчает ее транспорт и, главное — дает возможность пользоваться ею в маленьких отдельных независимых моторах.

Во-вторых, — тепловой коэффициент нефти много выше угольного.

Настоящая статья составлена на основании материалов, почерпнутых из статей Докрона, Прощона, Контини Хона и др.

1 кг нефти дает 11.000 калорий, в то время, как 1 кг. угля — только 7.500 к.

4.

Наступление нефти было молниеносным: с 1905-го года количество калорий, полученных мировой промышленностью от нефти, беспрерывно возрастало:

В 1905 г. оно составляло 1/20 количества калорий, полученных от угля, в 1930 г. — 1/6; в 1940 — 1/5.

5.

Что же такое — нефть?..

В необработанном виде она представляет собой черную или коричневую вязкую жидкость, которая пропитывает в земной коре пористые слои: песок и губчатые породы.

Относительно происхождения нефти мнения геологов расходятся.

Одни находят, что она — неорганического происхождения и является результатом действия воды на углеродистые соединения.

Гипотеза органического происхождения нефти представляется в настоящее время более вероятной: нефть является результатом медленной трансформации растительных остатков под влиянием «анаэробических», т. е. — не переносящих присутствия кислорода бактерий. В подобных условиях (без доступа кислорода) происходит особое разложение материи, так наз. «битуминизация», при которой разлагающаяся материя обогащается углеродом и водородом.

Имеет много вероятия и гипотеза, считающая нефть продуктом медленного разложения, — под землей и на месте, — остатков морской фауны, общая и одновременная гибель которой была вызвана резкими и внезапными изменениями условий жизни, или катастрофой: обмелением, увеличением или уменьшением содержания соли, наконец, отравлением в той или иной форме целого морского рукава или залива.

Нефть представляет собой очень слож-

ную смесь углеводородных соединений с примесью песка и иных инородных тел. Ряд последовательных стадий нефтеочистительного процесса дает:

Нефтяной эфир, — чрезвычайно легко воспламеняющийся не как горючее, а — как растворитель в хирургии, парфюмерии и фотографии.

Бензин, применение которого, как горючего в автомобильном транспорте и авиации общеизвестно.

Керосин, — горючее для освещения.

Тяжелые масла, — горючее для тяжелых машин и фабрик.

Мазут, который в смеси с предыдущими дает горючее для двигателей типа «дизель».

Наконец, — остатком всего, дополнительным продуктом и «отбросом» нефтеочистительного процесса является парафин.

6

Таков «спектр» разложения коричневой жидкости.

Но, если в XX столетии борьба за нефть приняла такой грандиозный характер, — это произошло, конечно, не из-за керосиновых ламп, без которых теперь легко обойтись, а из-за моторов. Сейчас, в середине XX века, мы не можем себе представить жизнь без автомобилей и аэропланов, которые питаются «опасным добавочным продуктом», получающимся при выработке керосина, еще в 1880 году смешиваемого с водой из боязни взрыва, и называемым бензином.

Еще в 1919 году Клемансо сказал:

— Союзники приплыли к победе по волнам нефти...

Разве эти слова не применимы и к результатам последней войны?

7.

Первые нефтяные скважины были пробурованы в Баку в 1858 году, но нефть и ее горючесть были известны еще в глубокой древности.

Библия упоминает о «вечных огнях» Ассирийской столицы Ниневии (около современного Моссула), а «вечные огни» Апшеронского полуострова были предметом паломничества огнепоклонников древней Персии.

В Пенсильвании, лет 100 тому назад, индейцы собирали «каменное масло», напиткивая нефтью шерстяные одеяла.

Ее использовали шарлатаны, рекомендуя ее применение против ревматизма и облысения. Имя одного из подобных целителей известно. Известно также, что одновременно с черной мазью против облысения и ревматизма, он продавал еще и средство против

рака — бутылочки с подсахаренной водой. Его звали «доктор» Вильям Рокфеллер.

8.

Около 1860 года человечество догадалось наливать в лампы вместо растительных масел керосин, и в эти годы около шести тысяч колодезь пробуровлены в Пенсильвании. А около 1870 года Джон Д. Рокфеллер, сын упомянутого «доктора», мелкий служащий небольшой фирмы, организует мелкую компанию для эксплуатации нефти.

Компанию он назвал:

— Стандарт Ойл Ко.

Через 10 лет, правдами, а больше — неправдами, ему удается монополизировать всю американскую нефть, создав гигантское предприятие, которое он назвал:

— Трест,

придав новый, международный и теперь общеизвестный смысл старому английскому слову, что означает trust — «доверие».

9.

Существование американской нефтяной промышленности напоминает историю заокеанской республики с ее «бегом на запад» к Far West'у.

«Нефтяной бег» на запад объясняется тем темпом американской жизни, при котором «изнашиваются», — исчерпываются до конца в сравнительно короткий срок, одно за другим, — все «ближние» — восточные месторождения, и необходимость заставляет изыскивать все время новые месторождения, дальше и дальше на запад.

Схематически американские нефтяные месторождения можно считать распределенными по трем районам.

I. Восточная зона Апцалачского хребта.

Это — старейшая по началу эксплуатации зона. До 1885 года апцалачские месторождения давали около 90% добычи всей американской промышленности. Однако, к 1933 году их добыча составляла только 6%, а в 1940 г. упала до 4%! Зона эта лучше всего организована, поставляет наилучшую химически нефть и обильнее других снабжена нефтеочистительными заводами. Ее значительность велика еще из-за ее близости к Атлантическому берегу, — району, где бьетса пульс всей американской жизни.

II. «Midcontinent» — Центральная континентальная зона.

Планомерная эксплуатация ее началась вместе с началом этого века. В 1929 г. ее добыча равнялась 67 миллионам тонн, — 90 миллионов тонн в 1936 г. и 115 миллионов тонн в 1938 г. Однако, характерно, что пер-

воначальная основная группа — Канзас-Оклахома, дававшая еще в 1930 г. 40% американской добычи, стала уступать место Техасской группе, расположенной юго-западнее.

С 1937 г. главенство стало переходить к месторождениям Gulf Coast, на берегу Мексиканского залива (21 мил. т. в 1937 г.).

III, Западная зона — район Скалистых гор и Калифорнии.

Это «последний резерв и последняя надежда» американской нефтяной промышленности. Хотя начало изысканий относится — к 1887 г. для района Колорадо, к 1906 г. — для Вайоминга и к 1915 г. — для шт. Монтана, еще в 1936 г. продукция всей зоны не превышала 3 мил. т. Но в 1937 г. она поднимается до 4 мил. т. В 1938 г. она равняется 6 мил. т., в 1940 г. — 10 мил. т., а в 1942 г. (возможно?) — 25 мил. т.

Калифорнийские месторождения являются одними из первых, где началась эксплуатация, но начало интенсивной разработки относится только к 1929 г. (40 миллионов т.). Перед войной добыча их равнялась 1/3 всей американской промышленности.

10.

Каково же будущее американской нефтяной промышленности? По сделанным в 1938 году подсчетам, емкость всех американских месторождений совместно определяется в 2,4 миллиарда тонн, максимум.

Ритм американской промышленности с ее 35 миллионами автомобилей требует около 200 миллионов тонн в год.

Следовательно, можно предвидеть, что в 1950 г., т. е. через 2 года, Америка начнет ощущать недостаток в нефти, а в 1955 г. ее добыча будет, — в мировом масштабе, — приближаться к нулю.

Поэтому, уже теперь, Америка вынуждена искать нефть вне своей территории.

В середине 1945 года была создана сенаторская комиссия из одиннадцати членов для изучения вопроса о нефти: контроля ресурсов, находящихся на американской территории, и выработки директив для американской нефтяной политики в мире.

Комиссия высказала пожелания: расширить производство синтетической нефти;

вотировать кредиты на изыскания новых источников на союзной территории;

установить контроль эксплуатации.

По заключительному рапорту ее можно предположить, что, по принятии предложенных мер, территориальная американская нефть достаточна, чтобы удовлетворять потребности страны еще в течение нескольких столетий. Но, в то же время, комиссия подчеркнула, что территориальные запасы

США теряют свою значительность в сравнении со вновь открытыми районами, находящимися вне национальной территории, и рекомендовала заключение специальных международных соглашений касательно нефти.

11.

Как известно, второе место в мире по добыче нефти занимает СССР. Советская нефть воплощается в тресте «Союзнефть», а скрытой пружиной, персональным символом, «Рокфеллером» советской нефтепромышленности является то же лицо, которое является персональным символом и скрытой пружиной всего, что делается в Советской России.

В 1900 г., добывая 11 мил. т. нефти при общей мировой добыче в 18 мил. т., Россия стояла во главе мировых поставщиков нефти. Но ее политическая и экономическая судьба в первую четверть века резко сократила добычу, и в 1920 г. добыча русской нефти не превышала 4 мил. т., в то время, как продукция США начала быстро возрастать. В период 1925-1926 гг. советское правительство энергично принялось за восстановление нефтяных колодцев и модернизировало бурение.

С 1924 г. добыча стала непрерывно возрастать:

1921 г. — 4.650.000 тонн; 1927 г. — 10.166.000 тонн; 1928 г. — 13.300.000 тонн; 1931 г. — 22.335.000 тонн; 1936 г. — 27.416.000 тонн; 1938 г. — 32.000.000; 1940 г. — 39.800.000 тонн.

90% советской нефти поставляет Кавказ. Из них 75% — Баку. Вакинские месторождения расположены веером вокруг города, радиусом — около 60 км.

Главнейшие из них — следующие:

Балаханы, — наиболее богатое из всех, начало эксплуатации которого относится к 1873 г. Отсюда добыто более 250 мил. т., но оно еще далеко не истощено.

Сурачанск, — разработка начата только в 1933 г. Его добыча, приблизительно, равна добыче предыдущего.

Кара-Чекун. Эксплуатация начата в 1927 году. Через 5 лет оно давало около 1 мил. т. в год.

Сталин. Добыча превышает 4 мил. т. в год. Микоян. — Эксплуатация начата в 1936 г. — 3 мил. т. в год.

Молотов. — Эксплуатация начата в 1935 г.

В цифрах подсчетов запасов Апшеронских месторождений инженеры расходятся: западно-европейские специалисты исчисляют запасы в 2,5 миллиарда тонн, советские официозы говорят об обеспеченных 3,5 миллиардов т. и — около 1,5 миллиарда «резерва».

Как бы то ни было, Вакинские запасы

несомненно, превышают американские. Общая емкость запасов Урала, Эмбы, Башкирии, Самарской излучины, Пермского района и Ферганы — исчисляются совместно в 1 миллиард тонн. К этому надо прибавить менее значительные запасы Сахалина (приблизительно 100 миллионов тонн).

Вопрос нефтяного транспорта, по имеющимся в печати сведениям, обстоит так:

Кроме проведенного в царское время нефтепровода Баку-Батум, длиной в 826 км., в 1934 г. проведен нефтепровод из Грозного в Ростов и намечено его продолжение до Киева и до Москвы. Из Ростова в 1941 г. нефтепровод был доведен до Харькова. Из Эмбы (сев. берег Каспийского моря) в 1938 г. проведен нефтепровод до Магнитогорска.

Однако, насколько ритм советской промышленности отстает от ритма США, это ясно видно по следующим цифрам: в 1929 г. Сов. Союз имел 60.000 автомобилей и тракторов, в то время как в Америке их было 27 миллионов. Если «моторизация» поставлена в основу пятилетнего плана, то все же не надо забывать, что для того, чтобы «догнать» Америку, советской промышленности придется теперь сделать 45 миллионов автомобилей и тракторов, потребляющих расхода 160 миллионов тонн нефти в год. А подобная продукция поставит вопрос о емкостях и запасах месторождений.

Если принять последние цифры, можно установить с вероятностью, что, хотя нефтяной вопрос в СССР и не находится в столь критическом положении как в США, через 20-30 лет надо предвидеть истощение имеющихся месторождений.

12.

Английский капитал в мировой нефтяной промышленности символизируется именем покойного сэра Генри Детердинга, голландца, получившего английское подданство, который начал карьеру как незначительный служащий в нидерландской Индии. Кстати, — Детердинг был женат на Л. П. Ливен, русской по рождению.

Детердинг был основателем и вдохновителем Royal Dutch Co (Англо-Голландской Ко) и Anglo Persian Co.

Как известно, — ни сама Англия, ни ее обширные колонии не имеют на своей территории сколько-нибудь значительных нефтяных месторождений.

Поэтому, — в противоположность Рокфеллеру, который на манер Ивана Калиты собирал свои миллионы «по уделам», находясь в границах США, метод Детердинга был иной. Он разбросал сотни изыскательных экспедиций по всему земному шару, предоставив английской дипломатии и капиталу «приторговывать» те уголки,

которые, — независимо где бы они ни находились, — будут изыскателями найдены заслуживающими внимания.

13.

Кроме территории США и СССР, нефтяные месторождения земного шара находятся в следующих странах: Венецуэла — 28 мил. т. год. продук., 300 мил. т. запасов. Прибл. срок истощения 1958 г.; Голл. Индия — 8 мил. т. год. продук., 60 мил. т. запасов. Прибл. срок истощения 1955 г.; Румыния — 8 мил. т. год. продук., 60 мил. т. запасов. Прибл. срок истощения 1951 г.; Мексика — 7 мил. т. год. продук., 30 мил. т. запасов. Прибл. срок истощения 1948 г.

Из этих цифр видно, что наиболее значительные запасы находятся в Венецуэле, на берегу залива-озера Маракайбо, в месте, известном как один из самых жарких пунктов земного шара, и — в Матурен. Эксплоатация началась в 1917 году, но только через 8 лет, в 1925 г. была выяснена значительность имеющихся резервов.

В Нидерландской Индии месторождения находятся на севере острова Суматра, (Перлак) и на юге, в районе Палембанга. Остров дает ежегодно около 4 мил. т., и его продукция составляет около половины добычи всей Гол. Индии.

Месторождения острова Ява гораздо менее значительны и не превышают 500000 т. Наиболее значительные — находятся в Кавенгане.

Месторождения острова Борнео находятся в западной, голландской части острова. Их довоенная годовая продукция была около 1 миллиона тонн. (Самаринда и Валик-папан).

Месторождения других островов: Тимора, Церама, Целебеса и Филиппинских островов незначительны.

14.

Европа всегда была обделена «черной феей».

Если румынские месторождения могут еще в течение нескольких лет давать сколько-нибудь значительную добычу, месторождения в Германии не могут дать продукции превышающей 450000 т. в год.

Французские месторождения в Пешель-бронн (эльзасская деревушка между Гагенау и Виссембургом) давали в 1938 г. только 75000 т. в год, а месторождения в Габиян всегда были мало эксплуатированы.

15.

Перед войной промелькнули сведения о найденных шести нефтяных зонах на Аляске: четыре зоны у Тихоокеанских берегов; две — у Ледовитого Океана. Но есть много оснований предполагать, что перво-

начальные сведения о значительности имеющихся резервов сильно раздуты. Из них всех, только месторождения в Каталла, на юге, могут представлять некоторый интерес.

16.

Как вывод из изложенного можно с уверенностью сказать, что источники питающие до сих пор мировую промышленность истощены или — близки к истощению на всем земном шаре.

Еще недавно было основание считать что «черная фея» умирает — с ее смертью должен был остановиться весь темп жизни XX века: аэропланы, автомобили, грузовики, тракторы, паровозы и пароходы. И — только чудо, только нахождение колоссальных запасов нефти могло спасти мир от паралича.

17.

И чудо случилось. Чудо — это нефтяные резервы Ближнего Востока.

Ближневосточные резервы нефти находятся в недрах территории трех стран: Ирака, Персии и Саудовской Аравии.

Хотя Иракская нефть была известна в древности, эксплуатация ее началась только в 1928 г. в Баба-Гургур, около Керкука и — у Моссула. Первый год эксплуатации Баба Гургурских месторождений дал 28000 т., но в 1937 году продукция иракской нефти равнялась 4160000 т. в год.

Цифры предполагаемой емкости Керкурских резервов точно не установлены, вернее, не опубликованы. По общему мнению специалистов эти резервы много богаче всех известных до сих пор и, вероятно, являются самыми богатыми на земном шаре.

Сравнительно скромные цифры добычи первых годов эксплуатации объясняются не скудностью источников, а трудностью транспорта до того как Керкук был соединен нефтепроводом с берегом Средиземного моря. В настоящее время Керкук соединен железнодорожной веткой с Багдадской железной дорогой и, таким образом, установлен транспортный путь на запад и к югу, к Бассоре. Северные пути, соединяющие Моссул и Керкук с внешним миром пришлось в свое время изъездить автору этих строк и он хочет поделиться с читателями тем, что от того времени осталось у него в памяти.

18.

... В 1915 году, в самом разгаре войны, молодой подпоручик назначен на экзотический фронт:

— Персия!..

Какая радость!.. Южное солнце!.. Голубые купола старинных мечетей со стройными минаретами!.. Исфahanские розы!.. Кашанские ковры!.. Омар-Хайам, Саади и

Гафиз!.. Страна бирюзы, жемчугов и опалов!..

Разочарование.

После Джульфы, пограничного гарнизонного городка, уже полуазиатского — плоские крыши низеньких домов, поезд ползет между двух почти отвесных каменных стен кирпичного красного цвета. Горная, абсолютно бесплодная пустыня. Ни клочка растительности. Только красные скалы и красная первобытная глина со следами горных потоков и обвалов.

А где-то наверху — темно-синее, почти тропическое, чистое небо. Фантастический лунный пейзаж. Железная дорога, ведущая в Тавриз, вторую столицу Персии, раздваивается: короткая, спешно во время войны построенная ветка отходит к Шарап-Ханэ, деревушке на берегу Урмийского озера.

Эшелон движется медленно на юго-запад, а навстречу, так же медленно тянутся бесконечные составы пустых красных кубиков товарных вагонов

Это — главная артерия питания нашего корпуса.

Наконец, горы вокруг нас сменяет пыльная и мгlistая от жары равнина.

Из мглы и пыли к ослепительному небу тянут острые вершины разбросанных там и здесь группы темных кипарисов, отмечая бедные равнинные деревушки, где живут армяне, айсоры, христианский народец, считающий себя остатком древних ассирийцев, немногие персы и — равнинные, оседлые «мирные» курды.

Ползем медленно — в мглу, в пыль, в блеск...

И вдруг... — на плоской, как доска, мгlistой равнине, — из ничего возникает совершенно неожиданное, никогда не виданное сказочное сверкание: тысячи маленьких серебряных рыбок, — тут же на суше, на пыльной бесконечной равнине, — извиваются и, поблескивая, мелькают, перемещаясь с места на место.

Что это?.. Сон?.. Мираж?..

И только приблизившись, начинаешь понимать, что это — поверхность озера Урмия, маленького внутреннего моря.

Солнце играет бликами по мелкой ряби воды и сверкает, отражаясь от миллиардов граней соли, покрывающих, как белая пена, берег, такой же плоский, как тянущаяся до горизонта водная поверхность.

Плоская, бесплодная и безмолвная соляная пустыня.

Высаживаемся.

Вода Урмийского озера, как вода Мертвого моря, содержит такое количество соли, что купающийся не тонет. Он может, вытя-

нувшись, просто лечь на поверхность тяжелых и темных вод. А выходит из воды — белый, как песком обсыпанный солью.

Бесконечной вереницей людей, лошадей и маленьких, курносых, напоминающих бульдога, горных пушек, обходим озеро по берегу.

Широкая равнина и только вдаль, — и справа и сзади, — бледные, обступившие озеро крутые горы.

Каменные русла горных потоков и совершенно высохших речек. Наши колеса дают змей и черепах. Ящерицы — одни разноцветные, пятнистые, другие — песочно-серые, тяжелые, коротконогие, неуклюжие, покрытые какими-то шишками и рогульками, с коротким, точно обрубленным хвостом. Скорпионы и огромные рыжие мохнатые пауки.

Маленькие ослики, несущие угрюмых, толстых своих владельцев с рыжей, крашенной хной бородой, нагнувшись на лоб обвязанную тряпками низенькую феску-шешиа. За ними, спеша, идут пешком их жены и дети. Изредка — караван из нескольких презрительно глядящих сверху вниз верблюдов. Восток. Кипарисы. Рисовые поля и фруктовые сады, окружающие обогие селения с глинобитными слепыми высокими стенами извилистых переулочков. В стенах — ни единого окна.

Прижимаясь к стенам, мелькают, перебегая, робкие темные тени женщин. Они одеты в голубые полотняные и настоящие мужские штаны и закутаны до глаз в цельный кусок голубой или черной материи. Неопишимо грязные, бронзовые, курчавые, одетые в дырявые лохмотья дети возятся на берегу мутного ручья.

Двигаемся дальше.

А вот — маленькая местная столица: городок Урмия. Опять — фруктовые приземистые сады, кипарисы, виноградники, куртины роз и залитые ирригационной водой рисовые поля.

Неповоротливые огромные буйволы с темной, поросшей реденькой шерстью кожей, которая поблескивает на солнце, по колени в воде, — как и их владельцы, — неторопливо работают в жидкой грязи.

Здесь — резиденция персидского губернатора, торговый центр и очаг тропической малярии.

Маленькие двухэтажные — каменные! — домики похоронены под пылью, под непереносимой смесью запахов навоза, прогорклого подгоревшего бараньего жира и под густыми тучами миллионов мух и комаров.

Когда мы покидаем городок, направляясь на юго-запад, и городок и равнина остаются сзади и слева, тогда справа и спере-

ди, — как бы в противовес безнадежной плоскости равнины, — на безукоризненно чистом ослепительном небе начинают вырисовываться смутные отроги синеватых тяжелых гор. Приближаемся к горам. Вблизи они напоминают темные складки тяжелого одеяла, как попало, наспех и небрежно брошенного на степь. Совсем далеко поблескивают ослепительной чуть зеленоватой белизной снеговые вершины.

Сады, виноградники, цветники и деревья исчезли. Селенья — тоже. Люди — тоже.

Все армянское и айсорское безжалостно истреблено. Выжжено. Редкие задымленные развалины: начинается область «непокорных» курдов.

Дорога опять втягивается в узкие расщелины меж двух почти вертикальных, абсолютно голых каменных откосов и постепенно вырождается в «козью тропу». Она будет многократно пересекать — вброд — ручьи, скатываться в неожиданные обрывы, опоясывать зигзаги особенно крутые подъемы и вытягиваться еле заметной — в ладонь ниткой по узенькому каменному хребту между двух пропастей.

Это — «дорога» из Урмии в Кала-Пасову. Дальше, через перевал Келешин в 14000 футов она ведет через Ревандуз к Моссулу. Другая такая же «дорога», ведет через маленький городок Соудж-Булак, в те времена до гда сожженный курдами, через Сердешт и Ванэ в Сулемание и Керкук.

Таков «северный путь» к Иракской нефти.

19.

Кроме Керкука, в Ираке эксплуатируются месторождения Хайяра на Тигре (500000 тонн в 1928 г.), Пальханэ и Ханькин.

Можно предполагать, что нефть имеется и в районе Бассоры. Необходимо еще принять во внимание, что до 1938 г. изыскательные работы во всем Ираке велись довольно вяло.

20.

Начало добычи нефти в Персии относится к 1908 году. В 1910 г. добыча равнялась 44000 т., в 1931 — 5800000 т., в 1936 — 8400000 тонн, в 1940 — 12700000 т.

Нефтяной центр, находящийся в Майдин и Нафтун соединен с Персидским заливом (Сббдан на Шат-эль-Араб) нефтепроводом в 220 км. Нефтяные резервы Персии менее значительны, чем Иракские. Их емкость предполагается в 300 миллионов тонн.

21.

Эксплоатация месторождений Сеудитской Аравии началась с острова Бахрейя в 1935 году, в котором было добыто 174000 т. В 1936 году было добыто 840000 т., в 1937 — 1100000 т., в 1939 — 3000000 т.

Разработки на лежащем против о. Бахрейна берегу континентальной Аравии начались только в 1943 г. Американские исследовательские экспедиции открыли там чрезвычайно богатые нефтеносные поля, емкость которых будто бы определена в 2 миллиарда (!?) тонн.

Взяв концессию, американцы энергично принялись за организацию разработки. В сожженной пустыне вырос город Дахран, снабженный водой, и аэродромом, имеющий на 10000 жителей госпитали, школы, театры и кино.

Предполагается проложение через 1000 километров аравийской пустыни железной дороги, которая соединит Дахран с Медией, конечным пунктом ж. д. ветки, ведущей через Дамаск и Алеппо к Константинополю и к Европе. Проводятся ирригационные каналы. В Рас-Танура, на берегу Персидского залива выстроена нефтеочистительная станция.

Нефть имеется в Катифе, в 50 км. к северу от Дахрана, в Аскаик, (50 км. к юго-западу) и — в самом Дохране. Все эти пункты соединены с Дахраном нефтепроводами и, через Дахран, присоединены подводным нефтепроводом длиной около 100 км. к нефтеносным полям о. Бахрейн.

Официальные органы хранят молчание о емкости Дахранских месторождений, но длительность американской концессии и размах концессионеров заставляют предполагать, что эти резервы нефти очень значительны.

22.

Выводы?.. Вывод может быть один:

Запасы нефти на земле ограничены. Потребность в ней не имеет границ. Запасы нефти на земле непрерывно уменьшаются. Потребности непрерывно растут, вместе с ростом промышленного развития, и пределов этому росту наметить нельзя.

Если открытие новых и колоссальных залежей на Ближнем Востоке может отсрочить истощение всех земных источников, предотвратить это истощение ничто не может.

«Черная фея» смертна и она должна умереть... Что будет с человечеством?.. Где найти 250 миллионов тонн в год горючего для двигателей внутреннего сгорания?.. Ведь трудно себе представить теперь мир без аэропланов, автомобилей и тракторов.

23.

Есть ли в настоящее время источники энергии, которые могут заменить нефть?

Неожиданный и драгоценнейший подарок нашего века человечеству — атомная энергия — при современном состоянии ее техники нефти заменить не может: процесс

освобождения внутриаомной энергии для наших нужд, существующие методы ее эксплуатации и, особенно предохранительные меры для обеспечения безопасности при ее использовании требуют сложных, огромнейших и громоздких установок.

И сейчас трудно предвидеть — сможет ли когда-либо атомная энергия быть применимой как двигатель больших автономных моторов.

Остается только фабрикация синтетической нефти.

24.

Есть два способа фабрикации синтетической нефти: способ Берггуса и способ Фишера. Оба заключаются в специальной обработке (под высоким давлением) угольной пыли.

Запасы угля на земле достаточно велики; их свободно хватит на несколько столетий. Но стоимость фабрикаций синтетической нефти в настоящее время высока. Однако, — отрезанная во время войны от источников нефти Германия, вынужденная прибегнуть к фабрикации синтетической нефти, могла обеспечить себе таким путем 11 миллионов тонн, т. е. продукцию которая могла свободно удовлетворить нормальные потребности мирного времени.

Возможно, что массовая фабрикация и новые процессы выработки удешевят производство.

25.

С начала столетия Standart Oil Co и Beval' Ko, объединенная с Shell Ko ведут ожесточенную и нескончаемую борьбу за рынки и за цены. Вся экономическая жизнь основана на конкуренции, и борьба конкурентов за рынки и за цены — то есть, в конце концов, нормальный *modus vivendi* того капиталистического мира, в котором мы живем.

Однако, борьба за нефть выходит за пределы нормальной экономической войны и — вот почему:

Продукт первой необходимости, нефть, сосредоточена только в немногих точках земного шара, обладание которыми дает необычайную финансовую мощь.

Нефтяная промышленность исключает возможность средних и мелких самостоятельных предприятий. Вся нефть и всякое нефтяное предприятие неминуемо — в той или иной мере — контролируется одним из трех мировых консорциумов. И только каждый из этих колоссальных трестов в состоянии вести борьбу и за месторождения, и за рынки, и за цены.

В обладании источниками заинтересованы не только отдельные предприниматели или группы предпринимателей, но и — го-

сударства и даже группы государств. Поэтому борьба за нефть — борьба не только экономическая но и политическая.

Мы, простые смертные мало знаем о ней. Борьба эта, как сама нефть — подземная. Только иногда, на миг, из подполья, из-под земли вырываются вспышки подземного пламени и слышен подземный гул, — и только тогда мир узнает, что борьба не прекратилась.

Войны, революции, перемены правительства, политические убийства, подкупы, неожиданные смерти и смены коронованных лиц, распады и образования независимых государств, потери независимости и приобретение независимости, — все это получает смысл и значение только при свете подобной, вырвавшейся из недр вспышки.

26.

Если в начале столетия борьба происходила на всем земном шаре, открытия богатейших запасов локализовали ее на Ближнем Востоке.

Всякая война и всякая дипломатическая борьба не ведется из-за какой-нибудь одной только цели. Так, Франция в 1914 — 1918 г. г. вела войну не только из-за Эльзаса. Всякая война и дипломатическая борьба ведутся за сумму интересов государства, и отдельные вопросы, как эльзасский, для Франции — только более или менее важное слагаемое этой суммы.

И вот, ближневосточная нефть является только одним, очень важным слагаемым в каждой из сумм интересов тех трех гигантских государств, которые ведут дипломатическую борьбу на Ближнем Востоке.

В любопытной статье (напечатанной в 1946 г.) член английского парламента Квинтин Хогг (Quintin Hogg) словами британского штабного генерала Хид (Head) определяет значение Ближнего Востока для Англии.

Вопрос был поставлен так: какие факторы должны превалировать в английской ближневосточной политике: военные и стратегические, или — политические и экономические?

Генерал ответил: Англия не может отказаться от владения этими ключевыми территориями. Затем он сравнил карту Ближнего Востока с узкой кроватью, за место на которой борются гиганты США, СССР и Англия и добавил: эти территории для нас то, что для СССР Великий Сибирский железнодорожный путь...

Вспомним, что в выпущенной незадолго до этой войны книге «К чему идет Великобритания» покойный ген. Н. Н. Головин на-

зывал английский «Имперский морской путь» из Англии через Суэц в Индию — «позвоночником Английской Империи».

Продолжая, ген. Хид добавил: — Для СССР Польша и Балканы составляют зону чрезвычайной стратегической чувствительности, но когда их требования распространяются на Бл. Восток и Средиземное море, весь мир удивляется...

Оставляем это, несколько лапидарно, по военному высказанное мнение на совести почтенного генерала. Однако, оно с достаточной ясностью показывает нам английскую точку зрения.

Мы не можем знать, каковы цели советской политики на Ближнем Востоке. Экспансия?... Выход к теплому океану?... Нефть?... Факел социальной борьбы, брошенный в цитадель мусульманского мира?...

Несомненно только, что СССР имеет там политические, стратегические и экономические интересы не менее важные чем Англия.

Яснее высказались американцы. В 1947 г. американский посол в Тегеране, Джорж Аллен заявил, что Америка не думает препятствовать получению Советским Союзом концессии на Персидскую нефть (в сев. Персии), но не может допустить, чтобы эта концессия явилась инструментом будущей советской экспансией.

Причину своего присутствия на Ближнем Востоке американцы объясняют следующей формулой:

И экономические и географические условия делают из Великобритании и США естественных союзников в этой части мира (Бл. Восток). Но политические и экономические давления обязывают англичан все более и более сокращать здесь свои расходы. Если американцы не будут, по мере ослабления, заменять британскую мощь — ясно, что это сделают Советы...

Конечно, трудно сказать что стоит за всеми этими словами. Все это показывает только какую острую стадию приняла, пока, к счастью, — только дипломатическая борьба.

Но думается — не присутствуем ли мы при дележе последних сокровищ умирающей «черной феи»?...

27.

Если теперь, в середине двадцатого века, вас спросят:

— Что же это такое — нефть?...

Отвечайте, перефразируя слова Витте:

— Нефть — это черная липкая жидкость, которая пахнет золотом и человеческой кровью...

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

На унылом и сумрачном небе послевоенной Европы неким странным созвездием блещат имена трех писателей.

Как их книги, эти авторы совершенно различны по своим национальностям, биографиям, взглядам и по манере выражать свои взгляды. Единственное, что их объединяет, — это одинаковый у всех, неожиданный и молниеносный успех их книг, — успех «равносильный скандалу».

Эти три писателя: Генри Миллер, автор книг «Тропик Рака» и «Тропик Козерога», Курцио Малапарте, автор книги «Капут» и Артур Кестлер, автор книги «Ноль и бесконечность».

Если формула «успех подобный скандалу» приложима к книгам Малапарте и Кестлера буквально, то по отношению книг Миллера ее надо несколько изменить. Про его книги нельзя сказать, что они имели «успех равносильный скандалу», будет гораздо точнее сказать «скандал, равносильный успеху».

* *

Генри Миллер — американец, родившийся в 1891 г. в Бруклине — бедной части Нью-Йорка, в семье маленького портного. Трудное детство. Бедность и даже нищета. Начало жизни — самые разнообразные, случайные и неожиданные профессии: «...разносчик телеграмм, боксер, репетитор в колледже, посредник книжных магазинов, уличный мусорщик, зазыватель в увеселительные заведения, натурщик, директор персонала большой телеграфной фирмы...»

Лет за 10 до войны Миллер едет «за славой» в Европу, куда его тянет надежда на возможность писать что и как хочется, не будучи стесненным «условностями» не совсем отрешившегося от пуританства американского общественного мнения и, также, — приманка вольной божемной жизни.

В Париже «... без денег, без друзей и даже без знания языка» он несколько ночей бродит по улицам. Он поселяется в бедном отдаленном и скучном 14 аррондисмане и там, вращаясь в среде непризнанных художников и нищих поэтов, становится одной из любопытнейших фигур среди американской колонии Монпарнаса. Здесь же

он начинает свой первый роман «Тропик Рака».

Книга закончена в 1934 году, но ни один американский и английский издатель не решается ее печатать, считая ее скандальной. Изданная по-английски в Париже, она запрещена к продаже в Америке и Англии. Впрочем, французская критика встречает книгу приветственно.

Много позже, уже только после войны, книги Миллера неожиданно «входят в моду», признаются критикой за некое откровение и огромным тиражом продаются не только в Европе, — открыто, — но и в Америке, — из-под полы.

Что же это за книги?

В «Тропике Рака» автор повествует о парижских годах своей жизни, а «Тропик Козерога» — род автобиографии, только слегка «романсированной», почти сырой материал: скудное детство, юность и тот поворотный пункт, который можно назвать «открытием жизни».

«...Невольно склоняешься перед этой исключительной словесной мощью, перед изобразительным талантом, разметающим, подобно циклону, все перед собой...» — так отзываются о творчестве Миллера один французский критик, и добавляет: «...Совершенно ясно, что Миллер — бунтовщик. Но он не из тех, кто хочет только разрушить ненавистный ему строй; своими писаниями Миллер старается поощрить человека, направить его к исканию абсолютно безграничной свободы, освободить от всех противоречий человеческого общежития, чтобы ничто не ограничивало его возможностей»

Обе книги написаны с предельной откровенностью, с «рискованными» подробностями, с тем, так называемым, «цинизмом», который и был принят как вызов американским общественным вкусам и американской «буржуазной» моралью.

«...Это не книга, это — пасквиль, диффамация, клевета... Это — оскорбление, плевок в лицо искусству, оскорбление Богу, пинок в зад человеку, судьбе, времени, красоте, любви, — всему чему хотите... — пишет о своих книгах сам автор. Подобный литературный «нигилизм», эта «литература от-

чаяния», «черная литература», как говорят французы, — все это не так уж ново.

Источники этого жанра, элементы, из которых он сложен, не так трудно найти в прошлом. Самым дальним предком Миллера надо, пожалуй, считать Ж. Ж. Руссо с его протестом против начинавшего вторгаться в человеческую жизнь рационализма, и — с его призывами к опрощению, к близости к природе. В «Тропике Козерога» Миллер описывает нечто вроде видения, которое он имел в театре: преображение окружающего в некий «новый, девственный, очищенный от всего абстрактного, полный теней, живущий, наконец, мир...» Разве это не напоминает Руссо?

Но непосредственными родоначальниками этой линии можно считать Бодлера и — малоизвестного, очень неприятного писателя прошлого века, в междувременный период вытасченного монпарнасскими снобами из забвения и вошедшего в моду, — Лотреамона. Условность и претенциозность их, все эти Бодлеровские размышления о вкусе мозга малолетнего ребенка, или посиневшие детские трупики Лотреамона, весь этот репертуар «театра ужасов», весь этот «пафос отвращения» вряд ли может поразить современного русского читателя — ведь мы видали вещи и похуже!..

Продолжая дальше восходящую генеалогическую линию, надо упомянуть имя основателя научного психоаналитического метода, венского профессора Зигмунда Фрейда и французского писателя начала нашего века Марселя Пруста.

От Фрейда, доказавшего, что всякое сознательное мышление есть только нечто вроде надстройки над пропитанной сексуальностью подсознательной базой, — неприкрашенный, утрированный эротизм Миллеровских книг, с открытостью и беззащитностью которого может сравниться разве только книга Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», тоже — произведшая «скандал равносильный успеху», тоже изданная по-английски в Париже и тоже запрещенная в Англии.

От Пруста и от близкого к нему по манере, жившего в Париже англичанина Джемса Джойса — Миллеровское словесное обилие, это — поток слов, шаг за шагом, секунда за секундой следующий за причудливой игрой ассоциаций.

Если спросить, к чему это: к чему подобное многословное хронологическое изложение подробностей не относящихся, в сущности, к теме повествования, или — к чему нагромождение шокирующих стыдливые души эротических сцен, — авторы ответят, что это — ничто иное, как безоговорочная

честность, честность писателя по отношению к себе и к читателю, честность, не позволяющая ничто скрыть — из всего, минута за минутой переживаемого комплекса внутренних ощущений. Для русского читателя я хотел бы привести примеры подобного жанра из русской литературы, но это будет очень приблизительно: уж очень болтливость и эротизм несвойственны стыдливой и скромной русской литературе.

Аналитическую манеру Пруста напоминает в некоторой степени творчество русских эмигрантских парижских писателей Ю. Фельзена и С. Шаршуна, а эротическую несдержанность Миллера и Лоуренса, — некоторые страницы Арцыбашева, немногие страницы Мережковского и мистически-эротические причитания Розанова, а в эмигрантской литературе — кое-какие главы В. Яновского, «Разложение атома», Георгия Иванова и писания Ильязда (Ильи Зданевича).

Но, конечно, нельзя и не надо думать, что книги Миллера — просто порнографии. Самая «порнографичность» их имеет нарочитый смысл: это — протест. Ведь не надо забывать, что Миллер — мятежник и — не цель, а средство.

«Возможно, что все, о чем пишет Миллер — неприятно»... — говорит французский критик Арман Оог, — «Но разве вы думаете, что мир — это приятная вещь?..» «Миллер обличает Убожество и пустоту современного мира, его характер — абстрактный и страшный в то же самое время. Но разве он делает это для удовольствия?..»

А вот выхваченная наудачу цитата из одной из книг самого Миллера. «...Иметь деньги в кармане, находясь в сердце этой белой и нейтральной энергии и не иметь самому по себе никакого смысла, быть самому бесплодным, и, — так вот, — шагать, пересекать ослепляющий и минеральный свет сожженных улиц; в апогее своего одиночества, на краю безумия громко думать: быть в городе, в большом городе; быть во времени — в последнюю минуту, в самую последнюю секунду самого большого города в мире и — чувствовать, что ему не принадлежишь, — это значит самому стать городом, самому стать миром мертвого камня, ненужным светом, самому стать непонятым и бессмысленным движением...»

Таким бесплодным, холодным и пустым пронесется наш современный мир перед глазами писателя.

«Последняя часть «Тропика Козерога» целиком посвящена этой геометрической пустоте: это — тот мир промышленности и науки, который символизирует Америка.

«...Лучше всего я вам покажу Мирти Авеню, одну среди тысяч и тысяч других американских улиц подобного типа, — через которую пронесется железные чудовища и которая кончается в центре американской пустоты...»

И, так, — все образы, выходящие из-под пера Миллера, когда он говорит о цивилизации XX века — пусты и пустыньны.

«...Эти великолепные пустоты, которые оставляют за собой Прогресс и Свет!.. «Это — не улица человеческого страдания, нет: человеческая мука вечна и заметна; это — улица истой и нетленной пустоты...»

Приводя эти выдержки из книг Миллера, я опять хочу сравнить их с уже известными литературными образцами.

Приведенные цитаты настолько «созвучны» настроению книги «*Маме Стрит*» Синклера Левиса, что их можно принять за строки, написанные этим блестящим американским писателем, основная тематика которого — борьба за свою индивидуальность отдельной человеческой личности с давящей громадой американской стихии механизма, сводящей все к немногим «образцам» и безжалостно нивелирующей все: и покроем костюма и вкусы, и — образ мыслей отдельной личности.

Но, даже и само слово «человек» и понятие человечности — отравлено и невыносимо для Миллера:

«Я горд заявить, что я — внечеловечен, что я считаю себя принадлежащим ни к людям, ни к каким правительствам... Я не желаю иметь ничего общего с людскими верованиями и с принципами... Я принадлежу только земле...»

Что же останется на этой самой земле после его ослепительного разрушительного пароксизма?..

Да, пожалуй, — ничего... Разве только — любовь. Или, вернее, не любовь, а сексуальность, которая делает Миллера одержимым, — подменная сексуальностью любовь, — это последнее убежище романтики, последнее таинство в испепеленном мире.

Любовь!.. Но — какая любовь: «...змеиное сцепление в темноте женщины и мужчины, подобное свиванию пресмыкающихся...»

И, вот, — что же он хочет, Миллер?.. Да, ничего... «Швырнуть последний вопль отчаяния» в ночь...

«...Ночь, ночь всегда ночь, Нью-Йоркская ночь, непостижимо бесплодная, холодная, машинная — без спокойствия, без крови, без всякой уютиности. Огромное студеное одиночество миллиона шагов, которые спешат; пустые ледяные пожары переливов электрического света, давящее совершенство

во женщины, которая, благодаря своему совершенству, перешла границы пола..

...Если удаление от солнца через дальние пространства должно приводить к зыбкому безумию Луны, — мы достигли конца: жизнь есть ничто иное, как стужа, как лунная раскаленность солнца. Здесь — это более холодный чем лед, танец жизни в пустоте атома: чем больше танцуешь, тем холодней становится...»

Таковы книги Генри Миллера, американца, писавшего в Париже.

* * *

Курцио Малапарте — итальянец. Пестрая его жизнь протекала совсем под иными знаками.

Шестнадцати лет, в 1914 г. он поступает в легион Гарибальди и в боях под Влиный получает ранение и военный крест. По окончании первой войны, совсем почти юношей, он принимает участие в работах мирной конференции. В 1922 г. он присоединяется к Муссолини, — всю будущую жизнь он будет испытывать неприятное чувство при напоминании об этом и будет с тосканским темпераментом поносить диктатора после его падения. Но в первые годы фашизма его ориентация приносит ему почетный для молодого человека пост редактора туринской газеты «*Стампа*».

После 10 лет покорного сотрудничества он внезапно порывает с фашизмом и находит себе убежище во Франции, время от времени печатая блестящие статьи в одной парижской литературной газете.

Так же неожиданно он через некоторое время решает вернуться в Италию. Но родина встречает его приговором к 5-летнему заключению на одном из Липарских островов. В его книге «*Капут*», есть страницы, посвященные этим его годам, когда он подумывал о самоубийстве.

Затем происходит нечто совершенно странное: в разгаре войны он вдруг получает назначение состоять военным корреспондентом при немецких армиях на русском фронте. Немецкие штабы встречают его чуть ли не восторженно. Оказывается, что ни хвалебные статьи о Ленине, ни изданная в 1931 г. в Париже книга «*Техника государственного переворота*» — ничуть его не скомпрометировали.

Однако идиллия не продолжается чрезмерно долго: Гестапо бодрствует и ему приходится скрыться в Финляндию, где он и остается благоразумно до крушения режима.

«Жизнь достойная эпохи Ренессанса, современника Борджиа и Маккиавели, в сравнении с которой существование Стэнли, (знаменитого исследователя Африки) представляется обеспеченным, спокойным,

почти скучным прозябанием...» — иронически замечает Роберт Кемп, автор статьи, откуда почерпнуты мои данные.

После окончания войны Малапарте живет в своей вилле на о. Капри.

Около тридцати пестрых, блестящих, с темпераментом написанных эпизодов распределены по 19 главам.

Чего тут только нет?

Эпизод: посещение евреев запертых в Варшавском гетто, и — интервью с Франком, всемогущим властителем Польши, тем Франком, который «выколенными пальцами блестяще играет Шопена», старается разыграть роль благодетеля оккупированной немцами Польши и — собственноручно пристреливает из винтовки еврея, пытающегося выбраться из гетто.

Эпизод: итальянский дипломат ищет труп еврея, запертого в вагоне; когда открывают двери вагонов — целая толпа трупов вываливается на живых.

Эпизод: на письменном столе д-ра Анте Павелича, неизвестного руководителя усташей, организатора убийства короля Александра, стоит корзинка.

Что в ней?.. Устрицы?.. Крабы?.. Провизия?.. Адская машина?... Нет. С «меланхолической и доброй» улыбкой, «мягким голосом» др. Анте Павелич говорит: — Это — подарок моих верных усташей — двадцать кило человеческих глаз...

Эпизод: в лагере русских военнопленных власти обещают улучшение жизни тем, кто лучше прочтет несколько строчек в газете. Но... победителей конкурса грамотности сейчас же расстреливают...

Эпизод: молодые еврейки из Сороки, которых заставляют делаться проститутками для забавы солдат; после двадцати дней «службы» — к стенке...

Эпизод: голодные собаки, к которым привязаны взрывчатые вещества; за пищей собаки бегут к немецким танкам и все вместе взрывается.

Эпизод: вздыбленные лошади, схваченные льдами в Ладожском озере и — в таком положении замерзшие... (???)

Эпизод: Гимлер принимает ванну: он без очков, совершенно гол, его вытуклый розовый пуп «напоминает нежный бутон розы».

Заметьте, каждый эпизод кончается неожиданным расстрелом или взрывом. Это происходит часто, и потому кажется неожиданным, что Гимлер с его знаменитым пупом выходит из своей ванны живым.

Можно, конечно, заняться подыскиванием генеалогии творений Малапарте. Но и не производя генеалогических изысканий можно сказать, что он наследовал и «пафос отворачивания» Водлера и Лотреамона, и пси-

хоаналитический метод Фрейда, и словесный вихрь Пруста и Джойса. Во всяком случае, нужно сказать, что его талантливая книга отмечена тою же горечью жизни, что и книги Миллера: разве не напитано печалью, например, горькое замечание еврейца, о том, что лошади это — последний остаток того, что было благородного в Европе?..

Но только... эта горечь, эта трагичность подносятся под каким-то итальянским и оперным углом зрения, и кажется, что, вот, сейчас где-то заиграет музыка и все эти расстреленные евреи, «вздыбленные и так замерзшие кони», разорванные на клочки собаки и немецкие танки, и даже голый Гимлер, — все это выйдет из-за кулис, вежливо поклонившись у рампы, скажет, что действие кончилось и программа может быть возобновленной завтра.

Автора нельзя упрекать в том, что его эпизоды — неправда. Разве правда дантовское путешествие в ад, гоголевский Вий или странствования Цера Гюнта?..

Но Данте, Гоголь и Ибсен настолько искренни, что читатель вопреки здравому смыслу верит повествователю. При чтении страниц «Капута» этого спокойного доверия к рулевому, к автору, нет, и не один раз хочется, откладывая книгу в сторону его спросить: — Зачем вы это придумали?..

Нужно заметить еще, что это не самое важное, если мы, читая, не верим правдивости тех или иных эпизодов. Литература не должна и не может заниматься правдивым описанием событий. Гораздо важнее то, что по окончании книги не веришь в трагичность того, что автор хотел показать трагичным, и, вместо ожидаемой и необходимой искренности, видишь позу, декларацию и фальшь.

В «Капуте» Малапарте подчас, как слишком высоко забравшийся тенор — срывается. А «срывов» литература не терпит.

Такова книга «Капут» итальянского писателя Малапарте.

* *

Автор книги «Ноль и бесконечность», Артур Кестлер — венгерский еврей, натурализованный в Англии и издающий книги на английском языке. Он побывал в Советской России и оттуда вернулся ярким противником советского строя. Политически он, вероятно, близок, или был близок к троцкизму.

Перед войной, в 1939 г., он находился во Франции и был в концлагере III республики; описанию условий жизни в этом лагере им посвящена целая книга. В 1940 г. «в форме французского legionnaire» он перебрался в Англию, где поступил на военную службу,

«но не в парашютисты, а в интендантство», — как ядовито замечает близкий к коммунистам французский еженедельник «Аксион», который с Кестлером не в ладах.

Книга Кестлера «Ноль и бесконечность» представляет собою нечто вроде так называемой «романтизированной биографии», жанра вошедшего в моду лет 20 тому назад «с легкой руки» француза Андре Моруа и немцев Стефана Цвейга и Людвига.

Герой книги является собирательной личностью,¹ «черты которой явно взяты от лиц, имевших реальное существование», от «героев» московских «показательных» процессов.

«...Воображаемый герой, по некоторым чертам напоминающий Зиновьева (физически), по другим — Вухарина (мораль)» — пишет французский критик К. Е. Маньи.

Это не совсем верно: Николай Залманович Рубашов по внешности напоминает не брата Зиновьева, а скорее Каменева: автор снабдил его маленькой остроконечной бородкой, столь характерной для лидеров большевистской партии первого периода.

Для русского читателя имя героя — целая характеристика — и здесь необходимо подчеркнуть точность автора и его знание русской обстановки, — русскому читателю имя Николай Залманович показывает, что носитель его принадлежит к тем кругам русско-еврейской радикальной интеллигенции, которые приняли деятельное участие в революции, после октября примкнули к большевикам и позже составляли главные кадры оппозиции.

Необходимо оговориться: можно подумать, что роман написан из русской жизни. Это неверно. Ни России, ни Советской России, ни русской психологии там нет: там есть тюрьма, бесплодный и бесславный конец жизни одного из профессиональных деятелей революции, «преданного историей» и — психология фанатиков единой, очень плоской, примитивной и очень отвлеченной идеи. Книга начинается в одинокой тюремной камере. Рубашов, бывший крупный советский сановник, — народный комиссар, — арестованный по обвинению в принадлежности к оппозиции, только что вернувшийся с допроса подходит к окну. Ночь. Синие зимние предзакатные сумерки. Напротив, заслоня полнеба, огромная высокая стена. Освещенный скудной электрической лампочкой, по стене прохаживается взад и вперед озябший часовой с винтовкой. От скудной лампочки лежащий снег кажется желтоватым.

Это все. Кроме тюремного двора и стены из решетчатого окна ничего не видно.

Так начинается первая глава книги. Не

символ ли это?.. Ночь, глухая, все заслоняющая стена, посыпанная снегом, и замерзший часовой? Не символ ли?.. Может быть...

Все действие происходит в тюрьме: герой из тюрьмы не выйдет.

Монотонность подобного существования оживляют только проходящие перед героем отрывки воспоминаний, рисующие нам его жизнь до заключения и перестукивание с соседом — «белогвардейцем», вероятно, бывшим офицером, которого Рубашов а priori презирает и а priori ненавидит.

Иногда происходят расстрелы. Смертников ведут по корридору мимо камер. По мере приближения «кортежа», одновременно со стуком сапог стражи, начинаясь издали, сопровождает шествие траурная барабанная дробь, выстукиваемая по традиции заключенными.

Рубашов покидает камеру только для допросов. Они бывают только ночью и эта особенность характерна для описываемого Кестлером мира № 2. Эти допросы представлены автором скорее как некоторого рода поединок между обвиняемым и следователем; обвиняемый старается спасти свою голову, оспаривая данные обвинения; старается спасти свою голову и следователь, задача которого — шантажом, моральными, а, подчас и физическими истязаниями добиться от подследственного «чистосердечного и полного» сознания в тех преступных действиях, которых он по большей части не совершал, и — в тех уклонениях от предписанного образа мыслей, которые по правосознанию мира № 2 являются караемым преступлением.

Из двух следователей, допрашивавших Рубашова, один, «философ» Иванов, товарищ Рубашова по университету, будет расстрелян за «небрежность» при ведении его дела, за некоторого рода благожелательность к своему бывшему коллеге. Другой, Глеткин, «человек-робот», ни в мыслях, ни в действиях которого нельзя усмотреть ничего человеческого, доведет следствие до «благополучного» конца, т. е. — он, Глеткин, спасет свою голову, и, возможно, получит повышение, Рубашов подпишет сознание в своих «преступлениях» с оущением, что он не только жизнь, но и свое доброе имя, все отдаст во славу партии, и, наконец, — партия и режим выйдут из процесса возвеличенными и укрепленными.

Такова «схема» блестящей и серьезной книги Кестлера. Ни на одной странице спокойного и объективного изложения не заметно ни срыва, ни фальши, ни желания «поразить» читателя.

Я совсем не хочу этим сказать, что, вот, мол, как верно изобразил Кестлер советские порядки. Вопрос о том, правильно ли это изображение или нет — выходит из компетенции подобного литературного отчета. Я хочу сказать, что литературная правдивость книги Кестлера безупречна, что читатель, попавший в мир № 2, по которому автор, как Вергилий «Вожественной Комедии», его водит, может спокойно довериться своему вожатому и знать, что этот его вожатый не заблудится и не приведет его ни к «зябкому безумию луны», ни к «вставшим на дыбы и так и замерзшим коням».

Книга Кестлера блестяща и серьезна, но — через все, нитку, проходит один ничем не искупаемый порок, некий органический недостаток.

Дело вот в чем: при чтении талантливой книги читатель «входит» в описываемый мир, начинает жить в нем, и, неизбежно, начинает вместе с ним переживать его радости и горести, бояться за него и за него радоваться.

Именно это ощущение при чтении книги Кестлера отсутствует. Повествование о превратностях жизни Рубашова читателя не захватывает. Возможно, что это объясняется уж чересчур омерзительной личностью героя, который умудрился предать не только свое дело и самого себя, но даже и единственную любившую его женщину. А, может быть, причиной этого является то, что уж очень своеобразна и уж чересчур отлична от принятых в нашем мире критериев «моральный» климат мира № 2.

Выяют разные сорта книг: книги Миллера с их напором настроений и лирикой нельзя рассматривать иначе как литературарag excellence. «Капут» Малапарте — это скорее обширный и талантливый художественный репортаж.

Кестлер, как мне кажется, задается целью не столько передать психологию тех или иных людей, не столько описанием той или иной обстановки, или фактов, сколько целью поставить читателя перед теми или иными проблемами философского и социального характера.

Проблем поставлено много, но книга посвящена двум главным вопросам:

— Оправдывает ли цель средства?

— Каковы должны быть отношения между личностью и коллективом?

Книга Кестлера называется «Ноль и бесконечность». Почему? Для объяснения этого приходится предпринять некоторого рода экскурсию в область математики.

Ноль это — ничто. Бесконечность — все. Ноль это — личность, индивидуум. Беско-

нечность — коллектив: тысяча, миллион, сто семьдесят миллионов человеческих личностей, связанных, как бочка обручем, единством целеустремлений.

Никто не считает бочки по клепкам. Клепка это только часть бочки, только — дробь. Только бочка самодовлеюща. Только бочка — единица.

И вот Кестлер противопоставляет два мира.

В мире № 1, в том мире, где мы сейчас находимся, базой счисления общества, является личность, единица. Каждая величина, какова бы она ни была, измеряется и ощущается как группа единиц, повторенных столько-то раз и собранных вместе. Проще сказать: в нашем мире единица есть основное, простое, самодовлеющее и первоначальное число.

В мире № 2, в том мире о котором пишет Кестлер, — простой самодовлеющей единицы нет, и первоначальным числом, базой, по отношению которой измеряются все остальные величины, являются 170 миллионов.

От этого — человеческая личность, та величина, которую мы считаем единицей, числом самодовлеющим, простым и основным, — в мире № 2 не является ни простым, ни основным числом.

В мире № 2 личность, наша социальная единица является числом дробным. Ее величина равняется 170 000 000 деленным на 170 000 000.

$$170\,000\,000$$

$$170\,000\,000$$

Но, по определению, — в мире № 2, — 170 000 000 является базой счисления и первоначальным числом, т. е. единицей.

Подставим в формулу (1) ее значение.

Мы получим:

$$170\,000\,000/170\,000\,000 = 1/170\,000\,000;$$

Таково в мире № 2 математическое значение личности. В сравнении с ее значением в мире № 1 она потеряла:

$$170\,000\,000/170\,000\,000 - 1/170\,000\,000 = \\ = 699\,999\,999/170\,000\,000;$$

своего удельного веса

Этот мой математический трюкаж выражает в цифрах то, что один из героев книги выражает в понятиях философских, а другой — в понятиях филологических.

«... Есть две концепции человеческой морали и они противоположны», — говорит советский следователь Иванов, — «одна из них вытекает из основ христианских и гуманитарных. Это понимание объявляет личность священной и утверждает, что правила арифметики не могут быть применены к социальным группам, которые в на-

шем уравнении выражаются иногда нулем, иногда — бесконечностью.

Вторая концепция вытекает из основного принципа, что общая цель оправдывает все средства и не только позволяет, но и требует, чтобы личность была безусловно подчинена и принесена в жертву коллективу, который может ею располагать либо как морской свинкой для опытов, либо — как агнцем, предназначенным в жертву.

«...Партия — все. Личность — ничто, ветка оторванная от дерева, которая должна засохнуть...»

«Я — это грамматическая фикция...» — записывает в своем дневнике Рубашов.

Жизнь Рубашова кончается в темном коридоре подвала.

— Я сгибаю колени перед страной, перед массами, перед народом... — думает он в сумраке, когда его ведут на расстрел.

Таков бесславный конец бесславной и омерзительной жизни.

Но, конечно, ни массам, ни народу не нужно ни сгибание, ни разгибание рубашовских колен.

Вынесенный волной революции на поверхность, человек мира № 2 не нужен ни массам, ни народу и не живет ни для масс, ни для народа и даже — ни для себя.

Одержимый, он просто — раб своей единственной, убогой, узкой, плоской, бесплод-

ной и — никому кроме него не нужной идеи.

Такова книга Артура Кестлера.

* * *

И вот: на сумрачном небе послевоенной Европы блестят имена трех писателей.

Как их авторы, книги совершенно различны. Но, кроме общего для них ослепительного успеха их объединяет общность темы.

И американец Миллер, и — европеец Малапарте и — Кестлер, передающий психологию руководителей мира № 2, — три автора трех разных «континентальных» концепций, — говорят об одном. О том, что блестящий технический прогресс XX века куплен дорогою ценой, что в мире абстрактных формул, в мире машин и вертящихся приводов, — в мире нашего времени человеку, как таковому, места нет. XX век забыл личность, и если личность пытается противостоять нивелирующему и механизующему процессу — коллектив применяет для ее принуждения все меры, вплоть до физического уничтожения.

На ветрах войн и революций человек — одинокий, голый и незащитный озирается и не знает, где он может укрыть себя от стального грохота и лязга нового века...

Нашего железного века.

В. Стремлев

О ТРЕХ УЧЕБНЫХ КНИГАХ

Е. СПИРИДОНОВА. «Грамматика русского языка». Издание Русского книжного дома. Буэнос-Айрес. 1945. **В. П. ВАХТЕРОВ.** «Русский букварь». Издательство «Посев». 1946. **Н. А. ЦУРИКОВ.** «Главнейшие правила русского правописания». Издание автора. Регенсбург. 1947.

Хотя в течение двух лет находились средства, энергия и таланты на издание бесчисленных и разнообразных книг и книжонок, но у нас до сих пор нет самых необходимых учебников по русскому языку. Как же — спрашивается — собираемся мы учить нашу молодежь родному языку по выезде из Германии? Кое-где удастся, в лучшем случае, разыскать какое-либо устарелое учебное пособие царского времени (или списанное с него), а в худшем случае — приобрести учебник, подобный нижеуказанному.

В предисловии объяснено, что учебник составлен по просьбе «людей», отдающих свой труд такому полезному делу, как «рас-

пространение русского языка за границей» и с целью «дать русской молодежи возможность учиться языку своих отцов и дедов».

Неотъемлемыми от языка отцов и дедов составительница считает и такие слова, как «рабкор», «ЗАГС», «вريد и уж, конечно, — «Коминтерн», «Партгруппа», НКВД.

В конце книги честно приведены источники. По сравнению с основным из них — «Грамматикой русского языка» проф. Бархударова и доц. Досычевой, Москва, 1940, — учебник г-жи (или товарища?) Спиридоновой отличается следующими качествами: 1) он несколько слабее в методическом отношении; 2) из-за некоторых отклонений

от изложения у Бархударова и Досычевой проигрывает в том, что является главным достоинством московского учебника, именно в уменьшении разлада между школьной грамматикой и научной; 3) копирует некоторые неудачные формулировки Бархударова и Досычевой; 4) нисколько не уступает любому советскому учебнику в пресловутой «идейности» содержания. Аргентинской русской молодежи учебник рассказывает о «солнечной жизни» и «небывалом расцвете», а на последней странице дает возможность преклониться перед обликом «человека у руля».

Если мы твердо придерживаемся мнения, что русская зарубежная молодежь должна была бы учиться языку отцов и дедов не по такому московско-Аргентинскому рецепту, то надо бы позаботиться и о соответствующих учебных пособиях — и именно таких, которые могли бы выдержать сопоставление с новейшими советскими учебниками. Это не означает, однако, что составление зарубежного учебника должно основываться на методических принципах советских учебников. Их формулировки для нас не обязательны (не можем ведь мы признать законным образование уродливых слов-обрубков — так называемых «сложно-сокращенных», как не обязательно для нас и хотя бы употребление «ударного» слога «учеба». Но, очевидно, что мы нуждаемся в учебниках, которые по сравнению с советскими не были бы устарелыми с методической и научной точки зрения.

Правда, когда возникает срочная нужда в том или ином учебном пособии, бывает легче, да и целесообразнее переиздать один из популярных старых учебников, чем разыскать и выбрать один из мало известных и более современных или начать составление насуп нового. Так именно поступило издательство «Посев», перепечатав один из когда-то популярных букварей — букварь В. П. Вахтерова.

По этому букварю, конечно, наши дети обучались читать, как обучались и их деды, и с этой точки зрения мы должны быть рады тому, что каждого первогодника можем снабдить книгой и даже дать ее в дорогу уезжающим семьям. Однако в методическом отношении этот букварь нельзя сравнивать с советским или, например, латышским, изданным тоже в 1946 г., или немецким, или любым современным букварем, т. к. по сравнению с тем временем, когда жил и работал маститый Вахтеров, изменилась методика преподавания по букварной страничке, а в связи с этим изменилась и техника ее построения: рекомендуется иная разработка рисунков, предусматрива-

ющая «беседу по картинке», иной подбор и иное размещение слов, соответственно целому ряду требований со стороны фонетики. Вот почему, если и должно принести благодарность тем, кто потрудился над изданием букваря, за предоставленную возможность обучать наших детей чтению, тем не менее становится как-то неловко при чтении такой восторженной и, можно сказать, чрезмерно патристической рецензии, какая была дана г-ном Хитонским в «Посеве» («Три букваря — три системы воспитания», «Посев» № 17). — «Какое большое общественно-культурное явление — выход в свет букваря Вахтерова, который давно уже стал библиографической редкостью!».

Спрашивается, чем же тут гордиться и восторгаться, что мы принуждены обучать наших детей по «библиографической редкости», а не по современному букварю, как это делают другие?

Впрочем, рецензент совершенно не коснулся, собственно, букваря (т. е. все-таки самого существенного в книге), посвятив всю свою статью нравственно-воспитательному значению текстов, предназначенных для послебукварного периода, сравнивая их несколько тенденциозно с соответствующим материалом двух иностранных букварей (во всяком случае, по отношению к немецкому букварю). Общеизвестно, что русским школьным хрестоматиям присущ свойственный вообще русской литературе дух гуманности, и в этом отношении значительная часть текстов в букваре Вахтерова, в самом деле, должна быть признана педагогически ценной; однако, насчет некоторых текстов могут быть противоположные мнения: действительно ли так уж обязательно воспитывать чувство гуманности в детях и вообще в нашей молодежи на неизменно повторяющихся в книгах для чтения рассказах о нищих и об изнемогающих тружениках, т. е. в духе певцов «гражданской скорби»? Возможна ведь и другая, не менее воспитательная тематика.

Что же касается второй, горячо одобренной рецензентом особенности букваря — изобилия пословиц и поговорок, то можно утверждать на основании опыта, что внесение их в таком большом количестве в собственно-букварную часть в высшей степени неудачно: детям, еще с трудом слагающим из слогов слова, а из слов предложения, такие выражения, как, скажем: «Ужодили сивку крутые горки» или «У мужика кафтан сер, да ум не волк съел» — непонятны, скучны и трудны для чтения и, значит, не оправдываются ни с педагогической, ни с методической точки зрения.

Очень невыгодно и обилие в «столбиках» мелопотребительных и для детей непонятных слов, требующих иной раз довольно затруднительного объяснения (опара, льгота, лот, лубок, лыко, пыл, харчи, чека, оси, руда, мор и пр. и пр.), а также и употребление слов в косвенных падежах (суму, суку, шара и т. п.).

К недочетам технического характера следует отнести отсутствие буквы ь, заменённой апострофом, появление слов с буквой ь и й прежде, чем эти буквы даны (10, 12, 24 стр.), а также слишком мелкий на некоторых страницах шрифт.

Нашей школьной работе, очевидно, не могут содействовать ни восторженные отзывы о более или менее приемлемых учебниках, ни деликатное молчание об изданиях типа «хуже чем ничего». Объективная и тщательная критика была бы, несомненно, полезнее в деле создания зарубежной педагогической литературы и удовлетворительной замены таких пособий по русскому языку — грамматике, правописанию, истории литературы, — которым, в самом деле, пора бы стать библиографическими редкостями. Особое внимание должно было бы уделяться учебникам новейшим, т. е. составленным в настоящее время. К числу таковых относится вышедшее в этом году весьма важное учебное пособие — справочник по правописанию Н. А. Цурикова.

Правил собрано много: некоторые темы разъяснены подробно и более или менее удачно (например, об употреблении большой буквы, об употреблении черточки, о правописании частей не, ни). Книга, разумеется, может выполнить скромную задачу — «уменьшение безграмотности». Досадно, что, как справочник, она не лишена некоторых неточностей и неясностей, а в качестве школьного пособия (по замечанию составителя, справочник «все же, главным образом, предназначен для учащихся») применима лишь со многими оговорками.

15 стр. 6 б. — Рекомендуемое написание «проект» неверно: и у Грота, и в последующих справочниках — проект, проекция (лат. *projektum*, франц. *projet*, *projection*).

21 стр. 7: «чик пишется после согласных букв д, ж, з, с, и т. После всех других согласных пишется *чик*...»

Но ведь — кончик, шкафчик, ларчик и пр. уменьшительные.

22 стр. 14: «ичка пишется только в словах 1) женского рода, 2) производных от слов, оканчивающихся на *ица* и 3) только тогда, когда буква *и* ясно слышится, находясь под ударением; в остальных случаях пишется *ечка*».

Громоздко и все-таки не вполне верно:

возможно образование таких уменьшительных не только от слов на *ица* и не только с ударением на *и*: гусеничка, лестничка, клубничка, фабричка, мельничка и т. п.

37 стр. 3: «Следующие наречия, в которых неясно слышится их окончание, пишутся с мягким знаком в конце: вскачь, навзничь, прочь, точь-в-точь, вишь, лишь...»

Ведь у этих слов не только нет вообще окончаний, но и в конце основ нет таких звуков, которые бы неясно слышались.

38 стр. 4: «В каких наречиях не пишется ь вопреки тому, как слышится их произношение?»

В конце следующих наречий, в которых слышится мягкое окончание, ь, однако, не пишется: близ, замуж, меж, невтерпеж, уж, покамест, вверх».

И у этих слов тоже нет окончаний, а в произношении конечных звуков, по меньшей мере, четырех из них, нет (и быть не может!) никакой мягкости.

44 стр. 3: Если приставка оканчивается на согласную, а после нее следуют гласные — е, ю, я, ё, э, то перед ними пишется ь, например: разъезд, ... съезномить».

К внесению буквы э в это правило нет оснований, т. к. ь пишется перед *готованной* гласной (для выявления звука *иот*, в чем и состоит функция разделительных ь и ь): нарушать этот общий принцип ради одного лишь слова было бы нецелесообразно.

Кроме вышеуказанных, еще некоторые правила в справочнике изложены неточно или неясно, или неполно; поэтому в некоторых случаях не исключено ошибочное толкование (напр. 17 стр., 10; 23 стр., 18; 26 стр., 10 А б) и Б а).

В предисловии автор, справедливо отмечая наличие в русской орфографии некоторых спорных вопросов, указывает, что, не считая правильным из педагогических соображений предлагать на выбор то или другое написание, он находит более целесообразным, изложение всегда какой-нибудь одной, определенной точки зрения. Но, во-первых, в интересах учащихся и учащихся было бы не только изложение какой-нибудь одной точки зрения, но и именно той, которая наиболее в настоящее время принята в школе; во-вторых, автор не всегда остается верен этому обещанию излагать определенную точку зрения без оговорок. Так, важное правило о наречиях, образовавшихся из соединения предлогов с именами, сформулировано очень «либерально»: «Хотя допускается и слитное, и раздельное написание всех этих наречий, однако, предпочтительнее слитное написание большинства из них» (37 стр. 1).

В школе всякий преподаватель такие написания наречий, как «в право», «в двое», «в низу» и т. п., сочтет грубыми ошибками.

Совершенно необоснованными представляются опасения составителя по отношению к привычному для учащихся и удобному (в то же время и научному) термину «частица»: именно употребляя его для обозначения таких словечек, как **бы**, **нибудь** и пр., составитель полностью обеспечил бы себя от упреков в возражении тому или иному из несогласных в классификации почтенных авторов, т. к. этот традиционный термин (лат. *particula*) обнимает в общем своем значении все категории так называемых служебных слов. Кстати сказать, им широко пользовались и Грот (80-ые годы), и Кульман (20-е годы нашего в.), и Тихоницкий (30-е годы, Рига), и Бархударов (1940, Москва). Так что это вполне «нейтральный термин, и внесение его в справочник предотвратило бы расхождение с теми авторами, которые в категории «частицы» (в узком значении понятия) объединяют, вводя в учебник десятую часть речи, слова полуграмматического полулексического типа, как либо оттеняющие «полнозначные» слова или предложения (либо, ведь, nibудь и пр.; также модальные де, якобы, как и пр.). Называя же, например, **же**, **бы**, **ли**, **таки**, **нибудь** союзами (14, 15, 37 стр.), составитель нарушает им самим желаемый нейтралитет, защищая точку зрения не новейшую и выходящую из школьной практики.

Многих оговорок при пользовании справочником, как школьным пособием, требуют те места, где терминология игнорирует

состав слова (суффиксы называются то окончаниями, то суффиксами; а окончаниями — разные части основы и просто буквы; напр., 22 стр.: у личико «окончание» **ичико**!), т. к. в школе именно работе над составом слова уделяется особое внимание, как единственно надежному, а главное, естественному способу обучения правописанию.

Указанный недостаток, впрочем, присущ большинству старых справочников, и не лишне заметить, что при составлении пособий по русскому языку чрезмерная ориентация на прежние учебники, составленные применительно к старой орфографии, всегда будет неверной, хотя бы уже потому, что обучение по новому правописанию, к слову сказать, не упрощающему, по сравнению со старым, работы преподавателя и не способствующему повышению грамотности учащихся (скорее наоборот) — требует иного подхода.

Можно согласиться, что орфографический словарь должен быть в достаточной мере популярен и нельзя требовать всегда «углубленно-научного объяснения и обоснования правил». Все же многие правила могли бы быть обоснованы, пополнены и закреплены пояснениями и справками, которые были бы, полезней, напр., такого «мнемонического» приема, как неуклюжая фраза: «Фока, тащи соху, цеп и чашу» (якобы для облегчения запоминания глухих согласных — 44 стр. 1).

Приятно отметить нынче поражающее отсутствие опечаток.

А. Физуле

Литературные заметки

Письма Н. А. Некрасова к молодому
Л. Н. Толстому

Девяносто лет тому назад, в сентябрьской книжке «Современника» (1852 г.), впервые в печати появились инициалы Льва Николаевича Толстого под первой его повестью «Детство» — «Л. Н.».

Первая работа Толстого увидела свет, когда автору шел всего лишь двадцать четвертый год. Повесть «Детство» являлась первой частью широкозадуманного начинающим автором труда «История четырех эпох», в котором он имел намерение проследить с психологической стороны события детства, отрочества, юности и зрелого возраста избранного им героя, с сильной автобиографической окраской.

В первых числах июля 1852 г. «Детство» было послано редактору «Современника» Н. А. Некрасову.

К этому периоду и относятся очень характерные письма поэта «мести и печали» к молодому автору, с чуткостью настоящего художника уловившего признаки крупного таланта начинающего писателя.

Н. А. Некрасову в то время было немногим больше тридцати лет, но позади его был уже тернистый и трудный путь страстного искания большой народной правды. Еще совсем недавно перед этим, прежде чем, «найти себя» и выйти на дорогу поэзии, он сам писал десятки рассказов, придерживаясь старых, отживших канонов. К 50-м годам в нем уже сказался решительный перелом литературных воззрений и вкусов. Тургенев, Григорович, Достоевский — внесли в литературу образцы строго-реального воспроизведения жизни, а Белинский довершил победу реализма. Некрасов же стал его ярым проповедником в области поэзии. Поэтому такой яркий реалистический талант, во всей силе выразившийся уже в первой работе Л. Н. Толстого, не мог не вызвать в Некрасове горячих симпатий.

Первое письмо редактора «Современника» к молодому автору было кратким и очень сдержанным:

«Я прочел вашу рукопись, — писал он — она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не мо-

гу сказать решительно, но мне кажется, в авторе есть талант. Во всяком случае направление автора, простота и действительность содержания — составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях будет побольше живописи и движения, то это будет хороший роман. Прошу вас прислать мне продолжение. И роман ваш и талант меня заинтересовали».

Но уже во втором письме Н. А. Некрасов вполне воздает должное начинающему писателю:

«Я писал вам о вашей повести, но теперь считаю своим долгом еще сказать вам о ней несколько слов. Я дал ее в набор в IX книжку «Современника» и, прочитав внимательно в корректуре, а не в слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалась мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение в этом для вас, как для начинающего, думаю, всего важнее в настоящее время».

После напечатания в том же «Современнике» «Отрочества» и первых севастопольских очерков Толстого, Некрасов писал:

«Не хочу говорить, как высоко я ставлю вообще направление вашего таланта и то, чем он вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, — правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в вашем даровании. Эта правда, в том виде, в каком внесете вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с вами того, что с большей частью из нас, — не убили в вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере, такого, какие теперь нужны России. Вы молоды. Идут какие-то перемены, которые, будем надеяться, кончатся добром, и, может быть

вам предстоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко».

Характерно, что уже в самом начале литературной деятельности и славы Толстого, Некрасову удалось заметить действительно самую существенную черту его духовного склада и таланта, его искание правды.

«Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда — так и сам Толстой некогда формулировал свой писательский долг. И во всей своей последующей деятельности он

остался самым ярким в русской литературе образом писателя, «взыскующего правды». У него были отклонения с прямого пути, были ошибки и увлечения, но в нем никогда не было лицемерия и сознательного служения лжи.

Теперь, почти через столетие с момента появления в печати первых написанных им страниц, в приложении к Толстому можно с тем же правом повторить оказавшиеся пророческими слова Некрасова:

«Мы не знаем писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе ощущствовать.»

Ник. Саввич

Хроника

Антология марокканской литературы на французском языке выпущена одним из парижских издательств. В сборник вошли лучшие произведения писателей — арабов и берберов.

*

Французский режиссер Рене Клемон недавно поставил фильм «Проклятые», все действующие лица которого говорят на своих родных языках. Критика признала этот эксперимент довольно успешным.

*

Проведенная среди французских писателей и критиков анкета показала, что в настоящее время во Франции наилучшими переводами считаются романы: «Ноль и бесконечность» — Артура Кестлера (с английского), «Когда пробил час» — Эрнста Хремингга (с английского), «Мостино» — Альберто Моравели (с итальянского), «Карлик» — Паара Лягерквиста (с норвежского) и др.

Американец Горольд Родз сконструировал дорожный рюкзак, весом в 6,5 кг.

*

Венский музыковед проф. Р. Биберштайн обнаружил неизвестную до сих пор партитуру Бетховена — «Вестфальский огонь».

В Англии вышли из печати: сборник для англичан, изучающих русский язык, — «Жемчужины русской литературы» (редактор А. Семенова, «Институт Лингвафон»); «Воспоминания о русском балете» Алексан-

дра Венуа (издательство «Putnam»); книга С. Гурок «Импрессарио», в которой описаны встречи автора с Шалапиным, Павловой, Марковой, Дункан и др. (изд. Mac Donald); работа Этлингера и Гладстона «Русская литература, театр и искусство» (изд. Hatchinson); книга Леона Деррик «Толстой, жизнь и творчество» (изд. Kegan); в том же издательстве вышли на английском языке ряд произведений советских писателей — «Подруга» — В. Катаева, «Капитан» — А. Новикова-Прибоя, «Юность Кольчугина» — В. Гроссмана, «Александр Радищев» — В. Евгеньева, «Воспоминания писателя» — Н. Телешова, «Москва» — сборник коротких рассказов и «Барсуки» — Леонида Леонова; повесть Ю. Олеши — «Желание» и повесть В. Каверина — «Неизвестный артист» (изд. Westhouse); книга проф. Я. Лаврина — «Пушкин и русская литература» (изд. English Universities Press).

*

В Америке изданы мемуары известного русского ученого В. Ипатьева — «Жизнь химика» (на английском языке), книга д-ра Паркера — «Всеволод Гаршин», «Русская симфония», «Мысли о Чайковском» — Д. Шостаковича, «Жизнь и творчество Маяковского» — А. Иконникова, «С берегов Волги» — Жизнь Максима Горького — А. Роскина (изд. Philosophical Library).

*

Недавно исполнилось 175-летие московской балетной школы, воспитавшей целые поколения мастеров русского балета. В день

юбилей был устроен большой концерт, в котором приняли участие бывшие ученики школы.

* 17 ноября 1947 г. в возрасте 83-х лет скончалась известная немецкая писательница Рихарда Гух. Незадолго перед смертью она переехала из Берлина во Франкфурт на Майне, где намеревалась закончить свою книгу о немецком движении сопротивления.

*

Нобелевская премия 1947 года по литературе присуждена знаменитому французскому писателю Андре Жиду. Как говорится в заключении жюри, премия ему присуждена за «его широко задуманные, выдающиеся произведения, в которых он с большим мастерством, смелостью и любовью к правде рассматривает жизненные проблемы человечества». Когда-то А. Жид был сторонником коммунизма, но после второго посещения Советского Союза в 1936 году он в своей книге «Возвращение из СССР» подверг коммунистический режим острой критике. Во время второй мировой войны он жил сначала во Франции, а затем в Африке.

К 50-летию со дня смерти выдающегося русского пейзажиста Алексея Саврасова в Третьяковской галерее была организована выставка его произведений.

*

Как сообщают из Парижа, «Премия Стендаля» получил 20-летний французский писатель Мишель Батан за свою новеллу «Патрик». «Премия Стендаля» — 100 тысяч франков — одна из самых крупных литературных премий во Франции.

16 декабря прошлого года нью-йоркское радио сообщило о кончине русского художника Николая Рериха, стяжавшего себе мировую славу. Его картины выставлены в 25 музеях различных стран. Рерих был не только художником — им написан ряд философских трудов.

Президиум Академии Наук СССР утвердил план научно-исследовательских работ отделения литературы и языка на 1948 год. В этом году госиздат продолжит начатое несколько лет назад создание словаря современного русского литературного языка. В июне будет готов к печати первый том грамматики современного русского литературного языка (фонетика и морфология), а к концу года завершится работа над вторым томом (синтаксис). Институт также готовит к выпуску первый том фундаментального «Диалектологического атласа русского языка». В плане Института литературы (Пушкинский дом) на 1948 год в первую очередь следует отметить коллективные капитальные труды: «История русской литературы» (т. IX), «Русский фольклор» (т. III), «История русской критики». К исполняющемуся в будущем году 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина институт подготовит две монографии о творчестве великого поэта и завершит работу над академическим изданием полного собрания сочинений А. С. Пушкина. В институте востоковедения будет вестись составление малых словарей — японо-русского, корейско-русского, русско-афганского, урду-русского, а также двух больших словарей — китайско-русского и индо-русского.

К печати принимаются только произведения ранее нигде не напечатанные. Гонорар по соглашению. Рукописи присылать либо отпечатанные на машинке, либо написанные от руки чернилами на одной стороне листа. По поводу непринятых рукописей редакция в перепечатку не вступает. Желаящие получить рукописи обратно, должны указать свой адрес

Перепечатка без разрешения издательства воспрещается. ■ Copyright by Verlag «P o s s e v»

Адрес редакции: Verlag «P o s s e v», Limburg/Lahn.

3-й год издания

Выходит 4 раза в год

ГРАНИ

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ**

**Периодический литературно-художественный
и публицистический журнал в западных зонах Германии**

В журнале сотрудничают:

Ф. Борисов, Н. Витов, Р. Воробьев, Л. Ворони, Е. Гагарин, В. Гальской, Ю. Гошин, В. Завалишин, А. Землев (Англия), В. Каралин, М. Кубе, С. Левицкий, С. Максимов, В. Марков, Н. Моршен, А. Неймирок, С. Павлов, А. Парфенов (Марокко), Е. Романов, Б. Серафимов, Н. Табури, В. Тополев, А. Угрюмов (Англия), А. Флауме, Е. Шугаев и другие.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

№ 1

(РАСПРОДАН)

В номере:

В. Каралин — Освобождение; С. Павлов — Чужой берег; С. Максимов — Танюша; В. Башилов — Агентство «Молниеносный ответ»; М. Кубе — В гостях у «дикарей»; А. Угрюмов, А. Неймирок, Ф. Борисов — Стихи; Н. Витов — Гуманизм Федора Достоевского; Проф. Д/С. — Суриков, как художник-историк; Библиография.

№ 2

В номере:

Д. Новоселов — Клоун; С. Максимов — Прохожая; М. Кубе — На севере диком...; Ю. Гошин — Первый шаг; В. Гальской — Мохач; В. Тополев — Крестный путь; А. Котлин, С. Бонгарт, В. Завалишин, Р. Воробьев, И. Елагин, А. Парфенов, А. Угрюмов, О. Анстей — Стихи; Ф. Борисов — Россия и революция; С. Левицкий — Владимир Соловьев; Ф. Б-в. — Древнерусская икона; Н. Ветлугин — Энергия атомного ядра; Библиография.

№ 3

В номере:

Н. Александров — Вамбадон; Е. Гагарин — Белые ночи; С. Максимов — Царь Иоанн; Н. Табури — Счастье; А. Котлин, А. Парфенов, А. Неймирок, В. Гальской, В. Марков, А. Угрюмов, В. Тополев, В. Завалишин — Стихи; М. О. Кубе — Забытый адмирал; Проф. И. А. — Встречи с Сергеем Есениным; С. Левицкий — Трагедия отвлеченного добра; Н. Саввич — Критик-художник; В. Филиппов — Чудодей песни; Е. Климов — Певец крестьянской детворы; Н. Ветлугин — Энергия атомного ядра.

Цена отдельного номера 10 марок. Журналы можно выписать во всех представительствах издательства «Посев» в Германии и за границей.

**В печати находится № 5. В номере: А. Землев —
Родина ветловая (повесть).**

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

«ПОСЕВ»

**ПОДПИСКУ ЗАГРАНИЦЕЙ ПРИНИМАЮТ НАШИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

■ В США: Mr. E. Stadnikoff, 32—66, 35-th Street, Long Island City 3 N. Y.
Mr. S. I. Podgorna, 4902 California Street, San-Francisco 21, California.
■ В АНГЛИИ: V. V. Baratchevsky, Russian Book Shop, 34. Hanway Street, London W I. ■ В БЕЛЬГИИ: B. Litvinoff, 7, rue Paul Spaak, 7 Bruxelles. Librairie d'Ixelles, 118, Chausse d'Ixelles, 118 Bruxelles XL. ■ В ДАНИИ: „Russisk Bibliotek“, Bredgade 53 Kopenhagen. ■ В НОРВЕГИИ: Fedor Tarakanow Krusesgt 5 b. Oslo. ■ ВО ФРАНЦИИ: „La Renaissance“ 73. Av. des Champs Elysée-Paris 8. ■ В ШВЕЙЦАРИИ: Leo Grossen, Postfach-Transit, Bern. ■ В ГРЕЦИИ: Mr. Georg Mazarakis und Co., Patission Street 9, Athenes. ■ ВО ФРАНЦИИ: A. Zvikevitch, Cité Bournazel, Route Camp Boulhaut, Casablanca. ■ В АВСТРАЛИИ: Mr. D. Kroopin, 24, East Crescent St. Point, Sidney. ■ В АРГЕНТИНЕ: A. Denissenko, Catamarca 323, Prov. Buenos-Aires, Ballaster. ■ В БРАЗИЛИИ: N. Kozoubsky, 78, rua Dr. Flaquer, Paraíso, Sao-Paulo. ■ В ВЕНЕЦУЭЛЕ: Belk Zoran, Edificio Y M C A, Tienda Honda a Puente Trinidad 68 Caracas.

У наших представителей так же можно получить все наши книги и периодические издания.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ

«ПОСЕВ»

Еженедельник общественной и политической мысли

«ГРАНИ»

Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли

КАЛЕНДАРЬ НА 1948 г.

ПРОДАЮТСЯ У НАШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ГЕРМАНИИ:

■ В КАССЕЛЕ: Филиал редакции «Посев», Münchhof b. Kassel, IRO-Lager. ВО ФРАНКФУРТЕ на Майне: Газетный киоск против главного вокзала, Frankfurt a. M., Am Hauptbahnhof. ■ В АУГСБУРГЕ: Украинский книжный магазин, Augsburg, Ulmerstr. 7. ■ В МЮНХЕНЕ: Евгений Хрулев, Feldmoching b. München, IRO-Lager 115/17. ■ В РЕГЕНСБУРГЕ: Православная община, Regensburg, Silberne Fischgasse 17. ■ В НЮРНБЕРГЕ: Nürnberg, Glockenhofstr. 31a b. Leiberger. ■ В ГАМБУРГЕ: Комитет Российских беженцев, Hamburg 13. Mittelweg 113. Издательство «Единение», Hamburg-Neugraben. IRO-Lager Fischbeck. ■ В ЛЮБЕКЕ: Иван Стягов, Lübeck, Wisbystr. 2, Orthodoxe Kirche. ■ В ВЕСТФАЛИИ: Макс Новерский, Lahde a. d. Weser, D. P. A. C. Camp 2. ■ В районе БРАУНШВАЙГ: Лев Выходцев, Hänigsen b. Burgdorf, Hann., Lager Colorado. ■ В ЛИНДАУ: Г. Месняев, Lindau Bodensee, Hauptstr. 1.